Олег
ЕРМАКОВ



ПОКИНУТЫЕ,
или
БЕЗУМЦЫ



Salamandra P.V.V.

Олег Ермаков

ПОКИНУТЫЕ, ИЛИ БЕЗУМЦЫ

Фотографии автора

Salamandra P.V.V.

Ермаков О. Н.

Покинутые, или Безумцы. Фот. автора. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2015. – 321 с., илл.

Жанр новой книги известного смоленского прозаика определить нелегко. Это и «дневник писателя», и просто дневниковые записи, и медитации лесного бродяги, и заметки неторопливого городского пешехода, и философские наблюдения, и эссе о писателях от Г. Торо и И. Гончарова до П. Боулза и И. Уэлша, и манифест «экологического анархиста». А в целом – книга, в которой дарование Олега Ермакова, писателя и фотографа, раскрывается всеми своими гранями.



ПОКИНУТЫЕ,
или
БЕЗУМЦЫ

Оторваться от земли



Исследователь архаических племен говорит, что желание забраться повыше, на дерево, на гору и вообще оторваться от земли связано с тем, что на земле человека подстерегает больше опасностей.

Это сообщение проясняет кое-что.

Природу икарийских снов.

Причину вавилонской башни.

Страсть поэтов к мансардам, а детей к чердакам.

Зависть к птицам.

И еще любовь к музыке.

Вопросы

Есть ли пространство мысли? Для мысли? Необходимо ли пространство для мысли? Но тогда мысль приобретает материальность? Или это особого рода пространство, как акаша для «тонких вибраций» йоги, эфир древних греков — местообитание небожителей?

Возможно ли время без пространства?

Есть ли у мысли время?

Представить пространство мысли — приблизиться к природе идеального.

У мысли нет пространства и времени?

А что же есть?

Если мысль это слово, то ведь у слова есть время. А значит, и пространство?

Или все это — пространство и время — требуется для проявления идеального, т. е. мысли, существующей вне времени и пространства? Но зафиксировать мысль невозможно без вывода ее во время и пространство.



Есть ли идеальное, существующее вне этих категорий — времени и пространства? И, главное, вне человека?

Эзра Паунд говорит: «В действительности же читать надо для приобретения силы».

Делает ли прочитанное нас сильнее? Мудрее?

Заратустра Ницше с ненавистью отзывается о читающих из праздного любопытства. Написанное — кровь, претворенная в дух. (Правда, позднее тот же Заратустра скажет, что кровь есть самый худ-ший свидетель истины.)

У меня была «Магия книги», жаль, ее присвоил кто-то из студентов, живших в общаге с дочерью. Книга посвящена полностью Гессе, то есть там его статьи о книгах, чтении. А в обширном предисловии речь идет о книжном комплексе Гессе. То есть магистр любил с детства удирать в мир книг. Как в одном из его же рассказов некий узник совершает побег в картинку на стене.

Но по этой части фору всем даст Борхес, слепой библиотекарь. Его «Вавилонская библиотека» — апофеоз библиомании.



Выготский в «Психологии художественного творчества» пишет, что «в искусстве изживается какая-то такая сторона нашей психики, которая не находит себе исхода в нашей обыденной жизни...»

Книги — двери в лабиринте обыденности, всегда можно выйти и оказаться в мире ином. Но что это дает? Даже самые лучшие книги забываются. Кстати, может, и прав был Борхес, считавший романы — пустой тратой времени. Что толку перечитывать пять сотен стра-

ниц и помнить из них две-три? Вот он и писал свои рассказы-романы в две-три страницы.



Впрочем, а все ли ты помнишь из своей жизни? Только самые яркие страницы. Или самые темные. Острова. Но они связаны неведомой субстанцией непроявленной памяти, что делает именно тебя их владельцем. В такие же островки превращаются и прочитанные книги. И ты уже как древний человек, не отличавший события сна и реальной жизни, считаешь себя соучастником безумной экспедиции Рыцаря Печального Образа по сельским дорогам Испании или матросом «Пекода», преследовавшим Белого Кита. Ну, это преувеличение! Кто же в своем уме будет действительно так думать? И правда. И так и непонятно, зачем же читать.

Зачем писать?

Следующий естественный вопрос: а зачем писать? Вот можно попытаться понять это на примере предыдущей записи. Зачем я это написал? Первый импульс был чисто коммуникативный. Форма жизни здесь — записи. Тебе не отвечают. Но тем не менее связь установлена. Но на самом деле вопрос этот время от времени давно всплывал. Если ты сорок с лишним лет этим занимаешься, то ведь интересно понять, зачем, что это дает? Чтение. Чтобы провести время, или: чтобы не выглядеть дураком; или: чтобы не задохнуться в «я».

Все ответы меня не устраивали.



И я оставил записи. Но мысль продолжала свою кротовью работу. Пока уже на прогулке по туманному городу не пришел ответ на оба вопроса: чтение есть насыщение идеальным. Это согласуется с Выготским: в искусстве реализуется какая-то психическая потребность, не находящая чего-то в мире окружающем. Мысль — наше идеальное, и в книгах оно находит прибежище, пространство жизни.

Итак, вывод довольно прост: письмо — это форма коммуникативного познания. Человек пишет, чтобы знать. А читает, чтобы жить в знании, сиречь — идеальном.

Эпиграф к пейзажу

«Лишь тот пейзаж хорош, который навевает печаль», — эпиграф к книге Памука «Стамбул» всегда вспоминается, когда занимаешь место в пригородном поезде у окна, и поезд начинает движение.



Чувство печали только усиливается на тропинках местности.

Окаменевшие сады.

Старые березы.

Холмы в пижме или иван-чае.

Серое небо, немного золотистое от пыли, или черновато-чистое, если прошел дождь.

Даже запахи скудные. Может быть, так пахнут нагорья Испании.

Можно целый день сидеть на холме над дорогой, и ничего не произойдет.

Пасха деревенская

У бабы Вари в Барщевщине после вечерних посиделок все спали, только хозяйка уже растапливала печь, кормила кошек, кур. А меня она разбудила. С вечера обещала показать кое-что. Я умылся возле печки, гудевшей огнем, бросавшей отсветы на стену, окно. А когда-то ее испугался нешуточно, печки, впервые войдя в избу, еле уговорили пройти мимо, объясняли, что зев почернел от огня, дрова туда кладут и т.д. Ну, сейчас-то мне нравилось бросать в огонь щепки, перья.



Поди сюда, сказала крупная баба Варя в платке, кофте, фартуке. Пока батька спит, выпей-ка вина, это царковное. И поднесла мне в рюмке густого красного вина. Я выпил впервые в жизни. Оказалось вкусно. Баба Варя снова взялась за свои дела с кастрюлями, чугунками. Я сидел на лавке, подманивал кошку, та сыто щурилась, не шла. Баба Варя выходила в сени, возвращалась. Вдруг торопливо шагнула к окошку, глянула и позвала меня. «Ну, гляди, — сказала она, — сегодня Пасха и солнце грае». Над черными избами, голыми садами повисло солнце. Я посмотрел прямо на него. И увидел, как ободок чисто-золотого блюдца вращается с невероятной скоростью. «Ну?» — спросила баба Варя, глядя сбоку на меня. «Вращается», — сказал я. «Грае», — сказала баба Варя удовлетворенно. Никогда больше я не видел такого солнца.

Святоземелец Торо

Генри Торо в своем эссе «Прогулки» разбирает слово «бродяжничество» — «sauntering» и выводит его из «Sainte terrer» — «Святая земля». Дети в средние века кричали вослед пилигримам: «Sainte-Terrer!», то есть: «Святоземелец!» Правда, приводит он и другую версию происхождения бродяжничества — от «sans terre», т. е. «без земли, без пристанища». Но и из этого страстный ходок Торо извлекает светлое, мол, человек без определенного пристанища — тот, для кого вся земля — дом. Хотя ему ближе первая версия. И он считает, что «каждая прогулка — нечто вроде крестового похода».



Но настоящих ходоков мало, сетует Торо, за свою жизнь он не встретил и двоих. А сам был ходоком классическим, неторопливым, вглядчивым, с дневником: «Я люблю Природу отчасти потому, что она — противоположность человеку, убежище, где можно от него укрыться». Его «Уолден» тоже стал убежищем для всех последующих бродяг-святоземельцев, рано или поздно человек, любящий прогулки пешком, находит этот пруд и хижину на его берегу, там сразу приходишь в себя, наткнувшись на любой афоризм хозяина, ну, например, на этот: «Я всегда сожалею, что не так мудр, как в день своего появления на свет».

Этой младенческой мудрости и взыскует святоземелец-бродяга.

Сковорода

С Генри Торо перекликается наш Григорий Сковорода, называвший ходьбу — истинно философским способом передвижения. Он пешком исходил Европу в годы ученичества. А вернувшись на родину, бродил по селам, исполняя свои духовные песни. Он был старцем, живущим милостыней и гостеприимством. Старцем дороги. Мог стать видным иерархом. А предпочел посох и дорожную суму. В. Эрн сравнивает уход Сковороды с уходом Толстого. И замечает, что Толстой ушел умирать, а Сковорода — жить. Жить в дороге. И двадцать восемь лет странствовал по Украине, Орловщине, заходил в Таганрог. В мешке серая свитка, башмаки и листы сочинений. А еще собственноручно сделанная флейта. Но самое главное — еврейская Библия (то есть на еврейском языке), которую он считал своей живой спутницей. В странствие по ту сторону он отправился с ней под головой.



В почитании Книги он близок мусульманам.

Сковорода делил мир на три составляющие: человеческое, вселенское и символическое.

Символ — окно, сквозь которое можно до самого сокровенного доглядеться. Он и глядел, шагая по дорогам со своим скарбом: книгой, флейтой, башмаками. А что еще нужно... Да вот еще тетрадь, озаглавленная так: «Сад божественных песней, прозябший из зерен священного писания».

Чайхана в Париже

Париж – это уплотнение пространства, дома и башни вздыбливаются горными системами, мосты стремятся к автономности – оторваться от берегов и жить по-своему, тропинки Булонского леса бесконечны, там можно блуждать целый день. Париж – мир многоярусный, быстро его не освоишь. Да и никогда.

В первый же день парижских скитаний сквозь толстую кожу новых осенних башмаков проступило темное пятно. В гостинице я разулся и увидел окровавленные пальцы, мозоли лопнули, а я и не почувствовал, шел по улицам и мостам в трансе ходоков-почтальонов старого Тибета, лун-гом-па. Может, иногда и левитировал, как они.



На следующее утро я думал, буду ковылять, ничего подобного, несколько вдохов сизого парижского воздуха, морозного, терпковинного, лица и голоса прохожих, сияние солнца на заиндевелых капотах, матовых листах платанов, мелькнувшие в тысячный раз мысли о том, что вот он, город героев Ремарка, Хемингуэя, дзэнского просветления Ван Гога и Керуака (написавшего «Сатори в Париже»), — и маршрут парижского дня захватил меня. Перепад пространств все еще пьянил: советского и здешнего. В районе Сакре-Кёр, собора на Монмартре, я наткнулся на чайхану. На зеленой вывеске белая вязь букв. Мне показалось, я должен был сюда прийти. За витриной виднелись силуэты в национальной одежде. И когда я увидел горбоносого усача в паколе — шерстяном берете с заверну-

тыми краями — я уже не сомневался, что чайхана афганская. Здесь я ощутил еще большее уплотнение пространства. Оно буквально сопротивлялось.

Я прошел к заведению и попытался попасть внутрь. Но усач в паколе и жилетке поверх длиннополой синей рубашки скрестил руки и сказал по-английски, что закрыто, закрыто. Это было странно. Внутри сидели люди, пили чай, до вечера было далеко... Мы смотрели друг другу в глаза пару мгновений, я отвернулся и пошел своей дорогой. Черт его знает... Хозяин — барин.

Спустившись с Монмартра, я завернул в кафе, сидел перед фарфоровым кувшинчиком, прихлебывал крепкий горький кофе, думал, ну, не написано же у меня на лбу... «Афганские рассказы». Выход этой книжки и привел меня сюда, то есть в этот город. И в чайхану. Но попробовать афганского чая так и не удалось. А жаль, это сюжет для рассказа... Не вернуться ли туда на другой день? Но утром я вспомнил взгляд этого человека и мне расхотелось возвращаться. А в рассказе герой должен был вернуться. Ну, что ж, его дело. Я отправился искать музей Пабло Пикассо.



После чтения «Имен» Флоренского



Любопытный сон: в соборе идет какой-то человек, из-за колонны вдруг появляется его двойник, но старый; человек оглянулся — двойник исчез, потом снова появился, и человек обнял его, двойник лучисто улыбался, это были отец умерший и сын живой. Но здесь они оба были живы.

Чувство сиротства

Чувство сиротства первично, говорит Октавио Пас, младенец, появившись на свет, не знает ни отца, ни матери. А ведь этот миг, если верить современным психологам, тому же Ст. Грофу, один из важнейших, определяющих. Вот, где истоки экзистенциализма.



Негосударство

Точно установлено: заговори в любой компании об анархизме – тут же все встряхнутся, оживут, заспорят, загалдят. Это красная тряпка, удар грома средь ясного неба, «хэ!» дзен-буддизма. Действует пробуждающе. В этом, может, и сокрыт главный смысл анархизма.

Но еще тут проблема этимологическая. «Безначалие, безвластие». А ведь анархизм – учение, в этом безвластии есть свод правил – анархических принципов. Лучше бы назвать это учение по-другому, например, аэтатизм. Язык сломаешь. В общем – негосударство.

Счастье, свобода

У Юнга: тождество субъекта и объекта уничтожает всякую возможность познания; человек лишен свободы; это состояние характерно для примитивного человека.

Есть о чем подумать.

Был ли первобытный дикарь свободен? Руссоисты считают: да. Но ведь ощущение свободы возникает часто из-за несовпадения с объектом — с целым миром, жизнью, обществом, когда ты вдруг остро переживаешь независимость, отделенность, одинокость «я». Выскочить из беличьего колеса, перестать быть захваченным жизнью.

Ощущение свободы появляется и при совпадении с объектом: с людьми, природой. Растворение. Или это ощущение — счастье, но не свобода? Можно ли поставить знак равенства между счастьем и свободой? На нижних ступенях — вряд ли. Скорее всего, быть счастливым не значит быть свободным.

Так дикарь был просто счастлив, но не свободен?

Ну а мы — не счастливы и не свободны.



Но что такое парижская осень? И даже зима? Это бабье лето. У них, кстати, эта пора называется индейским летом. У Моррисона есть песенка с таким названием. Он умер в Париже от передоза. На его могилу мне пришлось идти, выполнять наказ племянниц и дочки.

Кладбище Моррисона я отыскал быстрее, чем кладбище Дебюсси.



Да, так получилось, что до этого я побывал на могиле другого музыканта – уже по велению сердца. Эта встреча была предопределена. Ну, хотя бы и увлечением импрессионистами, Ван Гогом, Гогеном. Сейчас это признание звучит немного нелепо, что ли. Кто же их не любит? Это все равно, что не любить «Битлз», Мадонну и Майкла Джексона. Но вот последних двух я как раз и не люблю, точнее, отношусь к ним совершенно спокойно, а еще точнее – никак не отношусь. Но понятно, что я имею в виду. Ван Гог и Гоген поп-художники. И я слышал признание одной художницы, она заявила следующее с тихой яростью: «Я его ненавижу». Ван Гога, то есть. И я ее понимаю. Ван Гог и Гоген, — звучит как название какой-то компании. Но лет двадцать назад эти имена в СССР не были брендами. И по простой причине: альбомы живописи были дорогой редко-

стью. Это сейчас – даже не надо тратиться на альбом, кликнул в Яндексе картинки, и гляди, можешь одновременно слушать музыку, Дебюсси. А тогда я рассматривал черно-белые крошечные иллюстрации в пособии для студентов «Западноевропейская живопись», взятом, разумеется, в библиотеке. И мое внимание привлек автопортрет какого-то мужика в ушанке тем, что, да, он был в ушанке, но, главное, курил. Попыхивал неслышно гнутой трубкой. А я в это время бросал курить и не спал ночами и думал, что жить вообще незачем. Меня преследовали кошмары. Зубы разламывались. Снились братья Абдрупт и Абдуламид, таджики из соседнего с полком кишлака, приносившие на обмен сигареты, когда вовремя не прибывала колонна с табаком или ее где-нибудь по дороге обстреливали, машины сжигали. Они снова приходили. И, просыпаясь, я недоумевал, в чем дело, надо просто быстро умыться, сбежать по ступенькам, пересечь двор, выйти к дороге – там витрина ларька уставлена сигаретами всех сортов и расцветок.

Короче, ломки никотиновые. А тут над трубкой вьется дымок, мужик в простецкой шапке курит себе и все, плевать он хотел на здоровье и долгожительство. Важно ведь не это, верно? – как будто спрашивал у меня его взгляд. И взгляд сострадательный. Потом я понял: страдальческий. Так я был уловлен кольцами дыма, как арканом. Информация о нем была скупой. Ну, а уже потом я раздобыл книжку искусствоведа Дмитриевой с подсолнухами на обложке, и подсолнухи были в цвете. И подсолнухи меня, гелиолепсика, добили окончательно. За ним последовал Гоген, тут я уже узнал родной миф о том береге. Потом на страницах вскипел маковыми красками Клод Моне, а позже Сезанн воздвиг в моем палимпсесте гору Сан-Виктуар. И наконец, повеял ветер, тот самый, западный. Дебюсси и до сих пор не поблек, в отличие от художников-импрессионистов. Рано или поздно в горячей любви наступает минута избыточности, когда талант, почитаемый тобой, начинает довлеть, и ты вдруг чувствуешь легкую тошноту. Все, после прохождения этой точки прежние отношения невозможны. Это легкое чувство тошноты остается. Что не означает ненависти. Нет, можно снова восхищаться творениями и того, и другого. Но что пройдено, то пройдено. А Дебюсси непреходящ. Я даже знаю лес, опушку июльского леса, где бездельничал и предавался грезам его фавн. Там сверкают стволами березы. Я видел и вижу его «Следы на снегу». «Море» мне никогда не надоедает. «Море» Дебюсси – это другая стихия для меня, место где-то в Китайской Монголии. И из трав там над синими сопками встает кровавое солнце, начинается битва, ревут трубы. У каждого свои ассоциации. Терпки звуки его «Врат Альгамбры», что можно еще перевести как «Врата вина». Мне кажется, что Дебюсси бог фортепиано. Ну или фавн. И в Париже я отыскал кладбище Пасси. Два дня у меня на это ушло. Кружил в районе кладбища, совсем небольшого, так и не нашел в первый день. Мой французско-смоленский

какой проводник? На второй день, расспросив соотечественницу получше, поехал и вышел сразу к кладбищу. Но еще попетлял среди надгробий, склепов, серых, каменных, массивных. И внезапно оказался у черного скромного надгробия. Клод Дебюсси. Золотой знак, напоминающий сольный ключ. Букет белых цветов. Здесь покоится утонувший собор. Посмотрел по сторонам, никого. Преклонил колено.

Ну, у Моррисона на Пер-Лашез я ничего не преклонял, по указателям вышел довольно быстро к могиле и тусовке возле нее: какие-то чуваки в затертых джинсах, хайрастые, с бутылочками, сигаретами, фотоаппаратами; немного поодаль среди обелисков маячила женщина-полицейская… то бишь, полицейский, короче, на парижском арго: корова. Потоптался, сфотографировал все, как есть, и пошел на волю, засел в китайский ресторанчик, открыл пиво. Запивал огненную какую-то жрачку, жалел, что не знаю толком, о чем пел Моррисон. Почему-то называют его вторым Рембо? Мне его песенки нравятся, есть в них что-то, какое-то отчаяние, да и шаманизм близок моей природе. Но сам Моррисон, особенно тот, каким его показал Оливер Стоун в своем фильме, — нет. Его бунт странен. Понимаю, заложник своего таланта… Или своей слабости? Смотришь фильм и думаешь: с жиру бесится.

А индейское лето цвело среди серых камней, над серыми водами Сены рыжей листвой платанов, огневело закатами, изводило тоской одиночества и невозможностью проникнуть глубже, перестать быть туристом, чужаком, который глупо таращится на все, несмотря на всю любовь к гогенам-моне, и выглядит дикарем в дурацкой новенькой одежке. Разумеется, лучше всего было хорошенько выпить. Что я и сделал. Облегчения это не принесло. Теперь-то смешно: а ведь и сам бунтовал уже… бездарно, против чего? Дикарь во мне стремился назад, к родимым осинам.

За утренним чаем



Заваривая чай, просто и ясно подумал, что душа человека в плену, а в книгах распахивается свободный мир.

...Но звучит вяло и тривиально. А когда заваривал чай, это сверкало как скрижаль алмазной или какой там сутры.

Театр теней

Юнг вводит понятие психической структуры, которую называет тенью. Это негатив личности, все скверное. Тень вытесняется сознанием, не признается. Но нелегалом проникает в сны — в виде всяких уродов, убивцев и т. д. А днем пограничник сознания замыкает границу на замок. И вот что происходит дальше. Тень дипломатично является в образе другого: соседа, знакомого, продавца винограда. И ее — тень — можно пропустить и ненавидеть, а при случае столкнуть в канаву. Личные тени — полбеды. Хуже явление коллективной тени, когда все негативное проецируется уже народом на народ: армяне — азербайджанцы, грузины — абхазы, немцы — евреи.

Русским Юнг дает в качестве такой мишени для проекций литовцев.

Сейчас Юнг пришел бы в полное замешательство: мы живем в театре теней, враг всюду, за каждым поворотом. Особенно много теней у москвичей. В провинции, света, что ли, больше. Или денег меньше. Наверное, последнее. Тени вьются вокруг денег. Чем больше денег, тем сильнее паранойя.

Подлинность

Подлинность не может быть различной? Ее можно свести к чему-то единому? Вот один из вариантов подлинности: 10 заповедей. Но разве нет у атеиста подлинности? Или его подлинность точно хуже подлинности теиста?

Подлинность — это какой-то замысел о тебе.

Приблизиться к своему замыслу. Именно к своему или вообще к замыслу о человеке?

Истина это знание, подлинность то, что знают. Истина подлинности. Когда знание о подлинности точное и оно тебя не беспокоит, это и есть — подлинность. И это невозможно.

Тайна осеннего солнца



На берегу Днепра, в конторе учебных пособий Нина выписывала различные материалы для школы. Я сидел у старого основания моста, — уже не существующего, — глядел на воду, растрескавшуюся башню, солнце, бьющее сквозь зубцы. Благодатная осень. Потом мы поднимались по шумной Советской, заглядывали в книжные магазины, купили мороженое. И где-то на улице Тенишевой, шагая в косых лучах, я вдруг разгадал тайну осеннего солнца — оно весь день утреннее.

И сейчас мы стали еще ближе к нему: забрались на наш Остров. Солнце в летящих дубовых и березовых листьях, в сизых струях дыма. Ему верно служат лишь синицы да кузнечики, самозабвенные певцы (Аполлона, вычитал у греков). Но их голоса уже не нарушают Великую Осеннюю Тишину. В ней, между летом и зимой затерялись и мы, лакомимся медовой антоновкой, набрали целый капюшон штормовки, когда проходили через сады исчезнувшей деревни.



Коан

Коан это такая хармсовщина, постигаемая интуитивно. Коаны нас всюду окружают: иногда обрывок разговора двух прохожих резонирует с твоими мыслями, и в этом содержится какой-то ответ. Коан может быть сочетанием жестов — людей, птиц, деревьев, ветра. Даже из газетных сообщений можно составить коан. Ну, немного воображения. И благожелательство звезд, то есть — игра случая.



Вот я встретил новость в газете, о находке в Германии древнейшего музыкального инструмента. Это была флейта из кости хищной птицы. Утверждают, что ей — флейте (да и птице) — 35 000 лет. Тут же в памяти всплыли строчки подзабытого стихотворения: «И никогда не начинай играть, / Пока тебя не будет сопровождать / Великий Звук Лао-цзы». Странноватая ассоциация? А ведь так и мог бы звучать коан: «В Германии найдена древнейшая флейта. Как она звучит?» И ответ — приведенные выше строки. На первый взгляд ало-

гично. Но я уже окончательно восстановил в памяти источник стихотворения, это книга коанов «Железная флейта».

Вслед за первым самопальным коаном придумался и второй: «В Германии найдена древнейшая флейта. Как она звучит? Рано выпал снег». Этот мне понравился больше. Есть ли в этом какой-то смысл? С утра я слушал «Белое погребение» Виктории Полевой. Украинский композитор написала эту вещь на стихи Айги «Теперь всегда снега». Правда, для гобоя и струнных. Но и флейта и гобой духовые.

Настоящие коаны, возможно, так и возникали. Это цепочка метафор с пропущенным звеном. И адепты дзен должны были укатившееся колечко отыскать. Не всегда это у них получалось. Как, например, у персонажа из этого коана, взятого в книге «Железная флейта».

«Однажды в монастыре Или-чуань повар-монах принимал у себя в гостях монаха-садовника. Когда они сидели за столом, раздалось птичье пение. Только оно смолкло, садовник постучал пальцем по ручке кресла. Птица запела снова, но скоро замолчала. Садовник постучал еще — пение не возобновлялось. «Понял?» — спросил монах. «Нет, — ответил повар, — не понял». Садовник в третий раз постучал по креслу».

Повар оплошал. Ему надо было не понимать, а отвечать мгновенно из самой глубины этой ситуации и своего существа: «Да! В Германии первый снег». Ничего фантастического. Интуиция должна простираться и в будущее.

Дорога осла

«От Тебя, — говорит Августин Аврелий, — ведь уходят и к Тебе возвращаются не ногами и не в пространстве».



Все так. Но архаический партизан думает иначе, он знает, что к священному приближаются ногами, по дорогам в пространстве. Это приближение необходимо, чтобы подготовиться к встрече. Странничество вообще очистительный ритуал: «Избавляется он ото всех грехов,// Смытых потом его странствий. Странствуй же!»

Пространство необходимо телу. Христиане — вслед за Платоном, Плотином — подвергали тело остракизму. Но за две тысячи лет мы так и не избавились от этого брата-осла — тела. И, видимо, потому мы внемлем языческим шептаньям. Пространство — телесная категория. И покуда мы будем в теле — не переведутся странники. «Странствуй! Странствуй же, сказал мне брахман».

...А может быть, странник и стремится избавиться от тела. Но осел бредет за ним неотступно.

Замок

Деревня под Парижем, 50 км. Дома с черепичными крышами, розы, лужайки, хвойные деревья, дубы, каштаны. Чистота и в то же время вписанность в пейзаж. Дом просторный, каменный, одноэтажный. Дому — 200 лет. Две ванные, несколько выходов-входов. Главное — камин. Над камином каменная плита с крестом: раритет, найденный в земле. Ужин. Прибыла соседка моих хозяек, дородная американоподобная мадам в золоте на спортивной машине, хотя живет неподалеку. Бывшая жена бывшего посла в Ливии, Патрисия. Виски. Все курят. Долгий и сумбурный разговор о даосах, конфуцианцах, о Лао-цзы (Патрисия некоторое время жила в Китае), о России, конечно (Чечня, Ельцин).

Наконец, чай, и поздно все расходятся, Патрисия — укатывает.

Ухожу в соседнее строение, флигель, на втором этаже чисто выбеленная горница: кровать, зеркало, большой кувшин в глиняном тазу, картины; здесь жил одно лето румынский художник. Еще вышел на лестницу покурить. И услышал тоскливые крики. Сова. Неясыть. Ей ответила вторая. Сразу вспомнил, что где-то тут есть замок. Закрытый. Там живет лишь управляющий. То ли продается, то ли сдается. Все окрестности — владения замковые, огорожены колючей проволокой. Я до ужина там бродил, собирал грибы. Пролез под проволоку и нашел несколько боровиков. А на обычной территории все грибы собраны. Я еще не знал, что хожу по замковым владениям. И неожиданно вышел на взгорок, увидел сумрачное внушительное строение, похожее на гигантский каменный сарай. По лужайкам бегали доберманы. Поспешил ретироваться. И крик неясытей рифмовался с этим замком.

Ночью приснился хозяин этих мест: некто в рыцарских доспехах. Он повел себя по-джентльменски: снял доспехи, и мы с ним схватились.

Утром открыл глаза, увидел белые стены, картины и не понял, где я. Но уже сообразил: Миллемонт, деревня. Здесь не взрываются дома.

Знакомый свободный мир

Решая, в каком журнале опубликоваться, выбрал вот этот: «Литературный европеец». Журнал Союза русских писателей в Германии. Выглядит вполне прилично. Наверное, и гонорары платят, тогда как некоторые отечественные этим вовсе не утруждают ни себя, ни автора. Вперед! Послал по эл. почте запрос. И очень быстро получил ответ. Вот что значит Европа! И немецкая, пусть и благоприобретенная, пунктуальность. Открыл ответ. И прочел следующее. Цитата начинается:

Журнал не публикует авторов из России и стран бывшего СССР.
Журнал публикует ТОЛЬКО авторов, живущих в свободном мире.
Журнал публикует ТОЛЬКО своих подписчиков.
Рукописи со стороны без рекомендации не рассматриваются.

——

Журнал не публикует авторов из России и стран бывшего СССР.
Журнал публикует ТОЛЬКО авторов, живущих в свободном мире.
Журнал публикует ТОЛЬКО своих подписчиков.
Рукописи со стороны без рекомендации не рассматриваются.

Конец цитаты. То, что речитатив был продублирован, действовало как-то особенно, буквально гипнотизировало, ну, как рефрен из «Так говорил Заратустра» (а Ницше позаимствовал этот прием из древних текстов, из той же «Бхагавадгиты», вот сколь глубоки корни ответов литературных европейцев). Перечитал этот ответ и все-таки обнаружил, так сказать, родные шерстинки, лазейки. Ведь можно жить в бывшем СССР и быть подписчиком этого журнала? И еще лазейка: рекомендация. Все очень знакомо.

Якут, дарящий свободу

В себе мы порабощены. Возможность свободы — в другом. Об этом рассказ Романа Назарова «Очарованный якут» в «ДН» №4, 2009 год.

В полубогемный мир столичного героя явился странник, почти бомж, якут. И герой прозрел в нем Кого-то Другого. И, помогая якуту, собирая деньги на поезд для него, водя его по знакомым, сам стал другим. По крайней мере, на некоторое время. Убедителен притчевый дух рассказа, первые строки гипнотизируют и ведут неумолимо дальше. К свободе. Пусть она и длится всего лишь несколько минут. У героя и у нас, читателей.



...И мне приснился Ким после чтения этого рассказа, Анатолий Ким, автор «Белки» и других незабываемых вещей. Проснувшись, я понял, в чем дело: судьба якута перекликалась в чем-то с судьбой героя «Лотоса». И теперь уже якут Назарова представился мне с лицом корейца Кима.

Все возможно. В толпе встретить грузина с лицом Нико Пиросмани, татарку с лицом Губайдулиной, таджика с глазами Хафиза. И вполне может быть, что ты встретил поэта, живописца, музыканта, неизвестных тебе и пока еще миру, кто знает. Впрочем, даже если они и обыкновенные люди: главное — Другие. Что только подчеркивают иной разрез глаз, цвет кожи, язык.

Религиозное насекомое

В Палестине пчелы селились в скалах, и в знойный день по камням из переполненных гнезд переливался мед. Отсюда и библейская земля, в которой текут мед и млеко. Интересно, а сейчас?

До изобретения парафина свечи делали только восковые. Да и сейчас в свечи, по крайней мере, воск добавляют, некоторые свечи пахнут медом. А ведь свеча — это жертва. Так что пчелы поставляли «пасхальных агнцев» для храмов на Востоке и Западе столетиями. Ну, вот ее и называли «божьей лазутчицей», «божьей помощницей». Пчеловодство процветало в древности в Египте, в Ассирии. И ведь неспроста на Руси ее считали заморской гостьей? Пчелы здесь водились, и все-таки: заморская гостья. И, по-моему, это связано с восхождением по Днепру христианства с его восковыми жертвами. Пчела несла благую весть из-за Черного моря.

Нечаянно я сделал ошибку, прочитав в одной из статей вместо «пчеловод» — пчеловек. Как будто крылья пчелы стеклом-серебром в луче вспыхнули.

Прошлое

Читая в «Авторе и герое» Бахтина о том, что эстетически пережить себя, увидеть нам не дано, только Другому, отчасти в Другом, — неожиданно подумал о прошлом как Другом. Да, не в этом ли причина большей ценности прошлого в сравнении с настоящим? К себе в прошлом я уже могу отнестись как Другой. Я не вижу себя в настоящем, в прошлом вижу. События прошлого не меркнут — по крайней мере, некоторые, самые важные, — а делаются даже ярче. Прошлое выводит за границы личности. И прошлое есть только у человека. (А у зверя — будущее. Шпенглер).

Горящая книга

Есть книги, о которых жалеешь, что УЖЕ прочитал. Но, оказывается, существуют и книги, о которых жалеешь, что УЖЕ перечитал. У меня такая появилась на днях: «Так говорил Заратустра».

И мне теперь всюду мерещится этот странный пророк и его еще более странные звери. Слушаю третью симфонию Брукнера — и Заратустра движется там с сияющим лицом. Хотя симфония не о нем. Но называется «Героической». Кстати, эта вещь кажется более заратустровской, чем симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра».

Наверное, здесь имеет значение то, что, как писал Ницше, «Заратустру» следует рассматривать под знаком музыки. Ведь переслушиваем мы с удовольствием старую музыку. И перечитываем стихи.

Но еще — негасимый огонь «Заратустры». В него полезно окунаться: шелуха сгорает, а кладка оснований становится огнеупорной.

И теперь заключительные строки книги «Так сказал Заратустра и покинул пещеру свою, сияющий и сильный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за темных гор», — читаешь с полным доверием: «Заратустра» из тех книг, что всегда возвращаются.



Эдвард Эббер, «Банда гаечного ключа», роман о шайке экоанархистов, ведущих войну с цивилизаторами.

Петр Кропоткин, «Хлеб и воля», «Современная наука и анархия».

Цитата: «Посмотрим же, что такое свобода?»

Герберт Маркузе, «Одномерный человек».

Цитата: «И наоборот, утрата совести вследствие разрешающих удовлетворение прав и свобод, предоставляемых несвободным обществом, ведет к развитию счастливого сознания, которое готово согласиться с преступлениями этого общества, что свидетельствует об упадке автономии и понимания происходящего».

А. Солженицын, «Архипелаг Гулаг».

В. Белаш, «Дороги Махно», историческое повествование начальника штаба повстанческой армии.

Кен Кизи, «Пролетая над гнездом кукушки».

Родерик Нэш, «История экологической этики».

Цитата: «На склонах вулкана Маука Ки жила маленькая гавайская птичка палила, среда обитания которой была сведена к этой совершенно небольшой территории. 27 января 1978 г. Фонд законной защиты Сьерра-Клуба и Гавайское Одюбоновское общество подали в суд иск от имени уцелевших палила, обвиняя людей в выпасе скотины на территории обитания птички. Процесс был назван «Палила против Гавайского Департамента Земли и природных ресурсов». Впервые за всю историю американского суда истцом в суде стал представитель животного мира. Более того, птица этот процесс выиграла! В июне 1979 г. федеральный судья вынес решение в пользу палилы. Гавайям было дано два года на выведение с территории Маука Ки скотины».

Закон Кропоткина в действии: Файлообмен

В общем, в заголовке уже все сказано. Но все-таки стоит напомнить, что Петр Алексеевич Кропоткин считал движущей силой эволюции закон взаимной помощи, взаимной поддержки. Этому вопросу посвящены его работы: «Взаимная помощь среди животных», «Взаимная помощь среди дикарей», «Взаимная помощь среди варваров», «Взаимная помощь в средневековом государстве», «Взаимная помощь в настоящее время».

Взаимная помощь имеет, по Кропоткину, «гораздо большее значение, чем взаимная борьба» («Взаимная помощь»).

В «Современной науке и анархии» Кропоткин писал, «что нравственное чувство человека есть не что иное, как развитие инстинктов, привычек взаимопомощи, существовавших во всех животных обществах задолго до появления на земле первых человекоподобных существ». (Кропоткин П. А. Современная наука и анархия, М., «Правда», 1990, стр. 263)

Что же такое файлообмен, как не проявление закона Кропоткина? И понятны усилия государства, стремящегося вырвать эти ростки свободолюбия и анархизма. На этой стезе отличилась Франция.

Во Франции Кропоткин много жил после побега из России, правда, и посидел в тамошней тюрьме, но всегда восхищался свободолюбивым галльским духом и возлагал большие надежды на французов в грядущем анархическом обновлении мира. Можно вообразить его разочарование, стань он свидетелем недавнего закона против файлообмена во Франции.

Но на родине князя, представителям коей свойственна щедрость и склонность к анархизму (но и парадоксальным образом к цезаризму), это проявление фундаментальных качеств человеческой природы и органического мира вообще пока не пресечено. Взаимопомощь в виде файлообмена существует. Может быть, так начинается анархическая революция? Мирно, по Толстому (который, кстати, тоже мечтал о бесплатном распространении знаний и искусств) и Тукеру. Сам Кропоткин, как известно, был все-таки сторонником крутых перемен. Он да Бакунин, еще немец Штирнер. Но, возможно, потому, что не мог предугадать появления этой странной территории информации и духа, ноосферы по существу. А то, что любая революция начинается в сфере духа, было для него аксиомой.

Надо ли говорить, что файлообмен для нищих идальго — учителей, провинциальных художников, библиотекарей — это просто манна небесная. И вот вопрос — кому принадлежала эта самая манна? Может быть, французское правительство знает.

Вся суть геопоэтики в трех строчках

В «Дружбе народов» № 4, 2009, повествование шотландского автора, живущего во Франции, Кеннета Уайта «Дикие лебеди».



Наконец-то можно попробовать на вкус эту самую геопоэтику, о которой давно твердят, в частности Василий Голованов (он же переводчик «Диких лебедей» и вообще замечательный прозаик). Итак, изобретатель геопоэтики Кеннет отправляется в путь — за тенью Басё, по тропинкам севера, японского севера. В дороге он мало-мало выпивает сакё и всяких прочих дринков (пиво «Саппоро»), общается с аборигенами, знающими язык своих недавних врагов, дышит морем, любуется пейзажами, вспоминает хокку Басё, да и сам сочиняет. Поминает Чехова, писавшего об айнах. Хокку Кеннета меня оставили равнодушным. Но прозаический текст симпатичен. Цитата: « — За вечную провинцию, — сказал Кенжи, и я поднял свою чашку в знак согласия». Правда, я так и не понял, чем отличается геопоэтическое путешествие от путевой прозы. Разве что налетом неоязычества? Но любой пишущий о природе рано или поздно впадает в этот пришаманивающий тон. Апофеоз путешествия — хокку, как его определяет сам автор, — лебеди из Сибири, остановившиеся на отдых в Японии. Впрочем, Кеннет не уточняет, откуда именно лебеди. А зря. По нашему разумению, это уже почти хокку: Лебеди из Сибири... — и т.д. Не решаюсь продолжить. Вообще, хокку написать

европейцу или американцу почти невозможно. Так же трудно белому петь черный блюз. И уж во всяком случае, соревноваться с Басё точно не следует.

Будь внимательным!
Цветы пастушьей сумки
На тебя глядят.

Открыл наугад Басё и сразу увидел это. Кстати, не есть ли это хокку краткая формула всей достохвальной геопоэтики, а?



Другое имя августа

Еще в августе увидел этот знак осени в Белкинском лесу – красный лист — и подумал о «Красных виноградниках в Арле», что понятно, а еще вспомнил рассказ Фолкнера «Красные листья», что совсем уж далеко.

Ассоциативное мышление прихотливо и часто кажется совершенно алогичным или слишком личным. Иногда и сообразить нельзя, почему то или иное слово, тот или другой аромат вызывает в памяти голоса и лица, строки. Об этих субъективных линиях соответствий рассуждал Мастер Игры в романе Гессе, приводя в пример запах веточки бузины и первые уроки игры на флейте.

Но если дотошно распутывать эти связи, можно все-таки к чему-то прийти, ухватить подспудную логику. Даже с рассказом Фолкнера. Речь не о том, что на поверхности, разумеется: цвет, предмет, — а о чем-то сокрытом, ведь на самом деле, именно это интересно.

Сюжет рассказа прост и впечатляющ, как притча. Индейцы гонят черного раба, чтобы принести его в жертву, отправить вослед за умершим вождем, его собакой и лошадью. Им удается его окружить на исходе шестого дня. Но сразу его не хватают, дают еще ночь просидеть в болоте, хотя вождь уже давно смердит. Так ведь не ночью его хоронить. Утром негр поет в предсмертном экстазе в своем болотном убежище, индейцы слушают. Они его понимают. «Ты хорошо бежал, — говорят они, — и тебе нечего стыдиться». Это листья того же древа глухой архаики, уходящего корнями в глубины и выси. Негра на болоте укусила змея, и он ей сказал: «Здравствуй, бабушка». То же самое мог бы сказать любой из его преследователей. Черный будет убит у могилы вождя. О красной листве в рассказе не упоминается. Здесь автор отсылает к метафоре мироздания как древа. Хотя возможны и другие объяснения. В рассказе есть замечательный рефрен: завтра – это только другое имя для сегодня. Таково архаическое время. Его, в общем, и нет по сути, как нет перемещения воды в волне: она стоит на месте. И сентябрь – это только...

Костер горел ярко

Связал меня дождь. Сижу на взгорке в старых березах, с усохшей яблоней и шиповником уже вторые сутки. Всматриваюсь в сизые моросящие дали над лесом.

На старой карте здесь указан господский дом Алексеевъ.

Как коротал здесь дождливые осенние деньки г-н Алексеевъ? Была у него, наверное, библиотека. Из города выписали дочке пианино или купили скрипку, а может, и то и другое. Слушая музыку, Алексеевъ стоял у окна. Пожалуй, достал штоф из буфета, налил рюмку.



С тех пор, как я впервые увидел эти места над Васильевским ручьем, они ассоциируются у меня с деревенскими рассказами Бунина. Еще я застал здесь поля колосящейся ржи. Лет пятнадцать назад. Хотя деревня на другом берегу ручья и на краю другой глубокой долины – уже исчезла, только сады остались да кладбище в березняке. Но рожь спело, густо качалась под ветром. Вспыхивали синие звезды васильков. Над родниковой чашей, откуда и начинается сильный ручей, стоял гигантский серебристый тополь. К роднику я и вышел через ржаное поле в мареве, звоне мух, шмелей. Это была черная глубокая чаша, поросшая кленами и липами, кустами спиреи. Здесь в разных местах били три родника, сливались и текли вниз. Место очень высокое. За родником – точка, с которой можно увидеть пол-Смоленщины.

Я и смотрел на волнистые дали, напившись ледяной воды. Надо мной парил коршун…

Бунинский «Сапсан» вспоминался. Раньше я очень любил его стихи и не обращал никакого внимания на критиков. Но потом начал замечать, что в них есть какое-то напряжение, что-то принудительное. «И трава, и цветы, и колосья…» Эти «и», «и» — создают впечатление затрудненности дыхания, раскачки. По сути, стихи Бунина так и остались юношески неловкими. Другое дело — рассказы: «У поворота с большой дороги, у столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика, дышал свежестью степной осенней ночи. Костер горел ярко…»



Слепая рука

Если музыка (стихотворение, картина) вызывает ассоциации, это первый сигнал маяка внутренних пространств — туда можно направиться. Если услышанное (прочитанное, увиденное) вдохновляет, этому точно можно довериться. Ну и, наконец, если услышанное заставляет думать, сопоставлять это новое знание с тем, что уже известно, это моя вещь. Три «если» как три точки опоры в азах альпинизма: делать следующий шаг на скале можно только в том случае, если есть три точки опоры и они действительно прочны.



«Слепая рука» украинского композитора Виктории Полевой, произведение для флейты и гитары, вызывает ассоциации: это ветер, дрожание безвидной земли (и другие, не столь проявленные вербально). В этой музыке есть странная нищета; та нищета, которую прославлял Франциск Ассизский; и это меня вдохновляет, как вот дорожная сума Сковороды, в которой тот носил книги, свитку и флейту. О чем эта вещь? Представляется, что это некое начало; нечто только стало быть; здесь дан момент возникновения, становления; не только глаза, но и кожа, рецепторы еще не знают мира; и он познается наощупь. Возникают проблески чистого детского сознания. Здесь вспоминается один из героев «Ста лет одиночества», который надписывал имена позабытых вещей, чтобы научиться заново жить. Кажется, то же самое происходит и в «Слепой руке».

И прерывистая мелодия не оставляет после прослушивания, сопровождает в пропастях улиц, тянется, шершавая наощупь, как нить.

Солнце за дверью

Мари Бойн Персен, норвежская певица, исполняет саамские песни йок, приправленные ритмами world music; эти ритмы, кажется, ей мешают. Но одна песня запоминается. Называется она так: Vuoi Vuoi Mu, Idjagiedas. (Можно ввести это название в поиск и услышать песню).



Сейчас в преддверии декабря эта заунывная песенка выражает наилучшим образом — всё. У нас, конечно, не север, но тоже окраина гиперборейская, солнца настоящего не будет месяца полтора, только в середине января оно засверкает, станет набирать февральскую силу. Отсюда — те же чувства лапландские: тоска, депрессия. У народов севера и сказки печальные. Например, у юкагиров: кочевал одинокий старик, увидел юрту, ладную, чистую, эге, девушка, думает, заглянул в дымовое отверстие: точно — черноволосая сидит, шьет, а старик давно не умывался, грязь с его образины посыпалась, девушка подняла голову — и оказалась старухой. Старик скатился с юрты и бросился бежать, куда глаза глядят. «Боялся, как бы старуха не погналась за ним», — замечает рассказчик. А старуха тоже испугалась, выронила свое шитье в огонь. И только ночью вышла, смотрит, никого, одни звезды. Вернулась в юрту, раздула огонь, вскипятила чаю, напилась и легла спать. Конец сказки.

Счастливый ландшафт

Уральское издательство затеяло в конце прошлого века выпуск немецкой серии «Биографические ландшафты». В основном это биографии поэтов, писателей и философов. Книги открываются следующим подзаголовком: имярек сам свидетельствующий о себе и о своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Повествование на самом деле ведут все-таки авторы, но сдержанный тон и различные точки зрения на «предмет» свидетельствуют, по крайней мере, о стремлении к объективности. Кроме того, биографии дышат обильными цитатами, а некоторые снабжены приложениями со стихами, дневниками и эссе. Книги отлично оформлены, как правило, на обложке иллюстрация живописи и портрет. Держать такую книгу в руках — одно удовольствие. И листать, рассматривая фотографии, — иногда не очень высокого качества, но это придает снимкам еще большую убедительность. Тем более — читать.

Но, видимо, книги плохо продавались, и в Смоленске некоторые из них очутились в «уцененном» магазине. И мне посчастливилось купить три биографических ландшафта: Новалиса, Хайдеггера и Торо. Речь сейчас о последнем. Прочитал эти книги… около… десяти? — лет назад (однако, как быстро потекло время в новом тысячелетии), и вот взялся перечитывать биографию Генри Торо. Ну, как это бывает? Открываешь книгу, выхватываешь пару глотков ее воздуха и — либо закрываешь до лучших времен, либо еще что-то прочитываешь, страницу, другую — и вдруг оказываешься на этом пути уже в полной власти дорожного даймона. Метафора чтения-путешествия в особенности применима к «биографическим ландшафтам».

Книга о Торо начинается с короткого вступления, настраивающего на соответствующий лад, и первая глава называется так:

Конкорд: место, где родились Торо и новоанглийский трансцендентализм.

Тут же рисунок Конкорда 1840 года: в центре гуляющая семья: муж, жена, ребенок, позади них что-то, напоминающее флагшток, но без флага, на заднем плане церковь, слева тоже церковь, вертикали задают строгий ритм. Здесь уже кое-что становится понятным.

Впрочем, я не собираюсь описывать все достопримечательности этого биографического ландшафта, все-таки книга немецких авторов уже своего рода путеводитель, составлять еще один вряд ли уместно. Перейдем сразу к центру: озеру Уолден. С ним Торо и отождествлял себя.

Озеро не особенно нравилось местным жителям, оно было неказисто, скучно, но зато полно чистейшей воды. И эти воды новоанг-

лийский отшельник Торо претворил в сильное вино словесности, не выдыхающееся до сих пор. «Уолден, или Жизнь в лесу» — бесконечная песнь, высокая поэзия, исполненная ликующего гимнического духа, ее пел по утрам, вечером и днем странный человек, построивший на берегу хижину, тот, кого многие считали смутьяном, едва ли не анархистом, бездельником... Еще один житель Конкорда Ральф Уолдо (так!) Эмерсон называл его «единственным в городе человеком, располагающим свободным временем». Сам Торо говорил об этом так: «Если человек каждый день проводит полдня, бродя по лесам из чистой любви к природе, то он рискует заработать репутацию бездельника; если же он проводит в лесу целые дни уже в качестве спекулянта, который организует вырубку деревьев и преждевременно оголяет землю, то он заслуживает себе доброе имя гражданина, похвально преисполненного духа предпринимательства». Этот дух был совершенно чужд ему. Торо был классическим маргиналом, может быть, социопатом, как сказали бы сейчас. После окончания университета он работал учителем, но уволился, не пожелав сечь учеников розгами, затем открыл частную школу и преподавал там вдвоем с братом, но тот заболел чахоткой, и школу пришлось закрыть; после этого Торо работал садовником у Эмерсона; пробовал себя в качестве репетитора в Стэйтен-Айленде около Нью-Йорка; наконец, два года жил в хижине на берегу озера; работал землемером (здесь навсегда неизбежная ассоциация) и уже перед самой смертью, последовавшей через три года после кончины отца, возглавлял карандашную фабрику.

Главным событием его судьбы была жизнь на берегу озера. В книге даны фотографии озера, хижины и внутреннего помещения, а также карты озера с измерениями, выполненными Торо в 1846 году, и титульный лист первого издания книги, где изображен домик с печной трубой в окружении елей. Плохую черно-белую фотографию Уолденского озера, точнее одного из участков озера, правоверный уолденец рассматривает с благоговением. Скорее всего, это старый снимок, жаль, время не указано. Темные, почти черные кипы деревьев, серо-пепельный зыбкий берег и темные воды, по краям тоже густо черные. Но мы-то знаем, что они были прозрачны и хороши, и свой чай, свою похлебку самый вдохновенный озерный житель готовил на этой воде. И ее же он превращал в незабываемые гипнотические афоризмы.

«Озеро — самая красивая и впечатляющая черта ландшафта. Оно есть око Земли. Заглядывающий в него измеряет по его глубине глубину собственной натуры».

И дальше: «Небесная вода!»

Теперь-то нам ясно это, небесные воды света сфокусировала эта линза, отразило это зеркало с клеймом Генри Дэвид Торо. Но в те времена, когда леса Уолдена еще не были вырублены, столь очевидные вещи были под спудом неприятия и непонимания. Книгу, которую

автор шесть раз переписывал в течение десяти лет и для которой долго искал издателя, не раскупали, как, впрочем, и первую книгу «Неделя на реках Конкорд и Мерримак» (продано 219 экз., остальные 706 возвращены автору да еще с долгом). Было от чего приуныть и впасть в депрессию (и даже запить, но Торо миновал этот искус). Здоровье тоже не радовало. Сильный удар нанесла еще давняя смерть брата (у Торо развились все признаки того же недуга, что и у любимого брата, скончавшегося от столбнячной инфекции). От чахотки умерли сестра и брат, развилась болезнь легких и у него, сведшая самоизбранного инспектора ливней и снежных бурь до срока в могилу. Женат он не был, та, которую полюбил в юности, отказала ему, а женщине, влюбленной в него, не смог ответить тем же. Жизнь, похожая на неудачу, неказистая, как — вспомним — Уолденский пруд...



Но есть два Уолдена, верно? И один из них преисполнен радости:

«К нашей жизни можно применить множество простых способов проверки, хотя бы, например, такую: то же самое солнце, под которым зреют мои бобы, освещает целую систему планет, подобных нашей. Если бы я это помнил, я избежал бы некоторых ошибок. А я окапывал бобы совсем не с этой точки зрения. Звезды являются вершинами неких волшебных треугольников. Какие далекие и непохожие друг на друга существа, живущие в разных обителях вселенной, одновременно созерцают одну и ту же звезду! Природа и человеческая жизнь столь же разнообразны, как и сами наши организмы. Кто может сказать, какие возможности таит жизнь для дру-

гого человека? Возможно ли большее чудо, чем хотя бы на миг взглянуть на мир глазами другого? Мы тогда за один час побывали бы во всех веках мира и во всех мирах веков. История, поэзия, мифология! – никакие описания чужих переживаний не могли бы так нас поразить и столькому научить».



Радио Хлебникова

Велимир Хлебников в «Радио будущего» говорит, по сути, не про радио, а про телевидение. Его фантастическое радио — это книги по всем городам и весям, встающие в гигантский рост, это Мусоргский от Владивостока до Балтики, это и выставки картин; и сеансы врачей-гипнотизеров. Даже название одной из радиостанций он предвидел: «Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку».

Здесь надо заметить, что читальни эти особые — радиочитальни.

Странно, что до сих пор никто не открыл Радио Хлебникова, где читались бы его стихи и вообще стихи, исполнялась бы особая музыка.



Часы шиповника

У меня рефлекс: зацвел шиповник — читай китайцев. Давняя традиция, с чего началось, не помню. Ну и в начале лета читаю.

А этим днем позднего лета шел — и увидел пару распускающихся цветков. Обильные дожди после огненно-солнечной бучи сбили шиповнику стрелки. И вот, пожалуйста, у меня, как у собаки Павлова, — мгновенная реакция, хочется залаять по-китайски.

Но лаять не буду.

И стихами китайскими мучить не стану.

А вот расскажу сон.



...Начал рыться в бумажках, ведь я, как всякий порядочный человек, контролирую свое бессознательное, точнее сказать — регистрирую идущие оттуда импульсы, вспышки маяков, радиосигналы.

И зарылся окончательно.

Вот попалось: «Знаешь ли ты Дамаск?» Да, отвечаю, там растут ливанские кедры. Вопрос из сна.

Или: на деревянной башне взвод отдыхает, оружие оставили где-то; и вдруг по окрестным полям замелькали накидки, вроде бы идут крестьяне, их жены, дети; но в руках некоторых явно старинные английские винтовки — буры; удар пробуждения.

А вот: на лоджию рухнул сундук, окованный белым железом; мы задумались, открывать или не надо?..

Сны летние, зимние, девятилетней давности, сны о знаменитых, вот: длинная дорога в лужах, фыркает лошадь, показывается коляска, в ней Иван Алексеевич Бунин. И ваш покорный слуга, то ли кучер, то ли малый на подхвате, я так и не понял. Но хорошо запомнил мыслишку: «Надо написать воспоминания об этой поездке».

Ну, вот и написал.

Были сны месопотамские, тибетские. И точно — несколько китайских, особенно один, очень яркий... Нет, прав поэт, житье на земле и вправду обходится дешево, за сны не надо платить.

Ну, ладно. На этом остановимся. Собственно говоря (хороший оборот, как-то дисциплинирует, приструнивает), это лето было как сон: солнечный застывший шторм, ночные вылазки в магазины, короткие перебежки, змеи, кидающиеся на людей, дым; и вот спаслись, добрались до прохладного берега, как до одного из плавающих в океане Островов Блаженства, и увидели призрак весны.



Тамара

Множество сведений, выписок — для идейного разговора персонажей; в итоге — полторы реплики по существу. Остальное сопротивляется, и так и остается сокрытым.

Герои тоже сопротивляются, одна героиня не хочет быть Раисой, а вот почему-то Тамарой. Хотя Раиса ей больше подходит по мнению автора. Нет, «Тамара». Как только доходит дело до ее реплик, сразу «Раиса» с «Тамарой» цепляются друг другу в волосы. Ну, хорошо, Тамара. И «она» успокоилась.

Сестра-тайга

Теперь мне кажется, что в тайге звучал этот голос: Сианхо Намчылак. Собирая сведения об эвенках, читая легенды и мифы севера, слушаю записи этой женщины, тувинки, живущей в Европе. Особенно хорош альбом «Time Out». Тонкая и нежная работа «Аржаана», о девушке, ставшей родником, своеобразная радиопостановка. Я, например, люблю такие вещи больше, чем кино: музыка и голос разворачивают краски и пространства небесные, земные непосредственно у тебя в голове.

Сбить след

В инете просмотрел, выловил имя одного эвенкийского писателя, пошел в библиотеку, но фамилию вспомнить не смог. Библиотекарь попросила сообщить хотя бы название книги. Я напрягся и вспомнил: «Алитет уходит в горы»! Она тут же села за комп и нашла автора: Тихон Семушкин. Книги, правда, не было. И только дома я обнаружил ошибку: моего писателя зовут Алитет Немтушкин. При рождении он получил имя Альберт, но, когда уезжал в Ленинград учиться, взял по совету знатоков шаманских дел другое имя. Тетка у него была шаманкой и считалось, что она «съедает» родственников и поэтому так долго живет, а они умирают. Ну, ему и посоветовали сбить след.

Но какова сила популярного имени. Ведь это фильм был такой, наш «вестерн» 49 года — «Алитет уходит в горы» про американцев, чукчей и советскую власть, — по книге Семушкина.



А Немтушкин сбил след и прожил долго. В инете я нашел его рассказы, непритязательные, но по-своему интересные, чистые, прозрачные. Реплика бабушки внуку: «Ты на целое Солнце старше его». Хорошо читать, слушая Сианхо Намчалык.

...Но это для тех, кто бывал на севере.

Рябь созерцания

Вот застывшая секунда:
Ласточка чиркнет влагу крылом —
бегут мельчайшие волны...

Но, пожалуй, и не застывшая: рябь бежит по воде, по зеркальной глади ручья, берегом которого 800 лет назад праздно прохаживался поэт эпохи Сун — Сюй Цзи.

Медленнее, медленнее...

Ортега-и-Гассет говорит, что главное в романе не судьбы, не приключения действующих лиц, а их непосредственное присутствие; нам нравится смотреть на них, постигать их внутренний мир.

Но ведь нравятся нам персонажи с судьбой? Персонажи, у которых есть что-то за душой? Те же приключения.

Но суть этой мысли вот в чем: не надо нам долгих рассказов о перипетиях судеб, покажите это в жестах, репликах, взглядах героев.

Эволюцию романа он определяет так: от приблизительного повествования — к представлению во плоти.

«Императив романа — присутствие».

Но все-таки это присутствие лучше, ярче раскрывается в острые моменты, в столкновениях, в конце концов, в тех же приключениях.

А Ортега-и-Гассет голосует за роман медлительный, это, мол, не сказка и не быстродействующий алкоголь.

Но кто сейчас читает медленные романы...

Против детективов

«Если мир загадочен, то и образ загадочен» — говорил Тарковский.



Подкова на дверь

Взял спиннинг и после обеда выехал. Сразу понял, что летом явно кого-то возил еще на багажнике, тушу солнца, — а теперь летел налегке.

Все выглядит странно: кругом зелень, но птиц не слышно; мир замер. Впрочем, Днепр течет себе. Дан Апр — Дальняя река, как называли его скифы.

...Воздух со свистом рассекла блесна, плюхнулась в воду. Это мое старое место, здесь всегда дерево скрипит протяжно, грубо — будто дверь открывается-закрывается. Но даже она молчала. Ветра нет. Взмахивал удилищем, крутил катушку, пока не заметил радужную подкову на воде, поднял глаза: над лесным холмом висело гало. Теперь, забросив блесну и наматывая леску на катушку, смотрел вверх. Не клевало.

Вдруг с протяжным скрипом отворилась дверь. А ветра нет. Я даже крутить перестал, прислушиваясь. Тихо. Блесна ушла на дно, вы-

тащил двустворчатую раковину — перловицу. Раньше в деревне дети жарили такие на костре и ели. Робинзон на Днепре жил бы припеваючи. Только остров трудно найти.

Вечерело, становилось все прохладнее. Нет, рыба предпочитала ходить темными глубинами, и я ее понимаю. Каждому свое.

Когда выбрался на верхнюю тропинку и покатил среди дубов и сосен, кроны озарились солнцем и над ними замелькали ласточки. Гляди-ка, не улетают. Значит, ждут тепла. Не знаю, можно ли им верить.

По дороге попадаешь в зоны различных запахов. На тропинке сосновая горечь, дубовая прель, на асфальте бензин, железо, у деревни, конечно, навоз, сено, в низине что-то еще, запах каких-то других меридианов и прошлых времен, все стремительно меняется, даже не успеваешь вспомнить, где это уже было и когда.

Возле рощицы лошадь, телега, мужик складывал ольховые стволы. Мой велосипед двигался бесшумно, мужик не слышал, а пегая лошадь с белой звездочкой смотрела на меня очень внимательно, вела большими темными глазами.

Холодно. Впереди город. Рюкзак пуст. Но, как писали в советском журнале «Охотничьи просторы» (сейчас — деловито и реалистично «Охотничье хозяйство»), Иван Иванович возвращался без добычи, усталый и счастливый. Правда, это чувство осенью довольно специфично. В нем полнота и печаль всего сущего. Дверь распахнута навстречу зиме.

Не кочегары мы, не плотники

Фолкнер, написав «Шум и ярость», устроился работать угольщиком на электростанцию, даже не кочегаром, а подвозчиком угля. Работал ночью.

А ты?

Не кочегары мы, не плотники… А…

Хармс сказал, кто такие мнящие себя писателями, точнее что.

Космологическая модель мира

Сразу после школы мы с товарищем уехали на Байкал. Лето быстро прошло, и вот мы проснулись на Северном кордоне, встали с дощатых нар, пошли умываться — море было рядом, наш бревенчатый сарай стоял у самой воды. Сели пить чай; закурили и улыбнулись, напомнили друг другу, что сегодня первое сентября! И это действительно был самый первый день без цветов и мегафонных приветствий. Байкал лежал нежно-дымчат, прохладен и спокоен. И ряд лиственниц на белом песчаном берегу кордона казался золотым росчерком... То есть сейчас кажется, из этой дали, когда лучше... лучше... Вот почему-то последняя фраза мешает разлету времени и пространства, мешает празднику. Но зато — все честно. Ведь не могли мы, сидя в сарае, хоть и с окном, видеть желтеющие лиственницы как тонкий росчерк. Нет, не могли. Пили плиточный грузинский чай с галетами и соленым маслом, сидя на нарах, и наверняка мололи вздор.

Ведь так все это и бывает. Золотой росчерк видишь лишь... Вот опять облом. Интонация умудренного жизнью старпера весь праздник ломает. И дался мне этот росчерк. Надо все переписать.

Первое сентября, Байкал, никаких росчерков и речей, только полное согласие с теорией безгранично расширяющейся вселенной: да, она расширяется.

Кое-что банальное о глазах

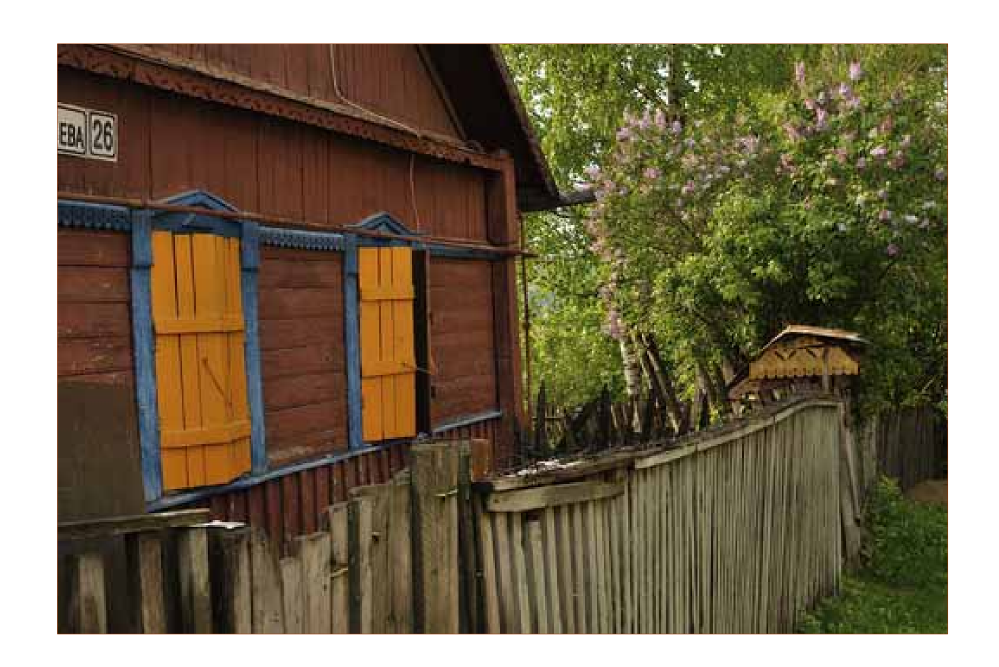
Сейчас достаточно беглого взгляда на окна, чтобы определить, где живут учителя: за стеклами пышные букеты в вазах.

Но в чужие окна особенно не посмотришь, — прослывешь вуайеристом. Хотя окна довольно интересная вещь, особенно окна, прорубленные в вечерний час лучом, — в глубине комнат что-то проступает, угол шкафа, картина, даже часы; редко книги.

Наши окна выходят на юго-восток, утром солнце до определенного момента освещает лишь одну комнату из-за угла общежития. Выходишь в коридор и видишь обе комнаты, одна сумеречная, другая солнечный аквариум. И это напоминает человека с разными глазами. Избитая метафора: глаза — окна.

Но метафора работает, когда бродишь по улочкам и горам смоленским: город следит за тобой, как Аргус многоглазый, всегда недоступный, странный, напоминающий Толедо Эль Греко, особенно

при взгляде от Днепра — вверх, на темно-красные руины стены, башни и дальние окна домов Георгиевской горы.



В глубинах глазниц города скрываются птицы, мелькают тени, что-то дрожит. У него старые глаза. Город это ловушка для времени, время здесь накапливается, как солнце в годичных кольцах деревьев, или прохлада в каменных подземельях, и никогда не привыкнуть к этому знобящему теплу. А значит, и скитаться по его улочкам не надоест.



...И все же глаза человека глубже.

Ключ зажигания

Скверное настроение не могли развеять ни свежая погода, ни городские пейзажи, ни купленная по дороге «Гаражная распродажа» Кизи (всем горожанам рекомендую книжную лавку с дешевыми книгами на Киселевском рынке). Но, усевшись на лавку на берегу Днепра, слева от стены в трещинах, я эту книгу и раскрыл, полистал. Экспериментальный роман-коллаж. Фотографии. Хемингуэй, Джоан Баэз, Фолкнер. Про Берроуза: «Раньше я говорил, что считаю Берроуза единственным писателем-новатором со времен Шекспира. Теперь я так не говорю, но по-прежнему так думаю». (И я не мог не согласиться. Берроуз истинно нов, всегда. Сколько раз я закрывал его книжку, потом через некоторое время натыкался на нее на полке и не мог вспомнить, о чем это. Открывал и читал наугад, убеждаясь: точно, новое.)

Про битлов у Кизи: какая-то женщина восклицала: «Благослови, Господь, битлов! Я как увидела “Желтую подводную лодку” после аборта, так и подумала: благослови, Господь, битлов!»

Ну и прочая ахинея.

Должен признаться, что эта раздолбайская книжка меня взбодрила, особенно этот пассаж: «...вот так молодой автор и обнаружил: он полезен не только тем, что изобрел оригинальную летающую машину и топливо, но и тем, что создал философию из ряда вон, и эта философия была ключом к зажиганию».

В чем дело? Да ни в чем. Просто приятно вдруг ощутить свою голову гаражом.

А ключи зажигания разбросаны по книгам.

Мелочи

В церкви на субботней службе малолюдно; молодых — три или четыре человека; остальные в основном женщины преклонного возраста; один ребенок.

Речитатив священника трудно понять. Можно, конечно, относиться к службе как к рок-концерту, где, главное музыка, драйв. Но хорошо поют только в больших соборах, как, например, в нашем Успенском. Собор — это история. Здесь подорвали себя смоляне во время польской осады семнадцатого века. И тем более странной и неуместной кажется здесь торговля иконками, крестиками, свечками.

Проблему торгующих в храме пытались решить; одно время продавали все в ларьке во дворе, потом снова стали продавать в помещении, и в конце концов отнесли магазинчик поглубже от входа, приспособив для этого какие-то комнаты.

Вроде бы, что проще? Нет, легче решить проблемы горнего мира.

В доме у друзей живет художник, он пишет иконы; довольно неприятный человек, любитель выпивки, громкой музыки. «И что же, нам креститься на эти иконы?» — говорят друзья.

Мелочи, конечно. Но для кого-то — камни преткновения на этой дороге...



Человек, превратившийся в бульдозер

Вот чем могут заканчиваться противостояния госмашины и человека: он создает свою машину.



История такова: цементный завод при поддержке местных властей наступал на мастерскую Марвина Химейера; и когда уже хозяину мастерской по ремонту глушителей некуда было деваться и нечем было дышать, он наварил броню на свой бульдозер, запасся противогазом, винтовкой, водой и едой, установил видеокамеры, чтобы видеть цель, опустил краном щиты на кабину, понимая, что поднять ее уже не сможет, и двинулся на притеснителей. Человек, превратившийся в бульдозер, разрушил завод (попутно и дома местной администрации, банк) так, что тот уже не был восстановлен. Когда бульдозер заглох, Марвин застрелился.

История свидетельствует о том, что, во-первых, одиночка вопреки Маяковскому не вздор и не ноль; во-вторых, наивно думать, будто на Западе все и впрямь демократично и благополучно, там могут толковать о правах дикой природы, спасать китов, менять проект дороги из-за раскидистого дуба, — и давить железной пятой человека, вся вина которого только в том, что он действительно чувствовал себя хозяином своего клочка земли.

Перрюшо, Бублик, яблоко

Только пройдя полгорода, от моей окраины до центра, я наконец-то поймал линию. Чувство линии возникло внезапно — и уже второй раз на том же месте: на площади Победы, при взгляде на фасад гостиницы, с обвалившейся штукатуркой, по-военному побитый и облезлый, — и дальше, на горбящуюся улицу, уходящую к облакам и вниз.

Туда же пошел и я.

Яблочный Спас. Август. Блаженное время. Правда, в этом году искаженное солнцем. Но уже похолодало, посыпались дожди.



Линия как-то странно мерцала, грозила прерваться.

На пути попался магазин «Книжный мир» — эти магазины дорогие, обычно в них и не заглядываю. Но сейчас вдруг свернул, подчиняясь наитию. И вышел с добычей: Анри Перрюшо, «Таможенник Руссо», и Амбруаз Воллар «Воспоминания торговца картинами» под одной обложкой, с иллюстрациями, уценка: 25 руб.

Приободрился.

Свернул у Соборной горы на кривую и узкую улочку Красный ручей, матово лоснящуюся булыжниками, древесную, деревенскую. Внизу, где улочка сливается с другой — Зеленый ручей — на калитке железная табличка: «Стой! Подумал? Заходи». И ниже рисунок собаки. Но за оградой было покойно и тихо. Может, хозяева шутят, кто знает. Хорошая надпись.

Травы везде у заборов выжженные солнцем. При взгляде на них мелькают мысли о временах давних, когда весь город был деревянным, и выгорали целые улицы. Из-за оград тянут шеи золотые шары, один попал в щель между досками, желтеет весело, как будто забор скалится фиксой.

Семинария с ведущей к ней бетонной, очень длинной и крутой «лестницей Иакова», крепостная стена, Авраамиев монастырь; возле него молодой отец фотографирует девочку с распущенными волосами и молодую, стройную маму. И вот здесь линия оставила меня. Или точнее я свернул с нее в какое-то другое пространство-время, понятное лишь мне. И кому-то еще.

Уже дома вспомнил, что за весь путь увидел только одно яблоко, оно лежало где-то на земле в пыли, едва прибитой дождем. А вот объявлений для кунсткамеры было два. Второе обнаружил на железной двери подъезда. Издалека увидел надпись крупными черными буквами: «Внимание!» — и решил, что опять воду отключают или газ или неизвестно что. Но, приблизившись, прочитал: «Пропал кот Бублик, окрас рыжий, глаза... телефон...»

Итоги дня таковы: Перрюшо, одно яблоко, два объявления и окончательный вывод о городских окраинах — они напрочь лишены линий, хотя здесь и встречаются коты с забавными именами.

Инопланетяне

«...перестаньте считать бережное обращение с землей чисто экономической проблемой. Рассматривая каждый вопрос, ищите не только то, что экономически выгодно, но и то, что хорошо этически и эстетически», — наткнулся на эту цитату из О. Леопольда, американского лесничего, и сразу представил лица епископа-подрядчика-исполнителя, премьера, президента, главные лица ломающих Химкинский лес.

И снова понял, что часто рядом с нами живут инопланетяне.

Оправдание пишущего

Борхес меланхолично замечает, что уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки.



Но действительно ли все написано? Наверное, каждый из пишущих убежден, что он-то пишет то, чего еще нет. И что же? Смерть, любовь?.. Беатриче сразу вспомнится, Лаура... Но вот у другого поэта имя возлюбленной Кристина, например. А может, и Лаура. Но у этой Лауры рязанские глаза. Все написано, кроме этих глаз. А другие глаза — другая песня. Нет еще в природе Лауры с рязанскими глазами. Да и сам Борхес в «Вавилонской библиотеке» говорит, что нет двух одинаковых книг в Библиотеке.

Кентавр

Прогулка не ладилась, хотя погода была свежая, воздух чист-свеж, облака, серый ясный свет, ветер. Постоял на мосту, посмотрел на речной трамвайчик, готовящийся к отплытию, раздумывая, не купить ли билет? ...Рыбак, стоящий почти по пояс в воде с удочкой, выловил рыбу, сверкнула, исчезла.

В магазинчике за рекой купил Йейтса, в автобусе раскрыл наугад, это был «Черный кентавр» по картине Эдмунда Дюлака. Начал читать.

У меня возникли какие-то ассоциации, черный кентавр двинулся по лабиринтам, как говорится, памяти, я — за ним. Но это уже слишком смутные и личные вещи. Мы туда не пойдем. А вот дома я решил пройтись по инету в поисках этой самой картины, по которой и было написано стихотворение.

«Я думал, что любое искусство должно быть кентавром, обретающим в фольклоре свою спину и сильные ноги».

Нашел рассуждения об этом стихотворении.

Оказывается, оно считается самым темным символическим стихотворением этого ирландского поэта. Я угадал!

А вот самой картины так и не обнаружил. Но и другие оказались яркими и причудливыми. Эдмунд Дюлак был знаменитым иллюстратором. И теперь мне кажется, что пока я ехал по улице Соболева и дальше по нашему Смоленску августовским вечером, что-то подобное вспыхивало — там, в лабиринтах листвы и трещинах крепостных башен, да и просто в подворотнях. И теперь уже этот день неотделим от Кентавра: Йейтса-Дюлака.

Один исторический сон



17 августа 1991 года поехал я на велосипеде в мою сокрытую местность. Думал дня три там провести. Сел обедать у железной дороги. Сходил на колодец, рядом деревня. Сварил суп, взялся за ложку. Тут на ветку еловую приземлился ястреб, держит в длинных лапах мышь. Взглянул на меня: глаза желтые, круглые, беспощадно ясные, — снялся и улетел. Я продолжил обед; поглядывал через огромное поле и болото на местность: там висели космы дождей. Что-то мне расхотелось туда лезть, и я повернул коня, зеленый велосипед. Спал дома. Утром сразу вспомнил сон. Весьма странный. Снились мне: Сахаров, отчетливое слово СМЕРТЬ и гигантский змей, питон из железа, с дегенеративной мордой: он двигался на город, по улицам разбегались люди. Привычка у меня была зарядку делать при включенном телевизоре, тогда еще он был в моем доме. Вот и включил я телевизор, не успел взмахнуть руками — и сел. Классическая музыка. Измученная внутренними борениями диктор. Понял сразу: переворот. Смешно, но, у меня на уме — афганская рукопись, сотни четыре исписанных с двух сторон страниц. Тогда-то совсем не до смеха было, понятно, что мести будут всех.

Позже увидел по телевизору компанию и мгновенно вспомнил моего ястреба: один из них точно был похож на хищную птицу, да и другой — на сову, а все вместе являли собой совсем не сказочного персонажа ГКЧП.

И теперь, увидев акции старых коммунистов, думаю, что это тоже – продолжение того исторического сна.

Сражение началось вчера за общежитием, сверкали мечи, грохотало; но дождь так и не пошел; зато с утра в город вошли облака и дождь все-таки брызнул. Пользуясь отменой солнечного комендантского часа, вышел из дому днем, заглянул в заветную книжную лавку, ничего там не нашел, но послушал разговор продавца и толстого дюмаобразного господина о поэтах; толстый очень хвалил армянских поэтов и грузинских, как я догадался, старых. Надо будет поискать. Дальше спустился по Большой Советской к собору, плавящемуся в бессолнечном, но все-таки жарком сизом небе. Сегодня день Одигитрии Смоленской, иконы много путешествовавшей: в давние времена — в Смоленск вместе с Мономахом, потом в Москву и обратно сквозь смутные времена, бородинские дымы и наконец вовсе исчезнувшей после освобождения города в 1943 году. Сейчас на ее месте список 17 века.



Очередь к иконе с крыльца, хотя в обычные дни подойти можно свободно. Собор реставрируется. Как и крепостная стена. Дороги асфальтируют. Смоляне готовятся к 1150-летию. Вот, думаешь, повез-

ло жить в тысячелетнем городе, узнавать в лице прохожего — старого жителя, современника Федора Коня, — есть такие выразительные лица; и лик самого града в трещинах и тенях всегда видеть, знать его даже когда ты далеко, ну, допустим, где-нибудь в Кизыл-Арвате. Август время наибольшей подлинности этого города. И, пожалуй, словами этого не объяснишь. Здесь нужны кисть и краски. Да, в красках есть молчание, а именно оно порой необходимо для объяснения.

Ни для кого

Свежесть и яркость августовских утр ни с чем не сравнится. Это божественный Ван Гог написал небо и солнце. Это вечный Моцарт придал всему бодрый дух.

Вчера, впрочем, было пасмурно, и под вечер я весь вымок. Вчерашний день подобен сну: я оказался в овраге, сидел на поваленном дереве, курил припасенную сигарету. Вдруг из травы вышел Коростель-Часовщик, вытягивал шею, озирался, я его мог схватить. И я почувствовал какую-то первобытную радость от встречи. Привет, Часовщик! На меня благосклонно воззрился черный зрак.

И после этого грибы чуть ли не сами прыгали в пластмассовое ведро. Крепкие молодые подосиновики, боровики. Рационалист, конечно, пытался охлаждать мой пыл. Но все найденные грибы я считал подарком Часовщика. Ну, по крайней мере, встреча с ним настроила меня на удачу. (Надо иметь в виду, что дело происходит после злосчастного дефолта, 24 августа 99 года.)

Я пришел в заброшенный сад: островок рослых яблонь в море бурьяна, желтые кляксы «золотых шаров». Заброшенные сады этих мест более всего бередят что-то давнее и уснувшее в душе. Заброшенные сады это среднерусские сфинксы... Но нет, они все-таки не молчат, здесь много птиц. И странно идти в древесных руинах, питаться плодами. Ты в тоске, но и очарован. Ты понимаешь, что время не призрак. Скорее ты сам призрачен. Немного побудешь здесь и исчезнешь. Как те, многие. И уже другой путник зайдет сюда, распугивая птиц и задирая голову: в кронах круглятся увесистые яблоки, желтовато-красные, зеленые, — ни для кого, сами по себе.

Привал устроил на краю поляны. Был виден мой лес. Но до него я уже не дойду: скоро поезд. Ведь приехал я случайно (собирался в другое место, где, по слухам, есть опята, но опоздал на поезд), приехал на день. Мне, конечно, хотелось остаться. Я попал в «края неменяющиеся», о которых писал Пруст. Здесь действительно ничего не меняется, в этой области, где небольшая крапчатая птица

вдруг оборачивается Часовщиком, где приближение к лесу равносильно приближению к истине — за которой распахивается бесконечность.



Бесконечность.

Но — пора.

Я вез домой грибы и яблоки, сливы и немного шиповника. Посматривал ревниво на полные ведра других грибников и невольно спрашивал себя: неужели и у них особые отношения с коростелями?

Ночью мне снились звуки ситара и четыре платановых листа.

И вот наступило это утро, воспоминания о вчерашнем дне нагнали меня, подхватили — и я снова там.



Настоящий мир

«И идея была в принципе такая, — читаю в “Разговорах с Иосифом Бродским” С. Волкова, — что, уходя на окраину, ты отдаляешься от всего на свете и выходишь в настоящий мир».



Но кажется, что все ближе, идешь по загазованной улице в поисках денег и вдруг срываешься в бесконечность и откуда-то оттуда, из немыслимых далей думаешь: они устроили общество, они живут по правилам, они страдают, ищут деньги, и когда просят об одолжении, прячут глаза, и это смешно... и т.д. Не так ли? Ведь в настоящем мире нет денег. И дефолт ему не грозит.

(*запись 99 года*)

Кошмар эмира

Жаль, что Москва не в Арабских Эмиратах, не было бы никаких проблем с лесами, торфяниками. Дороги можно прокладывать в любую сторону.

Хотя и там, наверное, нашелся бы какой-нибудь анахорет, дервиш, выступил бы за сохранение горы, где живут дикие пчелы, редкие змеи и гнездятся орлы. Но на Востоке с протестующими дервишами никогда не церемонились, с поэтов снимали кожу. Так что у заказчиков-подрядчиков не болела бы голова.

А тут — лес и толпа протестующих дервишей. Кошмар эмира.

И он, наверное, спит и видит: вокруг Кремля лежат барханы. Да и Кремль уже шатер. Входит везирь с докладом.

Кошка



Мучаем мы животных, очеловечивая их, таская по лечебницам. Ведь кошка не знает смерти. Это у нас глаза страха велики перед смертью. Вчера я свозил нашу Лиску (черепаховая персидская, 15 лет) в лечебницу, сделали ей третью за последний год операцию. Зачем? Не знаю. «В сумке не надо нести, на руках лучше», — посове-

товал доктор. Его студентка смущенно не принимала скромный гонорар на конфеты. Кстати, и вот тоже удивительно: как они здесь работают? Всякая работа находит своего исполнителя. Когда еще студентка зашпиливала на Лиске попону булавками, на соседнем столе уже подвергали экзекуции белого кота, у него непроходимость мочи, вставили катетер, кровавая жижа брызнула, расписала халат второго доктора, кот взвывал. «Чем кормите?» «Ливеркой, но две недели примерно сухим кормом». «А морской рыбой?» «Ну да, наверное». «Его надо кастрировать». И т. д. А кошку надо стерилизовать, чтоб не изводила хозяев и соседей весенним ором, а собаке подрубить уши, хвост.

Придя в себя дома, Лиска забилась под ванну, не достать, а ей надо делать уколы. Но на уговоры она не реагировала. Идите вы к черту...

...Утром вышла, покачиваясь, жива. Стала есть йогурт из ложки. Запела тихо.

Вот опять — старая история.

Косолапый

Все это странно. И напоминает какую-то русскую народную глючную сказку. Вот про медведя, которому отрубили лапу, и он идет мстить. Только тут-то никто ему ничего не рубил, чего он кобенится? Зачем, за что мстить старику и бабе? Эй! Не рубили тебе еще лапу! Ни голову. Что же ты делаешь?

Стальной медведь прокладывает путь через мозг. Эта рубка[1] больше напоминает хирургическую операцию. Трепанация черепа бензопилами и лоботомия с помощью бульдозеров. Медвежья ярость этой операции озадачивает. Дело здесь уже явно не в деньгах. В организме хищника началась необратимая химическая реакция. Он ослеплен и отравлен. Надо во что бы то ни стало поставить на карачки лесной народ. Забодать его до смерти, чтоб не повадно было. Посадить его в инвалидное кресло-каталку. Подарить плевательницу для крови. Научить всегда бояться и лизать хлыст.

[1] Речь о Химкинском лесе.

День Баха

В пору первых дисков и исчезающих компакт-кассет я пришел в офис товарища, чтобы записать Баха.



Помещение под офис он снимал на заводе, где до этого прилежно трудился специалистом по ремонту станков с программным управлением. Окна комнаты выходили в цех. Женька продемонстрировал три диска и сказал, что здесь весь Бах, двое суток музыки. И, настроив записывающую аппаратуру, удалился по делам, а я остался – до вечера. На двое суток Баха у меня не было кассет. На одну кассету можно было записать минут шестьдесят музыки. Сорок кассет стоили не дешево. Надо было выбирать. До этого я уже слышал «Бранденбургские концерты», с них и начал.

Запись осуществлялась каким-то сложным образом – через компьютер, CD-проигрыватель и на мой магнитофон. Перед монитором

компьютера мне еще не приходилось сидеть. Женька показал, как надо манипулировать «мышкой», щелкать по значкам. Курсор у меня плавал, как будто систему поразила тьма вирусов (что это такое, я хорошо узнал позже). Казалось, руку придавливает груз. Так что компьютер пришлось осваивать под скрипки и флейты Баха. Музыку надо было слушать громко, потому что за стеклом пыхтел и ворчал гигантский цех. «Бранденбургские концерты», сюиты звучали диссонансом. Мир концертов патриархален. Так и видишь средневековые картинки в духе «Нарцисса и Гольдмунда». Да особенно и воображать не приходилось: вместе с музыкой на экране появлялись картины известных живописцев: Ян ван Эйк, Брейгель, Эль Греко. Возникновение картин из ничего, из серой мерцающей пустоты – завораживало. Соединение молчащей живописи и музыки производило сильный эффект. Краски мастеров, похожие на язычки темного пламени, говорили. И грохочущий цех с машинами-монстрами и фигурками людей усиливал это странное чувство нереальности. В конце концов, когда раздались раскаты органа из следующего диска, цех за стеклом неожиданно зазвучал почти в унисон. А картинки на мониторе приобрели какой-то космический смысл. По крайней мере, уже представлялось, что они являются прямо из космического пространства, из того же источника, что и музыка. Дальше – больше. Я слушал и записывал целый день, без еды и питья, и в один из моментов подумал, что именно эти агрегаты за стеклом и производят музыку. Вот хотя бы знаменитая токката и фуга BWV 565 — деятельная, энергичная. Ее можно было вывести прямо в цех, чтобы слились изображение и звук.

Хотя вряд ли самим «исполнителям» в синих и черных спецовках она понравилась бы. Тем более – кантаты и оратории. Или «Страсти по Матфею».

...К вечеру мои жилы звенели, как струны из «Хорошо темперированного клавира», в животе зияла пустота, в ушах звучали басы и сопрано, а космические картинки вспыхивали и перед закрытыми глазами. Еще немного, казалось мне, и начнется самое интересное.

Но вернулся Женька. Весело удивился, что до сих пор я слушаю Баха, а не рок-н-ролл «Нашего радио». Я только начинал свое путешествие в мирах классической музыки. И Бах был одной из первых стоянок, как это называют восточные созерцатели. Кстати, уж, коли речь зашла о Востоке. Позже, наталкиваясь в текстах на «день Брахмы», длящийся миллионы лет, я вспоминал этот день на заводе и мне легко было представить фантастическую прорву пространства и времени. Да и завод где-то там исчез, не выдержав конкуренции и бурь новой эпохи. Но когда я слышу токкату и фугу BWV 565, мне представляется гигантский цех и снующие люди в синих и черных спецовках. И день Баха продолжается.

Вкус пыли

«Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу оставил почти равнодушным; и дело не в скучноватости, она-то и хороша, такая тягучая повседневность войны, изнуряющая, жаркая; но вот герои «не заражают» по Льву нашему Николаевичу Толстому. И только под конец, когда главный герой толкует с черным напарником и тот вдруг говорит, что еще не готов к смерти, — по-настоящему становится интересно. Не готов к смерти? А производил впечатление крутого парня и т.д. Но так и должно быть: дембель на носу. И, конечно, финальная сцена: дембельнувшись и поторчав на гражданке, сапер возвращается, — попадает точно в «яблочко». Возвращается, даже если и все сидит где-нибудь в баре Нью-Йорка.

Вежливый мистер Word

Забавные варианты предлагает Word, когда пишешь. Вместо «Белкинский лес» — «Белинский». Вместо «бормаш» (рачок-бокоплав, на которого на Байкале ловят рыбу) — «Борман». Или вот один из героев разражался потоком ругательств: «Шайтан! Собачья парша!» и т.д. На все это Word никак не отреагировал. Но когда наткнулся на слово «сперва» — посоветовал не допускать просторечий.

Не смогли

Аттар рассказывает, что шейх Исхак читал проповедь и один его слушатель подумал, что шейх-то не очень сведущ, но ему почему-то внимают. И шейх, угадав его мысли, сказал, что однажды зароптала вода в стеклянном светильнике на масло, которое плавало сверху, питая фитиль, мол, она ценнее, исцеляет от жажды, а находится внизу, — на что ей масло отвечало: меня бросали в землю, срезали, давили прессом и сейчас предали мучениям — гореть.

Человек тот устыдился и упал в ноги шейху.



Мне тоже довелось познакомиться с подобным человеком, это был настоятель сельского храма под Смоленском, в речах своих — темный, бывший шофер, уверовавший после излечения странным образом: ему приснился священник в желтом, велевший идти в церковь, бедняга утром пошел — и так началось его служение. В нем было нечто необъяснимое, то, что приковывало к себе и говорило: это человек необычный. Но мы, трое хмельных ранних посетителей, так и не согнули вый перед ним.



«Отсюда наши трудности», — сказал мне на это товарищ.
Надо было читать Аттара раньше, подумал я.
Но, конечно, нет... мы бы не смогли.

Провал

«Электропрохладительный кислотный тест» Т. Вулфа отлично написан, чтение напряженно-захватывающее. Это опыт поколения, живущего после «смерти Бога» и двух мировых боен, — и вы хотели, чтобы они вели себя по-другому? более прилично? менее разрушительно? Здесь отчаяние. Проповедники, книги, храмы, — нет спасения, все оборачивается разочарованием и тоской. Это еще одна попытка — теперь уже просто опереться на себя, открыть нечто в себе химическим ключом.

Чем она заканчивается?

Разумеется, провалом.

Сон в руку

Вот интересно: на перекрестке улиц в нашем сравнительно новом микрорайоне, на пустыре в моих — еще советских — снах часто белели цветущие деревья, а над ними низко горели диковинные созвездия.



И в начале этого века там построили церковь: стены белые, на голубых куполах золотятся звезды.

Пустырь

Несколько лет у меня не было велосипеда, сейчас вот купил и разъезжаю по окрестностям после обеда, если не так жарко, ловлю рыбу на Днепре, но это так, попутно, главное — успеть насытиться летом. С кружной дороги сворачиваю на старые проселки, т. е., те, на которых бывал несколько лет назад. Один из них: мимо песчаного карьера, мимо сельского кладбища на окраине леса, — и дальше через сырой, сумрачный лес на холм. Этот холм несколько лет назад облюбовали — ну, новые русские или кто-то еще, не знаю, но

люди обеспеченные, развернули строительство коттеджей. Хотя там были дачники и победнее. Шесть примерно домов возвели, начали разбивать огороды... И как-то приостановились. Полностью достроили два дома. В одном всегда кто-то был; на лужайке ярчел большой детский мяч, лохматая собака бегала вдоль ограды; иногда серебрилась у ворот иномарка. Во втором доме люди бывали очень редко. А я все это видел, ездил туда — и дальше на Днепр — каждый день, здоровее был, даже по утрам до всех дел успевал съездить и вернуться. В середине лета второй дом наглухо затворил окна железными ставнями. И только крайний дом — у леса — жил. Там краснели и белели какие-то цветы. И место невесело смотрело отовсюду на этот дом. Что-то здесь было странное. Высоко, хорошо, видны далекие холмы, рощи, какие-то игрушечные деревеньки, вдруг блеснет что-то маяком — лобовое стекло автомобиля со спичечный коробок, съезжающего с холма по белой ленте дороги. А здесь ощущалось какое-то напряжение... Я озирался на деревья, травы, цветы. Необъяснимая печаль во всем.

...И вот снова поехал туда. Все исчезло. Сияют травы под беспощадным солнцем. Пустырь. И это слово наполнилось каким-то новым смыслом. У географов есть такое понятие — давление местности. Это и произошло на моих глазах. Место вытеснило людей.

Недоумение

Лосев в комментариях к Диогену Лаэртскому (месяц назад купил в букинистической лавке) говорит о внутреннем божественном голосе — «демонии» — что это был голос воспрещающий. Любопытно. Именно воспрещающий. И ведь правда, чаще жалеешь о сказанном, сделанном, чем о молчании и недеянии.

Правда, помнится, этот же голос велел Сократу заняться музыкой. Или это тоже было дано в форме воспрещения? Мол, запрещаю тебе, Сократ, не заниматься музыкой.

Заметил, что у всякого более или менее значительного дела тоже появляется водитель, например, у книги. Но этот водитель не запрещает, а подталкивает к различным поступкам. Часто абсурдным. Но потом выясняется, что именно это и необходимо было.

Остается только научиться понимать это двухголосие.

Исчезновение

Мы медленно исчезали; процессом кто-то руководил; и вот — всё, тела наши буквально растаяли. Но остались небольшие костяные футлярчики вроде тех, где хранят перстни, — и они были наполнены странным зеленоватым, синим призрачным светом; свет одних был очень сильный, других слабее; «я» поднялся в воздух, можно было летать, но свет — и так-то неяркий — постепенно иссякал, пока не остались еле заметные зеленоватые искорки.



Дураки и болота

Увидел сообщение о том, что теперь собираются обводнять торфяники. Сначала их с большим энтузиазмом осушали. Мне пришлось писать про акцию мелиораторов в 84 году, когда я работал в молодежной газете: для прокладки дренажных труб они срубили аллею берез, посаженных в годы войны и сразу после войны на месте захоронений вдоль Старой смоленской дороги погибших из разбомбленного вблизи Гжатска госпиталя. Жители, которые и сажали эти деревья и хоронили погибших, пытались протестовать, обращались к председателю колхоза, но тот не обратил внимания. Напомню, на дворе стоял 84 год.

И вот, как говорится, прошли годы...

Ударила жара по темечку. Ага, оказывается, торфяники не столько кладовка солнца, сколько губка H2O.

Ну, что ж, лучше поздно, чем рано. У нас это так. Но! Следите за руками: одна будет восстанавливать болота, а другая — заметили? — крошит реликтовый лес.

Голоден и счастлив

Над разлившимся Днепром светлая зелень берез. В воде на луговине хорошо видны пучки щавеля, собираю его в пакет. Рыба не клюет. Налетает ветер с дождем. Над склоном, поросшим орешником и осинником, парит аист. Аист и движущийся Днепр, с неба свисают бороды дождливые.



Трудно расставаться с иллюзиями и не одухотворять природу, вот этот образ птицы, реки, дождя. Граница между мной и миром зыбкая, проницаемая, и это порождает иллюзии. Мир парит среди дождя в виде аиста, смотрит, видит меня и думает. На самом-то деле — нет, только я, беспечный рыбак, и переживаю наш мучительный разлад. Миру-то все равно, голоден ли я, счастлив ли.

А я голоден. И счастлив.

Осень в Смоленске

Последние новости: город накрыли дожди, похолодало и как-то враз деревья накинули желтые плащи, но ветр их немилосердно треплет, рвет, и в пасмурном воздухе уже отовсюду торчат голые сучья... Почему-то под коркой зазвучал Пушкин: «Что делать нам в деревне? Я встречаю...» Но у него речь о зиме. Да и город наш не деревня, хотя на укромной улочке Красный ручей можно встретить небольшое стадо коз в репейниках.



Ну так вот, осень, и от чая я не отказываюсь, сам себе его завариваю и подношу. И читаю все-таки не Пушкина, а Йейтса. Он поэт этой осени в Смоленске. Почти каждое его стихотворение вызывает ассоциации, будит мысль и потом курится прозрачным дымком, — три признака, по которым я распознаю, настоящее (для себя).

ПЛАЩ. *Я сшил из песен плащ. / Узорами украсил / Из древних саг и басен / От плеч до пят. / Но дураки украли / И красоваться стали / На зависть остальным. / Оставь им эти песни, / О Муза! Интересней / Ходить нагим.*

Одно из стихотворений этого сборника, купленного в магазинчике за Днепром.



Вначале я подумал, что какое-то не осеннее стихотворение-то. Но заметил перекличку и решил оставить, правда, рискуя показаться тем самым дураком. Но плащ Йейтса только сумасшедший на себя примерит. По крайней мере в наше время, не знаю, как обстояли дела раньше.





У города свой плащ, ржавая дерюга, серая ольха, зеленые заплатки, речные чайки на плечах, черный уголь. Дома по оврагам топятся дровами и углем... И скоро дерюгу город скинет, обнажится вся мощь и немощь этого тела. Да и сейчас понятно, что Смоленск — город 17-19 веков. Двадцатый не оставил здесь ничего, кроме своих коробок, бетонных столбов и памятников, не многим отличающихся от столбов, безымянных мостов...

...Здесь моя мысль ускользает по столбовой дороге — по Днепру. Пока писал это, успел прочитать еще одну вещь Йейтса — «Плавание в Византию». Да это уже другая песня.



...Но уже прошла ночь, и выглянуло солнце, а осеннее солнце — гениальный архитектор. И город предстал во всей вневременной сути.

Ну, может, и не во всей, но его линии восходят к этому.

Хемингуэй родился

Сегодня-то день рождения Хемингуэя. После армии открыл его. И хорошо, что не раньше. Это было то, что надо.

Однажды мне он приснился: в заброшенном пункте ГАИ сидел у окна, тут же был черный слуга. Я собирался узнать, понравилась ли ему рыбалка на Днепре, но так и не помню, спросил ли и что он ответил. С тех пор, приближаясь к этому пункту ГАИ (действительно заброшенному) на кружной дороге под автомобильным мостом, всегда вспоминаю тот «случай». Неизгладимое впечатление оставили его военные и поствоенные вещи, рассказы. «Праздник, который...» И до Парижа было ясно, что так все и есть: кафе, платаны, запах вина на улицах. «Ротонда» на перекрестке и как бы на выпуклости, откуда хорошо видно во все стороны, и вкус душистого коньяка. Это, конечно, его город. Город имени Э. Хемингуэя.

Потом магия его прозы ослабела. Осталась лишь поэма «Старик и море».

Но не так давно вдруг взялся полистать «Фиесту» — и запоем перечитал, удивляясь непреходящей бодрости и свежести.

Прошлое уже немыслимо без него. Значит, и будущее.

Против уныния

Осень, начавшаяся под знаком поэзии странного ирландца, анахорета из средневековой башни, мифотворца и идеалиста, продолжается. В сумерках особенно бодрят вот эти ясные и крепкие строфы, напомнившие мне еще одну светлую вещь — повесть Гессе «Последнее лето Клингзора», хотя там все заканчивается и вовсе не весело. Но улыбка, смех, о которых говорил Гессе в другой книге — в «Степном волке» — роднит эти вещи и помогает здесь и сейчас не унывать.



ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ

Гарри Клифтону

Я слышал, нервные дамы злятся,
Что, мол, поэты — странный народ:
Непонятно, с чего они веселятся,
Когда всем понятно, в какой мы год
Живем и чем в атмосфере пахнет;
От бомбардировок смех не спасет;

Дождутся они — налетит, бабахнет
И все на кирпичики разнесет.

Каждый играет свою трагедию:
Вот Гамлет с книгой, с посохом Лир,
Это — Офелия, а это Корделия,
И пусть к развязке движется мир
И звездный занавес готов опуститься —
Но если их роль важна и видна,
Они не станут хныкать и суетиться,
Но доиграют достойно финал.
Гамлет и Лир — веселые люди,
Потому что смех сильнее, чем страх;
Они знают, что хуже уже не будет,
Пусть гаснет свет, и гроза впотьмах
Полыхает, и буря с безумным воем
Налетает, чтоб сокрушить помост,—
Переиродить Ирода не дано им,
Ибо это — трагедия в полный рост.
Приплыли морем, пришли пешком,
На верблюдах приехали и на ослах
Древние цивилизации, огнем и мечом
Истребленные, обращенные в прах,
Из статуй, что Каллимах воздвиг,
До нас не дошло ни одной, а грек
Смотрел на мраморные складки туник
И чувствовал ветер морской и бег.
Его светильника бронзовый ствол
И года не простояв, был разбит.
Все гибнет — творенье и мастерство,
Но мастер весел, пока творит.

Гляжу на резную ляпис-лазурь:
Два старца к вершине на полпути;
Слуга карабкается внизу,
Над ними — тощая цапля летит.
Слуга несет флягу с вином
И лютню китайскую на ремне.
Каждое на камне пятно,
Каждая трещина на крутизне
Мне кажутся пропастью или лавиной
Готовой со скал обрушить снег, —
Хотя обязательно веточка сливы
Украшает домик, где ждет их ночлег.
Они взбираются все выше и выше,
И вот наконец осилен путь

И можно с вершины горы, как с крыши,
Всю сцену трагическую оглянуть.
Чуткие пальцы трогают струны,
Печальных требует слух утех.
Но в сетке морщин глаза их юны,
В зрачках их древних мерцает смех.

(*перевод Г. Кружкова*)

В ноябре

Товарищ отправился по делам в Москву, я с ним доехал до Гагарина, вышел. В потемках полез по железнодорожному мосту, сыро, раннее ноябрьское утро, ни один фонарь не освещает раздолбанных ступенек; наткнулся на сооружение из труб: ремонт. Протиснулся дальше. Тут же на мосту спал сидя возле клетчатых баулов какой-то странник с налипшей на башмаки глиной, — даже в темноте было видно, глина светлая. Спустился, направился дальше к церкви с ведром и лопатой, там горел единственный фонарь. Белели стены среди черных древесных стволов. Прошел мимо оградок, отыскал могилы тестя и тещи, надо было их подправить. Сухие черные травы были выше меня. Никак не получалось сюда поехать… Или все-таки не так уж и хотелось. Да и были надежды на москвичей, каждую субботу приезжающих сюда, в деревню, — электричка останавливается рядом.

Стало ясно, что без рукавиц не обойтись. А где взять?

Со стороны железнодорожного моста вдруг донесся дикий вопль. Повторился. Стонущий, мучительный, злобный. А, тот странник, видимо, очнулся, обнаружил себя на каком-то мосту в измороси, с разламывающейся башкой — или что там у него разваливалось, ныло, саднило… «Ааа, ррры-оо!» — снова в ярости завопил он.

Над кладбищем деревья строго молчали, клонили осенние ветви.

Зашел в железнодорожную будку, дежурный в оранжевой безрукавке в ответ на мою просьбу протянул брезентовые рукавицы в мазуте, от денег отказался, но я оставил на тумбочке, мол, ладно, просто помяни.

В разгар работы — я таскал песок — появилась смотрительница из дома, стоящего рядом с церковью, в теплом старомодном платке, в допотопном пальто. Она была немного не в себе, я ее видел раньше, на похоронах. Она стала рассуждать о нижней перекладине креста, мол, ее не должно быть, только средняя и верхняя вместо таб-

лички, на коей были слова: Царь Иудейский... и т. д. Я помалкивал. Поговорив, женщина ушла, пообещала помянуть на службе усопших. Уже совсем развиднелось. Павел Петрович вопрошающе взирал с круглого портрета. Моросило. Нежно позванивали снегири. Я вспоминал наши прения за чаем в деревне, где он учительствовал. Таких собеседников у меня уже больше не будет. Каждый человек — это беседа. С его уходом и беседа прекращается. Но некоторые беседы, безвозвратно закончившиеся, томят тебя долго, наверное, всю жизнь. И все-таки продолжаются?.. Нет, это уже монологи. Как вот и этот. Монологи, сны, обрывки прошлого, — наши мертвецы с нами.



Прибегали пугливые собаки, искали чем-нибудь разжиться.

Все сделал, купил в ларьке сока, напился, положил лопату на плечо, — ведро сначала на нее и повесил, но потом взял в руку, — пошел по Старой смоленской дороге, здесь она проходила у тогдашнего Гжатска. В лесу по обеим сторонам стояла вода. Дошагал до памятника в поле среди черноствольных лип: солдата со склоненным знаменем. Здесь поблизости разбомбили госпиталь. Бабы хоронили людей, а над каждой могилой сажали березу. В черненковские годы пришли мелиораторы и попилили березы. С одной женщиной, сажавшей эти березы, я разговаривал в ее доме. У нее с этой дорогой связана удивительная история, приключившаяся после войны. Осталась она одна, муж погиб, в хате дети, есть нечего. И вот взяла она из-под курицы сколько-то яиц, в узел завязала и пошла в город, решила обменять на хлеб. Шла еле-еле, на середине дороги присела

на обочину отдохнуть — и приснула. Глаза открыла и сразу почувствовала — чем-то пахнет, свежим чем-то. Поднялась, смотрит: в траве рядом лежат две рыбы.

А там рядом речка Малая Гжать. И ручей еще ближе, камыши, мосток. Перед ним она и спала.

Я не решился уточнять детали.

Жила она в деревне Костивцы, откуда родом и моя жена. Которая, кстати, родилась прямо здесь, на этой же дороге.

Люблю эти места, даже поздним ноябрем в них есть особенная плавность, в линиях полей, в черноте лип. Хотя и печаль. Но печаль неизбежна.

Харон

Со Старой смоленской дороги перешел я на трассу Москва-Минск, возле кафе мы условились с товарищем о встрече, он должен был вечером ехать назад из Москвы. Прислонил лопату к стенке дома, поставил ведро, купил котлету с хлебом, что-то еще, горячий кофе, стоял за столиком на улице, ел, поглядывал на мчащиеся мощно грузовики и легковушки — мчащиеся на смертельной скорости. Мимо прошел детина в толстой кожанке, в ушанке со звездочкой, усатый, седой. Что-то знакомое почудилось в нем. Идет обратно. П. Б.! Обнялись. Когда-то — двадцать лет примерно назад — он здесь учительствовал, приходил к тестю, директору школы, так мы и познакомились. Историк. А сейчас на трассе торгует рыбой: вяленой, копченой, соленой, — здесь, возле заправки и кафе с десяток этих рыбных палаток, самостийных: деревянный каркас, обтянутый целлофаном, брезентом. Он только торгует, а хозяин занимается всем остальным: закупает рыбу, коптит и т.д. Работает по 12 часов. Заработок? Когда как. Бывает, 20 рэ, а в другой день — 500. Покупают и иностранцы. Вообще странные люди. В магазинах та же рыба, только чище, не висит днями на солнце и ветру, в парах бензина. Но имто, видно, кажется, что тут какая-то особая рыба, свежак — где-то вот за этими лесами, в каких-то озерах и выловленная, и сами продавцы похожи на рыбаков и рыбачек: обветренные, в толстых одеждах, с деревенскими грубыми лицами. (Одна рыбачка, поддатая, синеглазая, краснощекая все хотела угостить меня водочкой; я хоть и продрог, но угощаться не стал.)

П. Б. рассказывал о себе.

Вообще он одержим с юности. Ищет прах солдат Великой Отечественной. Сообщает родным. Профессионал, — его приглашают в различные регионы, был он на юге, в степях, жил в палатке, полу-

чал 300 рублей в день. Я поглядывал внимательно на П.Б. Спокоен, пристальный взгляд; половины передних верхних зубов нет; крепок, высок. Ему лет сорок с лишним. Тоже взял кофе. И мы пили, разговаривали под рев и шуршание железной реки. П. Б. признался, что когда начинаешь копать, уже зная, что это захоронение, тебя бьет дрожь. Сильная.

Фары подъехавшего авто высветили его профиль, рубиновую солдатскую звездочку на шапке. Это подрулил мой товарищ. Мы распрощались, обменявшись приветами для домочадцев.



Потом я все вспоминал его. Думал, что же это он так волнуется, когда копает? Страх прикосновения к смерти? Чувство святотатства? Ведь многие фронтовики протестуют против поисков. Что вообще заставляет его этим заниматься? Долг перед памятью, как об этом говорят и пишут?

В книжке, которая была тогда у меня на столе, прочитал: «Обычной двигательной силой человеческой деятельности является непреодолимое желание достичь пункта, максимально удаленного от похоронной сферы (яркими отличиями которой являются гниль, грязь, скверна): только благодаря непрекращающимся усилиям с нашей стороны нам удается уничтожить повсюду следы, знаки и символы смерти» (Жорж Батай. Литература и зло.)

Ну, вот. И сам я долго собирался на могилы гагаринские, все откладывал. А вот П. Б. — ведь загадка. И рубиновая звездочка на его шапке горит именно как знак смерти, след праха, будто знак египетского жреца, служителя некрополя в Долине мертвых.



И так-то человека нелегко разгадать. А когда он приближает еще к себе смерть, то и вовсе становится тайной за семью печатями. Да, вот его глаза и были совершенно непроницаемы, большие, выпуклые, серо-карие.

Пепел, огонь и вода

Еще одна история о суфии из книги Аттара — о Хири, которому на голову из окна высыпали корзину пепла, а он обрадовался, что это был не огонь, коего он, грешный, только и достоин.

...Несколько лет назад шел я мимо дома и был ошарашен разорвавшимся в двух шагах пакетом с водой. Взялся вычислять шутника. И вычислил. Голова мальчишки появилась из-за перил балкона. Поднялся в эту квартиру и у открывшей заспанной мамаши потребовал надрать уши своему сыночку.

Боюсь, что за эти годы ни капли не поумнел, и поступил бы так же и сегодня.

А это была – только вода.

Гонорар

После обеда рукопись в сторону и уезжаю на Днепр. Через овраг, на кружную дорогу, с нее вниз по откосу в пластиковых бутылках и высохшей от такого буйного солнца траве, и сразу тихо и тенисто: лес. Растут там сосны, дубы, клены и ели. Тропинка хвойная, перевитая корнями. Заезжаю подальше от моста. Но, правда, приближаюсь к другому — железнодорожному. Этот участок реки между двумя мостами. И вот берег Скрипящих Дверей. Две старые осины трутся. Иногда кажется — говорят мужики. А то вдруг вступает баба. Дверь открывается... Закрывается. Ходят. А я ловлю рыбу. Позавчера у самого берега взяла щучка, думал, сорвется, берег обрывистый,



пришлось лезть вверх, оскальзываясь, путаясь в осоке и крапиве, а она плясала в воздухе, сверкая золотой блесной. Нет, не ушла. Завернул ее в крапиву трясущимися руками, это уж обычная лихорадка. И, конечно, давай снова блеснить. Но тщетно. Залез в воду, сгоняя фиолетовых стрекоз с желтых кувшинок, доплыл до середины, увидел мост, над ним облако...

Щучка потянула на килограмм. Вчера приостановился у рыбной лавки смотрю: щука, цена — 110 р.

Кино

С опозданием в семь лет посмотрели «Идиота» Бортко. Необыкновенная игра Евг. Миронова, разумеется, и другие хороши. Но электрический Миронов заставляет зрителя то смеяться судорожно, то глотать слезы. Его внутренние монологи хочется слушать. Такие же интересные были только у Штирлица.

Все мучили князя.

Настасья Филипповна — коварная жизнь.

Здесь взята высокая нота. Но христианство и не должно звучать с миром в унисон.



Глазами рыбы

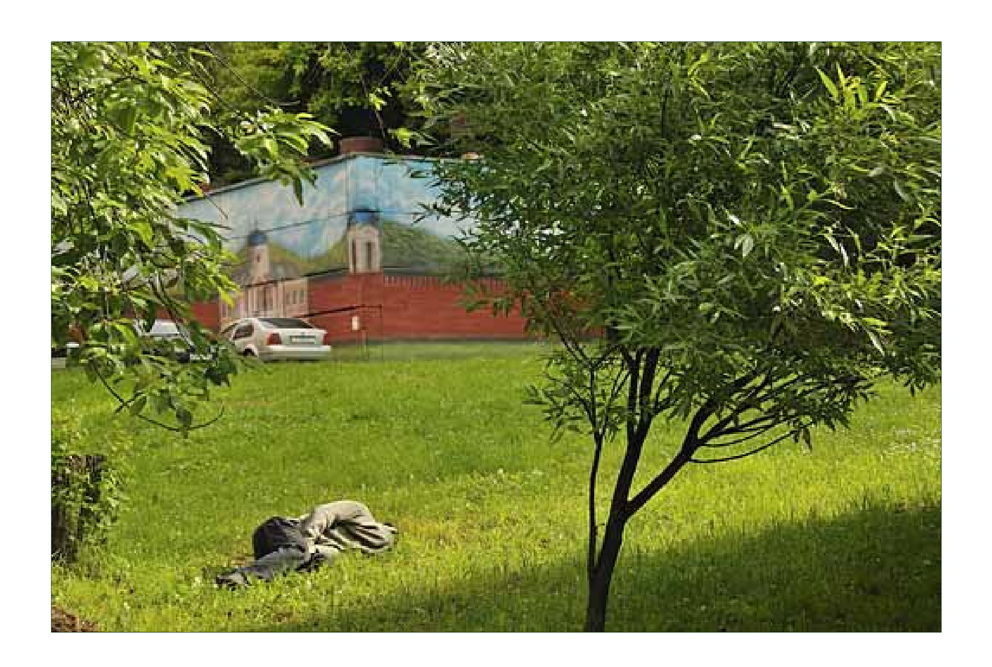
Аттар рассказывает в одном труде о многих суфийских подвижниках, среди которых была и женщина Рабийя. С ней связана одна из лучших историй. Во время собрания к ней обратился некий тщеславный Хасан и предложил ей пойти по воде на остров и там продолжить беседу. Рабийя возразила: а почему бы нам не предпочесть беседу в воздухе? Этого Хасан еще не умел — и таким образом был посрамлен.

И вот что ему сказала эта женщина: Хасан, ты можешь передвигаться в воде как рыба, летать как муха, но в этом ли чудо? По-моему, повседневность выше, а настоящее чудо — чудо смирения и покорности.

Смею от себя добавить: не знаю, как насчет покорности, и не научился, увы, подлинному смирению за полсотни лет; но то, что с точки зрения рыбы или мухи мир слова Божественное чудо — это аксиома любви.

Магический реализм греков

Учиться магическому реализму у Диогена Лаэртского: «Эпименид... был сыном Фестия...; родом он был критянин из Кносса, хотя с виду и не похож на критянина из-за свисающих волос.



Однажды отец послал его в поле за пропавшей овцой. Когда наступил полдень, он свернул с дороги, прилег в роще и проспал там пятьдесят семь лет. Проснувшись, он опять пустился за овцой в уверенности, что спал совсем недолго, но, не обнаружив ее, пришел в усадьбу и тут увидел, что все переменилось и хозяин здесь новый. Ничего не понимая, он пошел обратно в город; но когда он хотел войти в свой собственный дом, к нему вышли люди и стали спрашивать, кто он такой».

Лиска

Удивительно, сколь прочны связи живого.

Персидской кошке нашей Лиске — палевой, с желтым треугольником на морде — сделали операцию и сказали, что больше мучить ее ни к чему. Прошло почти три месяца. И вот она перестала есть, стала спотыкаться. Утром мяукнула, приветствуя нас. А через два часа я глянул под диван, где она спала в своей обычной позе. Позвал. Дотронулся до головы — деревянная.

Что-то заставило меня оторваться от компа и пойти в другую комнату и посмотреть на нее. И снилась мне в ночь перед этим выпавшая пломба, дупло в зубе. Банальный сон для таких случаев, я о нем не раз слышал. Но обычно дело касалось людей.

Сейчас ощутимо ее отсутствие. В магазине по привычке хочешь купить йогурт и т.д. Приходишь домой — и не слышишь ее почти беззвучной поступи. Она любила спать на книгах, голову клала на томики стихов и прочие творения, мы ждали, что однажды заговорит стихами, ну, что-нибудь промяукает. Я к кошкам всегда был равнодушен. А к этой привык как-то. Хотя приходилось и воевать с ней, она мастерски ласточек ловила; ну и пусть бы себе — охотница. Но человек вечный мичуринец-павлов. И ражий детина гонялся за ней, вырывая из пасти законную добычу, отбивая птиц чем придется. Однажды это был «Бестиарий» Кузнецова, книга, подписанная автором. Любопытно, что там предлагалось полетать, — и вот я читаю об этом, а в комнату врывается ласточка и кружит вокруг люстры. Синхронность в духе Юнга. Лиска тут же отреагировала на ее призыв и взвилась в пируэте. Но получила по башке «Бестиарием» и выпустила птицу. В одном из рассказов, кстати, там тоже речь о кошке, о коте, исчезнувшем из дома, возможно, превратившемся в храмового кота, а может даже в льва египетской пустыни.

...Хотелось бы и мне подумать что-то в этом духе о нашей кошке, но не получается. На моих сапогах у двери глина. Не знаю, кошка исчезла в ничто, небольшая частица мира, отколовшаяся и упавшая куда-то сквозь склон оврага.

Борхес рассуждает о соловье, о вечном соловье, которого слышал Китс и Хайям, мол, в общем, это одна и та же птица. Насчет птицы он, может, и прав, а вот персидская кошка, любящая спать на стихах, с желтой маской на глазах, крутом лбу и носе уже не повторится, как и эти пятнадцать лет, какие-то особенные лета, наши и кошки. Ведь человек в конце концов начинает видеть мир глазами своих прирученных зверей, и время воспринимает по-другому: пятнадцать человеческих лет — это немного, а кошачьих — целая эпоха. И все-таки лучше их не приручать.



Книга, читающая тебя

Заратустра заостряет: какова твоя господствующая мысль?

И правда, о чем ты чаще и придирчивее думаешь?

Какая мысль возвышается над тобой? Мысль, которая приковывает тебя, неотвязная, преследующая долго. И — неразрешимая, пожалуй. Да, если ты к ней все время обращаешься. Мысль о любви? смерти? возмездии? Или обо всем этом сразу.



Мысль о господствующей мысли помогает что-то понять в себе.

Таков весь Заратустра, взыскующий ясности у читателя.

Ряса и рубашка

«Одинокий рай» из цикла «Судьбы современников», фильм живописный, свежий, с музыкой и стихами Александра Суханова, Арво Пярта, о священнике, идущем через Кавказский заповедник, где он когда-то работал егерем. Священник бодр и колоритен. Один из его спутников — егерь. В избушке на горном склоне этот егерь вслух читает Библию, потом рассуждает о вере. Говорит чисто и хорошо. Но вдруг священник начинает возражать. Похоже — какой-то спор. О чем? Поначалу оторопь берет. Ведь егерь читал Библию? Несомненно. Егерь христианин? Да. Живой христианин. В чем же дело? Почему священник явно нервничает? Жесты: отмахивается.

Вскоре кое-что разъясняется: егерь наслушался внизу протестантских проповедей.

В этом эпизоде последнее слово за священником. Но егерь в своей простоте и бедности выглядит убедительнее. Спор на горах. Глядя на них, понимаешь, что это спор о форме. Да, буквально, спорят ряса и житейская рубашка.

И кажется, что и все религиозные споры подобного характера таковы. Отмашкой не отменить уже богатство религиозной картины мира.

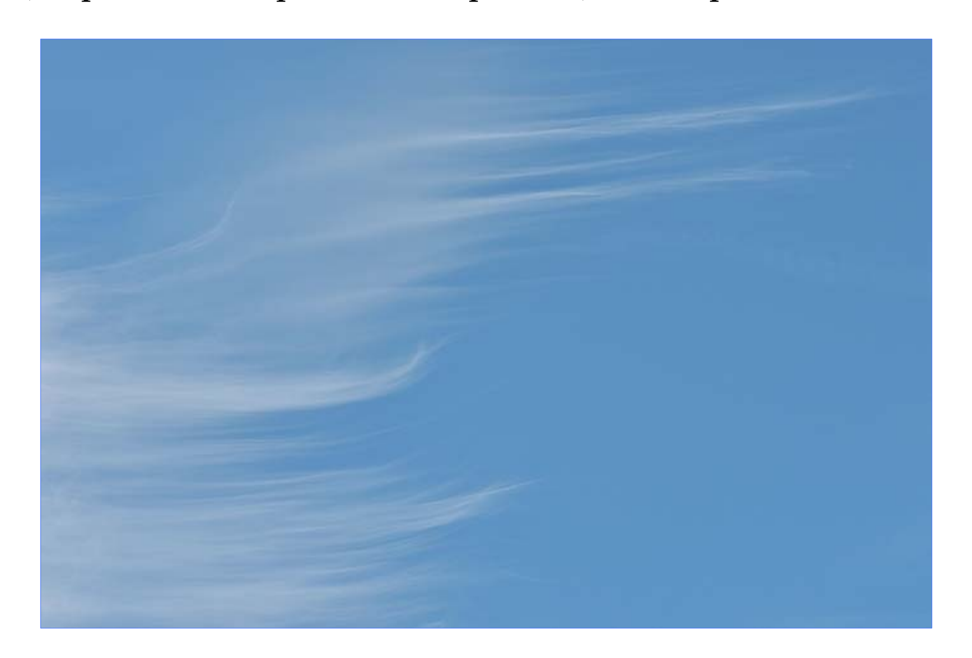
Жарко

Вчера снова поехал на Днепр во второй половине дня. Встретил аиста на том же месте, на краю поля, у дороги, только теперь он не улетал, а вышагивал, раздумчиво озираясь на меня. На кружной дороге валялась сбитая машиной рыжая сова, притормозил, посмотрел. Кажется, неясыть. На берегу реки, где всегда скрипят двери, в глубокой тени толстых вязов оставил велосипед, а сам вышел под солнце, взмахнул допотопным спиннингом. Нравится это место. От моего дома доезжаю сюда за полчаса. Напротив гора леса, называется Высокое. Однажды мне пришло в Газни письмо от учительницы географии, с которой мы и сейчас общаемся, в нем оказался прямоугольник пленки — меньше спичечного коробка, слайд, посмотрел на свет и узрел гору осеннюю, пеструю, неправдоподобно густую: Высокое. И теперь иногда при взгляде на Высокое за полотном живой реки видишь небо Азии, ну, есть в этом всегда что-то слегка безумное, сдвиг пространства-времени.

На этот раз повезло больше: река одарила двухкилограммовым голавлем. Да, рыбы в Днепре мало и такой улов радует. Сбил знойный морок плаваньем, и назад. На деревенской дороге увидел бумажки — деньги. Остановился. 70 рублей. Кто-то потерял. Хм. Подумал, — придавил бумажки камешком, чтобы проезжающие машины не сдули, поехал дальше. Соображал: а если бы тысяча? Две?.. Аистов на поле уже было двое. Очень высокие птицы. Если рядом встать — наверное, по солнечное сплетение будут. Вспомнился ненароком Гауф, его рассказ о том, как халиф и везирь превратились в аистов, а избавила их сова, выговорила заветное слово. А вот его я уже припомнить не мог. Западное солнце глядело на меня в упор, оплавляя сознание, под колесами курилась пыль, и мне уже было не до реминисценций.

Сны женские и мужские

На проспекте Строителей любитель запускал самолетик радиоуправляемый. Возле него остановились прохожие, пятеро мужчин, подростки, две женщины, одна выказывала признаки нетерпения, мол, надо идти за покупками и т. д. Но ее спутник стоял, разинув рот, таращился вверх. И я затормозил, посмотрел. Самолетик па-



рил между серых девятиэтажек, иногда забирался очень высоко и вдруг мчался к земле и снова взмывал легко и весело. Между мужем и нетерпеливой женой уже назревал скандал. Медленно двинулась прочь и вторая женщина, оглядываясь на мужа. Пора было и мне идти. Но я еще успел заметить, как самолетик пролетел прямо над толстыми проводами высоковольтной линии. Как просто! А во сне этот маневр ввергает в ужас.

Женщины редко летают во сне, им этот тренинг и скучен.

Синяя птица

Метерлинк в «Синей птице» проводит ту же мысль, что и Банкей, самый простой, как его называли, учитель дзэн (1622-1693). Банкей: «Прямо сейчас все вы сидите передо мной как будды. При рождении каждый из вас получил от своей матери сознание будды» = синюю птицу. (В конце пьесы Метерлинка, напомню, она упорхнула.)

Мир щурится

Меня ослепляют два солнца: небесное и речное. Мимо проносится пара зимородков, тревожно-весело пересвистываясь. Я как плавленый сырок. Почти девять часов вечера, но жарко. Не выдерживаю, ухожу, так ничего и не поймав. Под дубками тенисто... Но солнце клонится ниже — и уже сумрак просвечен длинными красноватыми лучами. Мир щурится, и я на него щурюсь.

Знак вопроса

Как быть ненавистнику завершенности? Ведь мир в становлении? Поставить точку может только Господь? А мы все обречены на другие знаки? Современный автор должен писать вещь только со знаком вопроса? Но кто отважится на такой эксперимент? Ведь это будет смешно?

Даже сейчас смешно...

Днепровский даос

Днепровский собачий шиповник всегда представлялся мне нищим даосом. Почему собачий? Так его называют охотники, рвет собакам шерсть. Даосу предпочтительней не-деяние, эта беготня его

раздражает. О даосах в старину говорили: одет в рубище, но за пазухой нефрит. И шиповник одет блёкло и скучно, а благоухает. Стоит среди кочек, смотрит на небо, на пролетающих птиц, на облака, плывущие долгими письмами. Даос всюду в Поднебесной пребывает.

Забег

В первых числах апреля нашу ораву в новенькой полевой форме и пилотках перекинули из Москвы в Туркмению, мы сразу скатали там шинели, теплынь, всюду листья, ласковый ветерок. Дожидаться вечернего поезда к предгорьям Небит-Дага, где нам предстояло прожить дикой жизнью в лагере подготовки два с половиной месяца, нас привели на стадион рядом с вокзалом. Расселись по трибунам, как будто собирались смотреть матч или забег. Рядом был ларек, все бегали туда за газированной водой «Буратино», сигаретами. Пошел и я, набрал печенья «Шахматное», несколько пачек «Кэмела». Странно было, что в Ашхабаде эти сигареты продавали. В Москве купить «Яву» считалось удачей. Когда вернулся, меня подозвал сержант-туркмен, наш «покупатель». Я взошел по ступенькам к нему, остановился двумя-тремя ступеньками ниже. Ты у кого спрашивался? Ни у кого, ответил я, никто ведь... За себя говори, сказал он и вдруг встал и ударил ногой по моим рукам. Все сигареты, печенье, что-то там еще разлетелось в стороны. Не долго думая, я преодолел разделявшие нас ступеньки и заехал ему в скулу. Зимняя шапка с кокардой покатилась, сержант осел, схватился за щеку, ошеломленно вытаращился. Ты чё? я твой сержант... командир!.. — крикнул он. Я ничего ему не ответил, собрал все и пошел к своим ребятам. Молоток, говорили они, правильно. Не ссы, если что...

Часа три спустя на гаревой дорожке появилась живописная компания из четверых сержантов и дедов, пятым был наш. Он показал на меня. Меня позвали. Пришлось спуститься к ним. Атлетического вида сержант-туркмен, на полголовы выше меня (а я не маленького роста), улыбнулся. Ну чё? не все понимаешь? Он приобнял меня. Пошли. И мы мирно двинулись по дорожке. Сержант что-то разъяснял мне про правила службы. Потом дорожка повернула, а мы все сошли с нее и оказались за каким-то строением. Тут же атлет заехал мне левой так, что меня отбросило к стене, все остальные развернулись веером и замелькали кулаки и начищенные сапоги. Я только и делал, что закрывал лицо, голову. И почувствовал, что зверски устал и сейчас свалюсь. Но тут раздались голоса.

Наши пришли!.. Наконец-то. Атлет попробовал на них кричать, мол, кто вам сюда разрешил, салабоны. Но ребята стояли на своем: отпустите его. Отпустили.

Вернулись на трибуны, закурили. Обсуждали происшедшее. Рвались в бой. Закурил и я, но тут же выкинул сигарету, сплюнул красную слюну. Тяжелое курево, этот «Кэмел». Надо бросать курить.

Атлет с гаревой дорожки улыбался мне.

Вино суфиев

Солнце во всей своей огненной красоте-ни-для-кого встает над кирпичным горизонтом общежития и пышет лучами в мои окна, озаряет фотографии и репродукции картин, китайскую розу в кадке, виноградную лозу, гранат на подоконнике, книги. Соединение бездушного бессмысленного огня со всем этим вызывает странное чувство. Да, как будто ты затерялся среди шестеренок и валов гигантского механизма. И умудряешься жить. И гранат с виноградной лозой умудряются пить свет смертоносного океана гнева-огня, громоздящегося над крышей общаги. И этот свет ласково сияет на листьях. Что в высшей степени подозрительно! И скорее всего случайно.



Случайный мир, случайная жизнь, и при этом сколько серьезности во всем. Вот подозреваю, почему суфии были всегда пьяны, да и просто поэты, в них жило это чувство случайности, оно воспламенялось всякий раз, когда всходило солнце, и угрюмая основательность окружающих лишь сильнее их пьянила. Окружающие готови-

лись к войне. Мир городов был суров и вечен. А солнцепоклонник пьян, ибо знал истину случайности.

Скворец

Иду мимо крепостной стены на тихой улочке Тимирязева, приближаюсь к церковной резиденции с коттеджем и прочими строениями за железной стеной, поднимаю голову и вижу изукрашенный затейливой резьбой скворечник. А мне как раз на днях одна учительница жаловалась, что на весенней выставке в парке, куда она привела своих учеников, церковный иерарх отверг скворечник, сделанный одним из учеников. «Не красивый», — сказал. А, ну да, этот, конечно, лучше, думаю... И замечаю в летке дуло со стеклянной линзой.

Э, да и скворец здесь откормленный.

(Припомнилось после фильма «Брат Солнце, сестра Луна» Дзеффирелли.)

Сибирский жемчуг

В Сибири живет Антон Нечаев. Он деятельный человек, ведет блог, участвует в работе фонда Астафьева — главный эксперт, как об этом написано в Википедии кем-то, интересуется происходящим не только в родных краях и заявляет, что нюхом и зрением хочет инспектировать всяких лауреатов. Похвальное стремление, хотя и выраженное немного не по-русски. Но тут, возможно, такой прием, кураж.

И точно. Антон сочиняет в рифму. По версии журналов, в которых он публиковался, — стихи. И по версии составителей новой литературной карты России. Например, такие:

Лошадь остановилась,
вежливо отпросилась
у всадника помочиться
и отошла за кустик,
а там волчица
грызет с акустик—
хрустом теленка
и замечает тонко:
здесь не уборная!

И т.д., как говаривал Хлебников. Похоже на басню, но без морали. Наверное, автору особенно дорого это: «грызет с акустик—хрустом». Мол, звучно! Свежо. Да?.. А все-таки старые басни были както яснее, поучительнее, про квартет, про скворца, который выучился петь щегленком, а потом захотел исполнить соловьиную трель, ну, и ясно, что у него получилось. Мораль: не лезь в калашный ряд. Это Крылов. Старина, рутина, плесень. Побасенка про лошадь и волчицу, которая «грызет с акустик-хрустом», конечно современнее. Уж не говоря о как бы лирике:

Млею от медленных твоих
мягких мышц,
от танцев с колготками
пред трюмо с утра;
сначала скажешь «пора»,
а после...

И т. д., как говаривал Хлебников. Это, повторю, как бы лирика, ну, такой стеб, сиречь кураж. Дальше куража больше. И «Хлебникова».

Улыбка качает
зыбку
зубов,
без слов
трогает скрипку
руки,
срывая с тоски
яблоки облаков.
И т.д.
Поклон,
и кокон
волос
колет
рукав ваш,
как карандаш
бумагу...

И т. д. — такие писания под Велимира Хлебникова можно гнать километрами. Читать, правда, несколько труднее, чем гнать «волос колет», а прочитаешь и думаешь, что там было про котлету? Это Антона не смущает. Понимать надо иронию сибирского постмодерна.

Ладно, оставим в покое подражания, трудно в этом мире, набитом цитатами, пронизанном влияниями, не подражать. Все кому-то подражают, тайно или невольно.

Есть же у него и оригинальные более или менее стихи? Ну, наверное, здесь он никому не подражает:

В тесной комнате два стола,
пахнет сыростью из угла,
за компьютером спит она:
еле-еле щека видна.

Наверное, это снова прикол такой, ирония, простецкая рифма, перечисление обыденных вещей:

Кипы дел, дырокол, «Янтарь»,
замусоленный календарь,
сапоги приспустила с ног,
как некстати звенит звонок!

Действительно, только секретарша сапоги приспустила, а тут звонят.

Ну, и что там дальше было, спросите? А так все и шло — вёрстами:

— Приходите сегодня, да!
Я на службе совсем одна.
Документы можно не брать...

И т. д. — рифма задана, можно импровизировать любому на свой вкус. В этом стиле писания верстами любой преуспеет. И куплеты можно тасовать, от этого ничего не меняется, потому что ничего не происходит, стих, как жертва, не свершается.

Но будем справедливы. Все-таки нашему герою иногда нестерпимо хочется говорить открыто и проникновенно. И он делает это. Вот образчик. Дан целиком, во всей высокой сути. Так что не говорите, будто я обрывал и передергивал.

Нет ни в чем моей вины,
потому не гну спины,
не вливаюсь по гудку
в разносерую толпу.

К проходной не тороплюсь
и на вахту не стремлюсь,
не затащат и в дозор
за широкий крутогор.

Только свыше блажь дана:
жажда воли и вина.

Тут, как я понимаю, перл: разносерая толпа... А герой не разносер, у него яркая блажь и вечная жажда... и мало ему конституций.

Что сказать?..

Все-таки на старых дорогах хотя бы верстовые столбы стояли, и глазу было за что зацепиться, а эта езда весьма утомляет: гладко, ровно и серо. Может быть, серо по-разному, с оттенками, вглядываться глубже, признаться, довольно мучительное занятие.

Если, по мнению картографов, это хорошая поэзия, Новая карта России, то лучше «бродить без дела и без цели», ненароком и на лету скорее схватишь что-то живое.

Но — удивительный характер: ревностно заботиться о других, забывая себя. Сибиряк, главный эксперт, стоящий на страже и нюхом и слухом инспектирующий лауреатов и всяких прочих москвичей, то есть, по терминологии Антона — всех, живущих по эту сторону Урала. Чувства, которые он испытывает к этим людям (в том числе и ко мне, разнузданный его отклик на мой рассказ и послужил причиной этих строк) не назовешь добрыми. И ладно бы, не запретишь, должен же кто-то зоилом быть, стоять на страже и блюсти, портить печень, надрывать селезенку. Но при этом наш зоил пишет... ну, сами знаете — о лошадях, «Янтаре» и разносерой толпе... — и забывает, что он зоил-то... при исполнении... Впрочем, кто же дома в служебном сюртуке ходит? Тут можно быть самим собой: белым и пушистым, наслаждаться, отыскивая жемчуга прямо под носом. И тянуться за Урал не надо: столько добра рядом.

Летом 78-го

После выпускного вечера на душе кошки скребли, может, надо пива попить, думалось. До бывших одноклассников дозвониться не мог. Бродил по двору у кинотеатра «Юбилейный», курил болгарские сигареты «Орбита». Тоска. И тут увидел Рому Златина, уже тогда мудрого, спокойного, еще учившегося в школе. Поговорили. Покурили. А ты почитай лучше стихи, посоветовал он. Пошли к нему, и я получил томик под названием «Треугольная груша». Это был Вознесенский. Стихи из сборника подействовали магически, отрезвляюще. Прозрачная ясность всего пришла на смену мутной тоске. Это было поразительно. Кажется, никогда больше стихи не исцеляли с такой быстротой и освежающей резкой силой. «Ворона» я сразу заучил наизусть и отправился странствовать — на Байкал, в заповедник, как будто именно для того, чтобы проверить, действи-

тельно ли это возможно: «А хочешь, будешь спать в заброшенной избушке/ Утром пальчики девичьи будут класть на губы вишни,/ Глушь такая, что не слышна/ Ни хвала и ни хула»... Это было возможно, Вознесенский не врал.

31 мая



День, когда еще можно удержать лето, как букет пионов, — а завтра потекут, засверкают, посыплются денечки.

———

Косоглазие

В «Поэме о сути всего сущего» Руми есть притча о мастере и косоглазом подмастерье, который на просьбу принести сосуд из комнаты ответил, что там два сосуда, какой, мол, из них принести? Мастер ответил, что там всего лишь один сосуд, его-то и следует немедленно принести. Но по версии подмастерья их было два. «Так разбей один из них!» — потребовал мастер. Подмастерье подчинился, разбил один сосуд. А второй просто исчез.



Руми восклицает: о, если бы столь же легко искоренить порок двуличия!

О, если бы сосудов было всего два, думаю я, озираясь.

6 часов 5 минут

Повернул голову и вдруг увидел большой циферблат соборных часов, разделенный на две половины, темную и озаренную косым солнцем, выглянувшим под вечер; как-то не замечал эти часы, не знал, что кроме часов, обращенных во двор, есть еще и эти; стрелки по-



казывали 6 часов 5 минут. Замедлил шаг и остановился, а крутая улица гудела автомобилями, мчащимися мимо соборной горы к Днепру. Разнонаправленное движение всего — улицы, реки, Солнца — колебали удары большого колокола. И эта колышущаяся субстанция представилась на миг временем. Но оно никуда не шло. Лишь вздымалось и опускалось. И стрелки замерли. Нет, это было что-то другое, не время, но лакуна в нем, наполненная, как грот, шумом прибоя. На улице Б. Советской, 4 сентября.

Сбывается

Звонок Сашки Харченко, с которым начинали служить в Газни, пообещал ему выслать книгу, он вспомнил, как я говорил ребятам: ищите книгу «Запах пыли».



Точно, говорил, хотя на дворе — у нас в степи — был 81 год, в Москве живые Брежнев, Андропов. Но первые рассказы вышли под другим названием. «Запах пыли» — это не звучало в начале 90-х. Но позже один из издателей взял и, не спрашивая, назвал так сборник, прочитав в рассказе о запахе пыли.

Жаль, под рукой нет этой книги, отослал Сашке другую.

Один миг

«Страсти Христовы» Гибсона — до середины превосходный фильм; потом чувство меры отказывает режиссеру, и с каждым новым ударом понимаешь, что это такое американское кино, что замысел требует увеличивать число ударов, рубцов.



В итоге: несколько мгновений ошеломляющей иллюзии документальности и возможность почувствовать архетипическую глубину этой истории, в последних кадрах, где око страдающего Бога озирает мир сквозь кровь.

Приписывается Геродоту

Осенью улетают журавли и прочие ласточки. Но возвращаются лица яхвической национальности откуда-то с берегов Мертвых морей. По крайней мере граждане Гипербореи начинают их вдруг видеть. На улицах то и дело слышен раздраженный шип на черные глаза и темные волосы. Врачи говорят, что просто осенью обостряются желудочные и поджелудочные недуги. Гиперборейцы им не верят. Дело в том, что в тамошних краях эскулапы в основном как раз той же национальности. «Не надо фуфло гнать, переводить стрелки!» — говорят гиперборейцы и не лечатся.

———

Не плюй в Ардвисуру Анахиту[1]

Основа зороастризма: единство благих мыслей, дел, слов. Этот категорический императив приносил ощутимые результаты. Римляне свидетельствуют, что парфяне хорошо обращались с пленными, беглецами, держали данное слово, были верны обязательствам.

Геродот писал, что зороастрийцы «очень почитают реки. Они не мочатся, не плюют и не моют в них рук и никому не позволяют этого делать». У ранних зороастрийцев не было храмов, Храм для них — природа. Зороастриец обязан был хранить огонь, воду, металлы чистыми, землю — неоскверненной и плодородной, деревья и растения — хорошо ухоженными. Они почитали огонь; у огней были имена. Огонь дозволялось кормить лишь чистыми дровами. Сжигать какую-либо дрянь было немыслимо, кощунственно. Прежде чем вымыть загрязненные руки, следовало очистить их песком, коровьей мочой. Это трепетное отношение к земле, огню, воде по-детски трогательно... и невозможно в наш век.



Но, как водится, священники замордовали паству поборами, усложнившимися ритуалами, запятнали себя кровью служителей из конкурирующих фирм-посредников: иудаистов и христиан. И под ударами приверженцев новой религии — ислама — зороастризм пал.

---

[1] Божество вод у зороастрийцев.

Но еще можно зажечь костер над чистым ручьем, кое-где они сохранились, чистые ручьи. И приводить в порядок мысли о земле, о воздухе... Заратуштра две с половиной тысячи лет назад уже все понял, решил. А мы никак не поймем.

Старость

Прочел «Мерсье и Камье» Беккета. Он любил стариков — в угоду Шпенглеру с его «Закатом»! Но любопытно, что ему удавалось очень хорошо показывать на примере всяких нелепых действий этих самых стариков соединение несоединимого. Но соединенного. Короче, борьбу духа и плоти, духа и материи.



В старости появляется некий люфт. Можно сказать: двойной люфт: души в человеке, в теле и человека в мире. Второе чувствуется с самого рождения, а первое наступает со временем. Вдруг выясняется, что одно, другое и третье плохо подогнаны, разболтаны. Вместе с болезненными и трагическими ощущениями это дает



и некоторое преимущество. Человек, не укрепленный в мире, чувствует и видит больше. Правда, что именно он видит? И приносит ли ему это радость?

Медитация эвенка

Анисимов в книге «Религия эвенков» пишет, что эвенк разговаривает с огнем: подкладывает в очаг тонко наколотые дрова и сидит, продумывая то, что его сейчас интересует, или даже проговаривая. И — прислушивается.



Для человека, привыкшего к тихому шипению газовой горелки, костер производит грубые звуки, что тут понимать? А у эвенка — в огне музыка. Ну, в любом случае, голос, — и вовсе не однообразный. Послушав огонь, эвенк принимает решение.

Генри Торо: «В огне всегда можно увидеть чье-то лицо».

— А я только что у Капоте прочел о сокрытых городах, «завернуты в коробки под елкой»: Венеция, Фес, а самый потаенный Новый Орлеан. Потаенный — это его слово. Вот и в этом городе всегда что-то новое приоткрывается. В «неподвижных» городах (как Венеция) только и открывать новое, новое в старом. В «подвижных» (как Москва или НЙ) новое (новое новое) на тебя само накатывается, но ты его не открываешь, только чертыхаешься.



— Интересная классификация. Мне Смоленск представляется городом линий. А линии, по-моему, есть в любом городе. В Москве я точно на них попадал. И тогда движешься как трамвай — слепо, никуда не сворачивая. И даже взбираясь куда-то повыше, как у Гумилева.

— Да, помню, ты уже как-то говорил про линии, я так тоже хожу-хожу по городу, а потом замечаю, что пролегла «линия». Ищу книгу рассказов Питера Хёга «Ночные рассказы» в русском переводе — у тебя нет?

— О линиях рассуждает философ Подорога в «Метафизике пространства», говорит об особом стиле мышления — линиями: у Хайдеггера — линия складки, у Ницше — линия танца, космическая, Киркегор — каскадная, прерывистая, линия веры. У линии есть ритм, она связывает гетерогенные точки. Есть линия произведения. Мировая линия, создающая эффект нового измерения бытия: мир. ли-

нией двухмерного будет трехмерное, трехмерного — четырехмерное. И, наконец, это сила проходящая через запястье китайского художника, то, что в Китае называлось Единой чертой. Без нее мертв пейзаж. ...И мертв город, подумалось и мне, с этого все и началось. Книгу выслал.

— Спасибо за книгу, получил. Здесь этажи уровней абстрагирования. Можно предложить: линия прозы — поэзия; линия поэзии — музыка; линия музыки — тишина. А вот линией чего является проза?.. Линией событий.

— Отличная иерархия линий, Виктор. И смерть, наверное, линия жизни.

— Тогда Бог — линия смерти.

— Но — такова логика линий.

Сезанн

Сезанн уверяет, что мир неколебим, солнце является по расписанию, пинии дают свет и аромат, гора многообразна в своих ипостасях, но по сути едина, и даже древний акведук простоит еще долго.



Как увидеть хозяйку вселенной



Очень просто, говорят эвенки, надо дождаться восхода луны. Дело в том, что луна — ее зеркало. И, взглянув на нее, можно обнаружить темный силуэт горбатой старушки с мешочком. Это и есть хозяйка — энекан буга. Точнее — ее отображение на выпуклом гигантском зеркале, побитом изрядно метеоритами. В мешочке у нее шерстинки-души оленей, изюбрей, уток. Понравишься ей — пошлет удачу на охоте. Нет — пиши пропало.

Белый квадрат

Что мне запомнилось после вчерашней вечерней длинной прогулки по черным моросящим улочкам в лужах и голых деревьях, с редкими фонарями и быстрыми прохожими, бродячими собаками? Белый квадрат. Отреставрированную церковь Авраамиева монастыря начали белить.

Маршрутная карта

Борхес, рассуждая о новаторстве в литературе, приходит к выводу о пределе и сравнивает литературу с шахматной игрой. Да, законы восприятия не изменились со времен «Одиссеи» и разве смог их разрушить тот же Джойс? В потоке сознания есть русло, ось, ее—то и нащупывает читатель, вычерчивает маршрут—путь. Только и есть любовь, путь и безбрежная смерть.



Солдатская книга

В ранце каждого солдата должна быть «Бхагавадгита». Волна пацифизма накрывает главного героя предстоящего сражения: Арджуну. «Не буду сражаться», — говорит он. Будешь, ибо ты воин — кшатрий, примерно так отвечает полководцу его колесничий и по совместительству бог — Кришна. Не бери в голову, чужое бремя — оставь. Свой долг превыше всех остальных, главное исполнять его бескорыстно.

Да, но что, если этот ранец на плечах солдата третьего рейха? Что говорил бы этот сиятельный возничий офицеру СС? Смог бы он пропеть свою «Песнь Господа» под небесами, серыми от пепла печей?

Наверное, да.

И не отверг бы его ужаснувшийся Арджуна?

Наверное, нет.

Радость шиповника

Набрел в солнечный и заснеженный день на заросли шиповника неподалеку от Днепра и сразу подумал о Поднебесной. Условный рефлекс. Обычно летом, едва зацветает шиповник, достаю с полки какую-нибудь книжку со стихами Ли Бо, Тао Юаньмина, Ван Вэя или даосскими притчами. Эта традиция как—то установилась и продолжается уже больше двадцати лет. Наверное, все дело в том, что на обложке первой книги со стихами эпохи Тан – золотым веком китайской поэзии – купленной в командировке в одном сельском магазинчике, чернеют розы. Шиповник принадлежит к этому семейству. Правда, он прост и неказист, особенно днепровский шиповник. А благоухает свежо и тонко. «Одет в рубище, но за пазухой нефрит», — даосская поговорка как будто про него.



«В заплатанной одежде из грубого холста, в сандалиях, подвязанных веревкой, Чжуанцзы проходил мимо царя Вэй.

— Как очутились Вы, Преждерожденный, в столь стесненном положении? – спросил государь.

— Это не стесненное положение, а бедность, — ответил Чжуанцзы. — Убогая одежда, стоптанная обувь, это бедность, а не стесненное положение. Стеснен тот муж, который, обладая естественными свойствами, не может их проявить»[1].

---

[1] «Чжуанцзы» в кн. «Мудрецы Китая», СПб., 1994.

Чжуан Чжоу, или Чжуанцзы, всячески славил в своем трактате бедность, за тысячу с лишним лет до беднячка Франциска Ассизского. Эти двое хорошо поняли бы друг друга. Один был автором книги, которая еще называется так: ««Истинный Канон Страны Южных Цветов», книга другого — «Цветочки Святого Франциска». Правда, сам Франциск не был ее автором. Но и с «Истинным Каноном», или «Чжуанцзы», почти такая же история, исследователи только восемь из тридцати трех глав приписывают самому Чжуан Чжоу. Впрочем, по основному вопросу даос, живший в четвертом веке до нашей эры, и святой, читавший проповеди цветам и птицам в одиннадцатом веке, все-таки разошлись бы. Чжуан Чжоу даже считают ранним материалистом. Действительно, дао — «матерь вещей», исток и причина всего. Чем не материя?



Дао — плавильная печь, где одно перетекает в другое. Древнекитайский мыслитель был заворожен зрелищем этих превращений. «Всё в Поднебесной то погружается, то всплывает, не остается одним и тем же на всю жизнь. Жара и холод, четыре времени года, сменяя друг друга, соблюдают свой порядок. Смутно, то ли существуя, то ли нет, скользят чудесные, не оформляясь». И ему легко было вообразить, что на самом деле он снится бабочке.

Сполохи алых плодов в зарослях шиповника и были похожи на блики печные. А вообще эти заросли напоминали какой-то сад. И я снова подумал о Чжуан Чжоу. Исследователи сообщают, что неко-

торое время он служил смотрителем сада. Правда, это был сад лаковых деревьев, а по другим сведениям — шелковичная роща.



Синолог Торчинов называл Чжуан Чжоу экзистенциальным мыслителем, вещество жизни для него важнее логики. Он скитался по всей Поднебесной на крыльях интуиции. Оружием его была метафора. Один царь полюбил фехтование в ущерб делам и людям: на ристалищах гибли десятки и сотни удальцов. Наследник пригласил Чжуан Чжоу и попросил его о помощи, но предупредил, что в обычном платье к царю нельзя являться, надо выглядеть, как фехтовальщик. И вот философ в костюме фехтовальщика предстал пред государем. Тот ждал его с клинком в руке. Тут же спросил, каково его искусство? Чжуан Чжоу спокойно и веско отвечал, что разит всех направо и налево и не оставляет в живых ни одного путника. Государь очень обрадовался. Наступил день состязаний, во время которых было убито и искалечено более шестидесяти человек. Из победителей отобрали нескольких и позвали философа. И он продемонстрировал искусство владения мечом Сына Неба, как сам его называл. Это была маленькая географическая поэма. В ножнах этого меча помещались времена года и варвары; в перевязи — море, в портупее — гора, ну и лезвие его простиралось на много верст; мечом можно было рассекать плывущие облака и разрезать земные веси.

Царь слушал его «как в тумане».



В итоге с пагубной страстью было покончено. Такова сила поэзии, хотя «Чжуанцзы» — прозаический памятник. Но многие строки звучат как стихи.

И эта поэзия исполнена анархистского бунтарского духа. Главное зло – ритуалы, стремление к роскоши, власти, «вещизм» — «Те, кто теряет себя в вещах, утрачивают в пошлом природный характер». Таких Чжуан Чжоу называл стоящими вверх ногами. Да, уж лучше потерять себя во вселенной. Один персонаж, кстати, и носит такое имя – Пропавший Без Вести во Вселенной.

Основной вопрос звучит так: «Как ввести обряды и музыку, не отбросив естественных чувств?» Как нам вернуться обратно?

Мир Чжуан Чжоу утопичен, говорят комментаторы. Наверное. Но странным образом в него можно войти. Ну, вы уже догадались, как.

«Прогуливаясь с Творящим Благо по мосту через Хао, Чжуанцы сказал:

— Пескари привольно резвятся, в этом их радость!

— Ты же не рыба, — возразил Творящий Благо. — Откуда тебе знать, в чем их радость?

— Ты же не я, — возразил Чжуанцы. — Откуда тебе знать, что я знаю, а чего не знаю?»



Гагарин



Гагарин утопает в г-грязи, а вы думали, в чем? В звездной славе? Вчера побывал там. Тротуары исчезают в миргородских лужах, не знаю, по ночам там, возможно, и хряки купаются, приходят из ближних болот. Пройти без сапог — упражнение в эквилибристике. По обеим сторонам улиц заунывные строения, лачуги. Центр еще прибран, а в двух шагах — натуральный гадюшник. Медведев, помнится, был здесь летом прошлого, что ли, года. Гагаринцы думали, ну, наконец-то, знаковый визит, один из первых. Вы спрашиваете себя и друг друга, ну, как? что нам принес Медведев? Предлагаю судить об этом по городу первого землянина, шагнувшего в космос. Первого навсегда. А президентов еще будет много.

Последние из горожан

Прогулки по современному городу часто безрадостны, особенно, если путь пролегает по новым микрорайонам. Современная архитектура — результат усилий хирургов, а не творцов. Они обрубают тайну. Загадку пространства скорее всего можно открыть именно в городе. Здесь происходит захват пространства, его пленение, обустройство. Строители действуют дерзко, как демиурги. И древние мастера были ими. Они улавливали, заключали небеса в купола. Ны-

нешние небо отвергают, отсекают. И современные жилые дома и всякие административные постройки не вызывают никаких иных чувств, кроме скуки.



Что же случилось? Обратимся к Шпенглеру: «Когда исчезает орнамент, всего-навсего меняется некоторый язык; когда исчезает тип дома — вымерла некоторая человеческая порода».

Но я-то жив? И кто-то еще.



Груз-200

Режиссер нагнетает: футболка с надписью СССР, серые пейзажи, мглистые небеса, промзона, назойливая попса, мент-монстр. Память сопротивляется, было и по-другому, зачем же все мазать так...

Но режиссер идет напролом, он что-то видит, знает, и нас тащит к этой цели, схватив за шкирку, так что трудно дышать. События развиваются стремительно. И вот наступает момент истины: к прикованной героине, дочке партсекретаря, на кровать бросают труп ее парня, погибшего в Афгане, ты его ждала? На, получай. Здесь криминальная драма превращается в миф. И все возражения отпадают, сгорают, как шелуха. Зрителя начинают завязывать в узел. Мент — импотент, он приводит зека, тот насилует секретарскую дочку, в соседней комнате полубезумная мамаша мента смотрит телевизор: концерты-съезды... Мент добывает письма афганца и, сидя перед



железной кроватью с трупом зека, афганца и едва живой девушкой, читает солдатские письма. И тебе нечего сказать. Вот он гордиев узел из мертвой плоти, из плоти живой и униженной, вот она родина, падшая, шалая, прибитая наручниками ссср, вот мозг, закрученный серпом и молотом, вот души, увязанные в снопы.

Миф? Да (хотя титры предупреждают, что в основе реальные события). Но отчего древнегреческая трагедия, пропитанная мифами, так действует на нас? Потому, что мы видим борьбу очищенных от всего лишнего, несущественного сил. Свет мифа ярок и беспощаден.

Божественная воля, рок не дают сюжету буксовать, уйти в сторону, все направлено на главное: узреть истину. И сцена древнегреческой трагедии выпукла, как часть Земли. Трагедия разрастается до вселенских масштабов.

Балабанов снял древнерусскую трагедию. У него воля богов пронизывает все действие. Боги оставляют дочку военкома в живых, а она переживает, и родители злятся. Но что было бы с ней, если бы она отправилась с этим волосатым мальчиком, на чьей футболке написано СССР? Боги сводят другую девушку, дочку партсекретаря, с этим юнцом. Боги отдают ее в руки мента-маньяка. И они же швыряют труп афганского десантника к ней на кровать. А потом вкладывают орудие возмездия в женские руки. И мы всему верим.

Балабанов показывает средоточие коллективного советского зла грубо и убедительно, ярко, язык немеет, как будто ты заглянул в вечную копилку архетипов, наших, отечественных: вот тиран, вот верный гвардеец, вот невеста, вот дрожащий мыслитель, вот старуха мать с распухшим носом, вот благородный разбойник, а вот мясистые спины, плечи палачей. И кровь на серой тюремной стене.

Очистительный удар разрубает этот ком, над которым вьются мухи. Наносит его женщина (что обычно для древнегреческой трагедии), казалось бы абсолютно безвольная, безропотная, навсегда поставленная на колени. Но — нет, не навсегда.

Рано или поздно она разгибает спину и молча свершает возмездие, даруя нам катарсис и — будущее.

Но в нагрузку всегда — прошлое.



Покупка

Продавщица в книжном бережно завернула бестселлер (автор на Ш., иностранец, какие-то магические ужасы) в дорогой крикливой обложке и взяла мою покупку серии pocketbook за 110 р., выбила чек, ведь не завернет, понял я и точно, она не завернула, но я вежливо и твердо попросил завернуть, на улице снег, легкая гримаска исказила ее лицо, но руки привычно сделали дело, и я вышел довольный покупкой, хотя и подмывало поделиться одной даосской мудростью, усвоенной за более чем сорок с лишним лет чтения: одет в рубище, а за пазухой — нефрит. Но я не был уверен, что имя Дж. Кутзее ей что-то говорит. И поэтому промолчал.

Дионис

Странствующий и пляшущий бог вернулся в родные места, но его здесь не хотели принимать и почитать за бога. Царь Пенфей преследовал тех, кто пускался в дионисии, бегал по горам, распевая и потрясая тирсами. А в бега ударились даже его сестры и мать, даже дед надел венок из плюща и сказал, что хочет быть посвящен в таинства. И тогда Пенфей велел схватить Диониса. Но тот и не сопротивлялся. Дионис добровольно предал себя в руки Пенфея. Его привели к царю. Дионис был совершенно спокоен. А царь – при всем его могуществе – явно нервничал. Дионис говорил, что послан в Элладу как сын Зевса, чтобы открыть эллинам таинства; он утверждал, что Зевс сочетался браком с его матерью. Пенфей просит открыть ему таинства. Но Дионис возражает, что непосвященным это воспрещено, ибо таинства отвергнут нечестивца. И вот – главный вопрос Пенфея: каков же из себя этот бог? Да, дело в том, что Дионис представился вестником Диониса. «Каков же из себя он был, тот бог?» «Какой хотел, без наших указаний». И далее: «Бог тут, он видит, что терплю я». Пенфей: «Ну, бога что-то подле не видать». Дионис: «Он здесь, но нечестив ты – и не видишь». Пенфей приказывает привязать его к яслям. Дионис не сопротивляется и говорит страже: «Пойдем».

Правда, дальнейшее развитие действия рисует вовсе не страдающего бога, а карающего и весьма жестоко – Пенфея за неверие. Тот на наших глазах превращается в безумца. Его дворец объят пламенем, колонны шатаются, сам он пытается связать быка, думая, что это Дионис, а Дионис стоит рядом и улыбается. Рабы таскают воду,

чтобы залить пламя, которое – одна лишь видимость. Царь выбегает из дворца и натыкается на Диониса. Он удивлен. «Как ты ушел, как узы мог ты снять?» Дионис отвечает, что его развязал тот, кто лозу дает с виноградом. Пенфей: «Нет, это бред – безумие сплошное!» Ага, и дальше шизофрения только нарастает. Дионис беседует с царем, как врач с умалишенным. И в конце концов убеждает его отправиться к вакханкам, нацепив их наряд. Пенфей шествует, вырядившись вакханкой, через город, попадает в то место, где происходят вакханалии; он замечен, но вознесен лукавым Дионисом на высокую ель. Из рассказа пастуха известно, что за силы кроются в нежных ручках вакханок: они рвали коровьи бока, раздирали телок, срывали шкуру с быков, расшвыривая мясо: и оно свисало с сосновых ветвей и сочилось кровью. И вот Пенфей на елке, черт возьми, как сибирский шаман. А Дионис ему и предрекал славу, величие – великие страдания, вознесение до небес. Сбылось! Ель уперлась вершиной в эфир. И на ней торчал Пенфей. Безумная картинка. И вакханки как медведицы, они его тоже увидели и зарычали, заголосили: эвоэ! Начали швырять в него сучьями, а потом принялись раскачивать дерево, вывернули его с корнями, сбросили на землю царя, накинулись и разодрали на части; среди них были его сестры и мать, она оторвала ему голову и понесла ее в город, радуясь. Ей-то блазнилось, что это башка льва.

Что ж, Дионис и предупреждал, что он бог суровый для гордых. А для кротких — нет добрей. И еще: «Безумье? Пусть! В нем слава Диониса».

На читателя, рожденного в нашей эре, трагедия Еврипида производит ошеломительное действие.

Отцы и дети до нашей эры

Еврипид, финал «Ипполита»: умирающий в муках и оклеветанный сын говорит своему — в общем-то палачу — отцу: «О, я тебя, отец, освобождаю...» Тот в ответ: «Как? Этот груз с меня снимаешь? Весь?» Ипполит: «Да, девственной клянусь я Артемидой». Отец: «О лучший сын! О благородный сын!» Ипполит: «Прощай, отец... Прости меня, мой милый».

Надо, конечно, читать всю трагедию, чтобы оценить просветляющую силу этих слов, поэтому пересказывать нет смысла.

«Корабль дураков» Рембо

Это крепкий коктейль звезд, зеленых трюмных вод, блевотины и плавающих индейских радужных столбов, коктейль, вобравший в себя весь яд романтизма, это смерть его. Европе предстояло его выпить, причаститься, проблеваться, чтобы избавиться от неумеренной любви к миру и прежде всего к себе. И заглянуть в простую лужу где-нибудь на мостовой площади Вогезов или в саду Тюильри и увидеть там кораблик детский... вечный символ надежды, мальчишеских чаяний. В лужах начинаются все дерзкие плавания. У кого не было корабликов-щепок...



Радость Корана



В названиях сур Корана есть онтологическая радость: Корова, Свет, Гром, Пчелы, Пески, Сад, Смоковница, Предвечернее время...

Время и пространство «Лотосовой сутры» трудно представить. В космизме отличие, одно из отличий буддийской мысли от христианской и мусульманской, вселенная последних все-таки обозрима: несколько небес, одна земля старая и одна новая, рай, ад. А в «Сутре»: «В это время дворцы на небе Брахмы в пяти сотнях, десяти тысячах, коти (миллионы) миров на востоке ярко осветились, в два раза ярче, чем обычно». Рефрен: сравнение времени, миров с песчинками Ганги.



Одна из лучших притч «Лотосовой сутры» о пожаре, охватившем царский дом. Дети в нем так заигрались, что ничего не замечали и ничего слышать не хотели, и отцу пришлось пойти на уловку: сказать, что у крыльца их любимые игрушки: колесницы, запряженные быком, бараном и оленем. Цитата: «В это время старец увидел, что дети смогли выйти из дома и все сидят в безопасности на росистой земле посреди четырех дорог...» Хорошее название для этого места, где мы живем? Росистое, посреди четырех дорог. И ведь оно не в безопасности, и детишки явно заигрались. А царь все не идет.

Вся «Лотосовая сутра» это безудержное восхваление Будды, утверждение магической силы его слов. Это что-то вроде «Отче наш». Она вращается, как колесо, как тибетский молитвенный барабан. Понимать в ней особенно и нечего, ее следует принять и повторять.

«Лотосовая» — сутра богоявления, хотя, как дружно подчеркивают все, буддизм обходится без Бога. Но у Будды «Лотосовой» все атрибуты Бога.

И, оставив чтение, ты долго будешь чувствовать изумительную притягательность «Лотосовой».

Будда говорит, что если кто-то, услышав хотя бы одну только фразу этой «Сутры», на миг возрадуется, то он обретет просветление. Не в этой, так в следующей жизни.

Медея

Как только взялся читать «Медею» Еврипида, сразу за строками засинело небо; любопытный эффект; и с каждым стихом небо синело ярче, разгоралось, пока уже не засияло нестерпимо, а в конце и вовсе зачернело, как это и бывает с ярой синевой.

Поразительно мощная вещь.

И потом, уже шагая по вечерним улицам, вот только что, я подумал, что увидел сокровенное этой героини, самый дух ее: удивительно ясный и в то же время «поддонный». Еврипид вкладывает в ее уста реплику о поддонных чувствах. Это и есть ключ ко всей трагедии. Бессознательное, или поддонное, сияет и, наливаясь, превращается в жирную тучу.

Мышь

Рано утром слушаю: капает. То ли дождь, то ли с деревьев. Сыро. Черт, зачем влез в эти днепровские джунгли, в ольху, перевитую хмелем. Кто-то дергает угол палатки. Ну? Кто?.. Лень посмотреть, вчера так устал, что до сих пор не хочется лишний раз... Ладно, привстал, смотрю в оконце. Никого. И внезапно замечаю дырку. В моей новой легкой палатке, которую можно собрать в килограммовый кулек... Я ее только что купил... Вспоминаю, что вечером перед оконцем торчали две жабы. Как они могли сжевать капрон?.. И в это время снова кто-то взялся дергать... Смотрю сквозь капрон: силуэт мыши. Мышь! Злобная мышь... Остановилась, ткнулась носом в капрон — и я дал ей щелбанец, мышь подскочила как ужаленная и исчезла.

Расцвет жизни здешней

«И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некоторые пары их — расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Удел Господа Твоего лучше и длительнее!» Коран, 20:131.



Но каждый мечтает об этом испытании. И никто его не выдерживает. Стоит послушать голос человека, считавшего вчера копейки и получившего сегодня... ну, всего лишь сколько-то тысяч. Стоит прислушаться и хотя бы к самому себе. Расцвет жизни здешней? Да! Все мы боимся бедности. Бедность вызывает ненависть. Любой бедняк это на своей шкуре испытал. Сады, цветущие в запредельности?..

Кто же видел их? Видел ли ты?



Реальность Книги

Сюжет и нарратив вторичны, главное настрой, пишет Х. У. Гумбрехт. И он же утверждает, что, декламируя старых поэтов, мы возвращаем физическую реальность, тон прошлого.



Вот почему так хорошо бывает в храме: не один голос, а десятки голосов, хор задает тон прошлого, чистый и высокий. И ты входишь в Книгу.

Мысли о самоубийстве

Мысли о самоубийстве дают некоторую свободу, по крайней мере, это шаг к свободе от жизни и в то же время усиление жизни. Полнота жизни на берегу смерти.



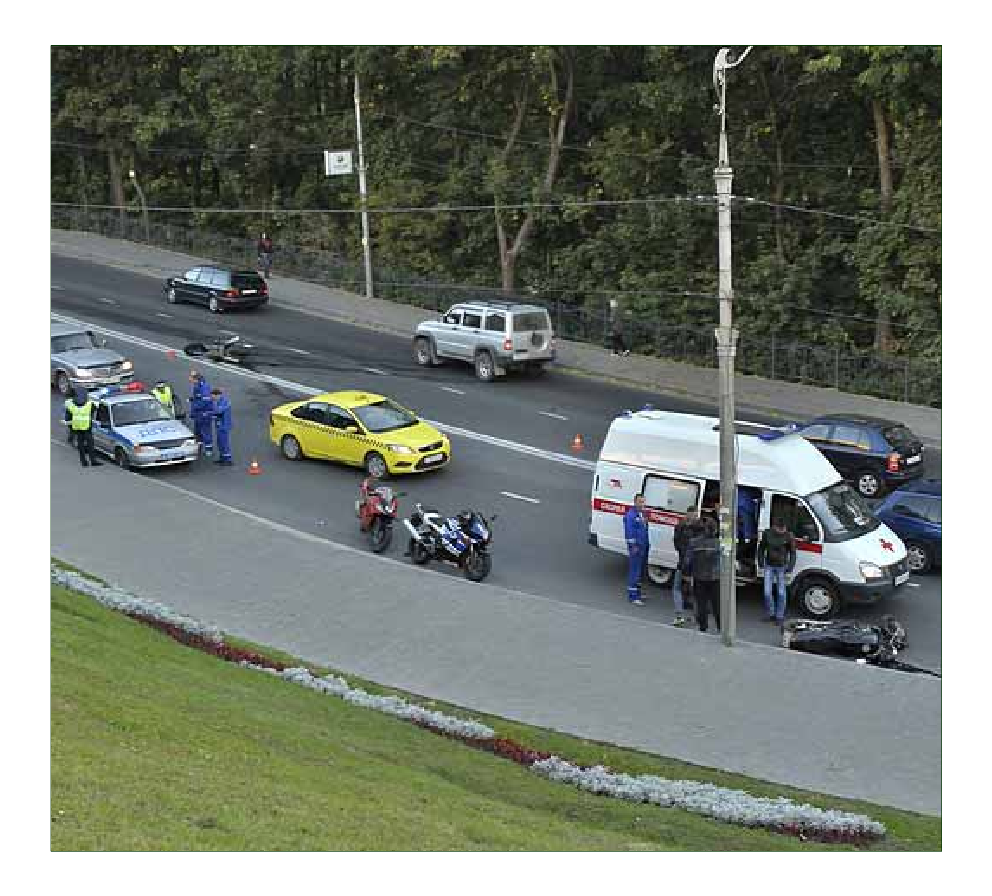
Ориентацию на смерть дают все религии. Это позволяет освободиться от власти жизни и всего земного вернее, чем мысли о самоубийстве. Но самоубийство проще, требует не усилия духа, веры, а наоборот, неверия и голого отчаяния. Скатываться легче, чем подниматься.

Синхронистичность, которую мы выбираем

Решил пойти получать медицинский полис безработного. Жена заставила. Наутро после бурной встречи с друзьями я выглядел не лучшим образом. Да что говорить, «ты был как труп», честно призналась жена. И на следующий день выперла меня за полисом, мол, приедет «скорая» и без бумажки даже укол не сделают.

Пошел.

Приближаюсь к перекрестку одному, на ул. Тенишевой. И думаю: да, перед Новым годом здесь двух мужиков на моих глазах авто сбило, они отлетели, как резиновые мячики. Но пьяны были и поэтому вроде бы отделались легко. А удар был приличный, один мужик никак не мог найти кроссовку, слетевшую с ноги. Ему ее кто-то принес. Он обулся и начал искать сигареты. Им советовали вызвать «скорую», милицию, но они отмахивались. Ну, об этом еще Чжуан Чжоу писал в своем трактате, в главе «Понимающий сущность жизни», дескать, пьяный при падении с повозки не разобьется насмерть, ибо кости и сочленения у него, как у всех, но душа — целостная, «сел в повозку неосознанно и упал неосознанно». Не было страха, поэтому и остался жив.



Но я был серьезно трезв.

Надо, думаю, смотреть в оба... И уже перешел нехороший перекресток, как вдруг: жжж! тормоза... По асфальту сумки летят. На капоте парочка, парень и девушка. Но скорость была маленькая, так что ничего особенного. А все же. Страшновато и обидно. И сумки на асфальте. Девушка перепугана. И ее парень со зла подскочил к авто — а водитель, его примерно лет, что-то растерянно спрашивает, мол, ну... как вы? — а вот так! И парень сунул кулаком в открытое окно,

даже я услышал стук кулака по лицу. На этом все. Подняли сумки и дальше пошли. Водитель поехал своей дорогой. А я поспешил — своей. Надо думать о чем-то другом, всегда о хорошем, светлом.

Но продолжал думать о плохом. О чем же еще думать, если ты безработный, издательства твои книги не печатают, и после дружеской пирушки чувствуешь себя скверно даже на третий день, не то, что в былые годы...

И полис не получил, каких-то документов не хватило, надо снова идти в какие-то учреждения, ждать в очередях, слушая чей-нибудь невеселый рассказ о проблемах и думать, что снова возникнет какая-либо закавыка.

Нет, хватит! Надо наладить оптимистическую синхронистичность. Думать об улыбках фортуны и везунчиках. Никаких аварий, провалов, дефолтов, болезней и слез, никаких стенаний старческих, дырявых крыш, тощих собак, злобных соседей, никакой гари в воздухе, никаких драк под окнами общаги напротив, никаких сырых углов, обшарпанных стен, ржавых воющих труб, никаких бледных угрюмых лиц, никаких выкриков сумасшедшей соседки по вечерам с лоджии... Мне всегда чудится в ее речевках что-то северокорейское и родное, советское, ей, видимо, нравится, как эхо жутковато раздувает ее крики и носит от стены одного дома к стене другого дома. Не удается разобрать ни слова. Поэтому и мерещится какой-то митинг на гигантской площади имени Ким Ир Сена.

Все, баста.

Вот, например, пишут, что один американец обнаружил на своем скромном банковском счете нежданные сто тысяч долларов. Счастливчик опешил. И отправился в банк, все честно рассказал. Но там так и не смогли установить, откуда и как на него свалились сто тысяч и отказались их забирать.

...Разве этому поверишь?

Да и мелко все это: счет в банке, сто тысяч. Другое дело, если бы... если бы...



Снег

Со снегом воздух сразу помягчел. Любителю городских хождений самое время пуститься в путь по улицам, вдоль трамвайных линий, сквозь заснеженные скверы, через преображенные дворы, мимо хмурых домов с почерневшими окнами — и дальше, в первые снегопады двадцатилетней, тридцатилетней давности, в занесенные белыми хлопьями настороженные виноградники горного Востока с глинобитными крепостями; в пустые сады брошенных деревень России; вверх по горе к таежному жилью — зимовью с одним оконцем, ночью наполнившемуся бледным светом сентябрьского снега...



И перезвон колоколов возвращает в этот век, на улицы этого города. Авраамиев монастырь. Мощный клен, похожий на дуб. Крепостная стена. Вдруг мысль, что колокола не для людей звучат. В вечерних снежных сумерках на пустынной улочке это слишком очевидно.

Суд

Может ли кто-то быть осужден за неверие?

...Вдруг вас вызывают повесткой в суд. Что такое? Кто? Где? С кем? В суде заявляют, что ваш сосед подал на вас иск, суть которого в том, что вы не поверили ему, его рассказу о... сомах, например. Он рассказывал вам, что в его деревню на берегу озера сомы заползали по ночам. А вы не поверили. Но у него есть свидетели: двое-трое жителей деревни. И все жильцы дома ему верят, кроме вас. Своим неверием вы утверждаете, что сосед — лгун. Иск он предъявил вам как человеку, который не верит, ибо это в высшей степени оскорбительно.

Бред? Кафка?

Встать! Суд идет...

Солдат

Солдат, георгиевский кавалер, невысокий, светлолицый, лобастый; около года он был студентом какого-то уч. заведения в Петербурге, потом оказался на войне с турками; готовился к бою, в котором, судя по всему, должен был погибнуть.

...Досмотреть не дали соседи, чем-то грохнули по стене. Или это и был последний взрыв? Или удар по стене ворвался в сон и озарил все светом обреченности? На лестничной площадке я столкнулся с ними, одетыми во что-то зимнее, темное, поздоровался и ничего не сказал. Ну, насчет вмешательства в судьбу солдата среднего роста... лобастого... жившего когда-то в Санкт-Петербурге.

После праздника

Бегство от времени, идущего к смерти (так определял праздник Элиаде), заканчивается поимкой беглеца и водворением на дорогу, ведущую... ну, ясно, куда. Вот отчего у людей, переживших праздник, глаза кроликов. (Интересно, а что имел в виду Блок? У него-то пьяницы разнузданные, самоуверенные. Чем-то они напоминают Б. Кролика из «Алисы», довольно неоднозначного типа. Читал ли Блок сказку? Перевод вышел еще в 19 веке. Или все проще: у блоковских пьяниц глаза были алые?.. Или все-таки круглились от испуга?)

Блуждающая гора

Поэзия «Каталога гор и морей» столь красочна и густа, что в день более одного Цзюаня (сиречь главы) читать не стоит. В этой книге дана топонимика древнего мира. Чтобы расшифровать все, нужны недюжинные знания, ученые много времени уже потратили на это. Но верхний поэтический слой вполне доступен для медитаций.

Первой названа гора Блуждающая. На ней растет дерево, листья с черными прожилками, а цветы освещают все вокруг. И если носить кусочек этого дерева у пояса, то никогда не заблудишься.



А гора-то Блуждающая... Правда, неясно как и где... Где-то у Западного моря. Но как бы там ни было, а маршрут начинается здесь, и древний ходок (а вместе с ним и современный читатель) получает что-то вроде компаса. И называется это дерево — Дурманное гу. Комментаторы связывают его с солнечными деревьями. И, значит, дерево у пояса ведет за солнцем. Легко себе это вообразить: одинокого путника, начинающего маршрут на пустынном берегу моря, от стоп горы Блуждающей — в средоточие имен древнего мира.

Гора Поющих Оленей

Еще дальше к востоку (компас-то из куска солнечного дерева) лежит гора, где много меди, а на северном склоне много серебра. Но главное не это. На горе обитают любопытные звери, похожие на коней, их называют олени-лушу. Так вот эти олени кричат, словно поют. Я бы осмелился перечить древнекитайским топографам и назвал бы эту гору не Абрикосовый Свет, а горой Поющих Оленей. Стоило пуститься в путь, чтобы их послушать.



Двойная петля

Феномен под названием «двойной узел» описал Грегори Бейтсон. Суть его — если очень упростить — в том, что элементы получаемой информации противоречат друг другу. Классический пример двойного узла: мать-шизофреничка говорит своему ребенку о любви и при этом смотрит на него с нескрываемой злобой. Ее жест опровергается невербальным контекстом. Эта ситуация приводит к то-

му, что ребенок приобретает шизоидные склонности и — выходит в мир, в этот лучший из миров. И ты встречаешь их время от времени — людей с петлей на шее, в магазине, в автобусе, в участке.

Дикое поле

Для того, кто хотя бы год провел в деревне, тем паче послужил в армии, все, происходящее в фильме «Дикое поле», понятно и знакомо. Да, таково дикое мужичье поле России. Ну, а тот, кто пребывал в безлюдных местах в одиночестве, и появление странной фигуры на горе воспримет вполне спокойно: может, человек, а может, и нет. В фильме оказалось, что это — человек, да еще сумасшедший, он и зарезал доктора. А жаль. И доктора жаль, и упущенной возможности создать поле напряжения открытым поэтическим финалом.

Впрочем, поэзия в фильме есть, поэзия неоглядных далей, дороги, ветхого жилища на семи ветрах, поэзия Книги: героиня, приехавшая на пару дней в захолустье, где в абсолютном одиночестве живет доктор, перебирает книги на полке: Павел Васильев, Дон Кихот; и лодка-ковчег (здесь, в степи и пыли); и ускользающая красота женской плоти.

Дикое поле держится на все тех же двух силах: воине и подвижнике. (Как, например, наш город, Смоленск, его охранители: Меркурий и Авраамий.)

Живой русский кинематограф.

Конспект фильма

Читая «Дон Кихота», вдруг ловишь себя на мысли: а ведь настоящий Дон Кихот мог бы отправиться на освобождение лже-Дон-Кихота из толедского сумасшедшего дома? Эта цель достойнее празднеств. Похождения лже-Дон-Кихота и лже-Санчо под руководством автора подложной второй части, этот автор и есть злой волшебник. Он произвел на свет двойника. Дон-Кихот должен был его освободить. Момент истины: встреча двоих Дон-Кихотов и встреча Сервантеса с автором подложной второй части. Можно снимать фильм. Остается найти режиссера. Или еще лучше писать новеллу. Но для это-го надо быть Борхесом. Или хотя бы испанцем. Или Хармсом.

Впечатление

«Идиоты» Ларса фон Триера, фильм, вызывающий раздражение и неприятие, а утром — мысли о мире так называемой нормы: жестком, холодном, кошмарном. Именно таким он предстает в доме, куда возвращается героиня, две недели проведшая в коммуне молодых людей, ищущих в себе «внутреннего идиота».

Похожее впечатление возникло у меня однажды после встречи с одним человеком, который сотрудничал в нашей областной молодежной газете. Он был душевно болен. Мы давно не виделись, столкнулись в книжном, вышли, поговорили. Он утверждал, что вылечил одну серьезную болезнь с помощью йоги. Действительно, выглядел он хорошо, а в былые времена был изможденным. Говорил он раздумчиво, с мягкими интонациями. Распрощались. И буквально через перекресток я повстречал знакомую женщину, злобно и агрессивно она повела речь о родственниках и т. д. Мне показалось, что заработала пилка по керамике. Поневоле пришлось сравнивать.

Простое объяснение



«В подлинно фантастическом всегда оставляется внешняя, формальная возможность простого объяснения из обыкновенно всегдашней связи явлений, причем однако это объяснение окончательно лишается внутренней вероятности. Все отдельные подробности должны иметь повседневный характер, и лишь связь целого должна указывать на иную причинность». Вл. Соловьев в предисловии к «Упырю» А.К. Толстого.

«Превращение» Кафки? Простое объяснение? Белая горячка.

«Ничего не определять, ни с чем не соглашаться», лозунг скептиков времен заката философии в Греции, 3 в. до н. э. Кажется, и у нас сейчас то же самое время суток, по крайней мере, в литературе. И воззвание скептиков выглядит очень симпатично. В самом деле, очертания всего размыты, все двоится и тонет в сумерках. А критики напоминают слепцов из суфийской притчи, которые пытались описать слона, и один говорил, что слон похож на колонну, другой — на удава и т.д. Хорошая притча. Только, возможно, у нас все еще хуже: во мгле действительно колонна, далее вторая, здесь — удав, а там окаменевшая сабля. И никакого слона нет и в помине. И самое печальное, что и не будет. Все ставшее преходяще (Шпенглер).

Осевое время литературы покинуло нас.

Но ведь это уже определение?!



...Ну да, и, значит, попытка атараксии (невозмутимости скептиков) не удалась.

Да она сразу обречена на провал, если ты об этом решил заговорить. Надо мгновенно умолкнуть. Увы. (Интересно, как же решали эту проблему скептики? Ведь о них мы ничего не должны были знать.



Ну или до нас могли бы дойти смутные сведения о каких-то философах-чудаках, впавших в групповое молчание в 3 в. до н. э.) И теперь уже приходится продолжить: так что же делать с теми, кто все-таки возводит эти колонны из подручного материала, всяких обломков? Как их поименовать? Покинутые. Или безумцы.



Источник одной эмоции

Источник эмоций может быть реальным, а может быть иллюзорным, но эмоции подлинны. Человек как устье различных источников, в нем смешиваются воды какого-либо верхнего болота у деревни Дудкино (откуда начинается Днепр) и кастальских ключей. Отверзаются уста и речь льется. Подлинная речь, порожденная эмоциями. Например, речь об ангелах. Или о том, как все подло и низко устроено. Уста человека как устье всех рек. Вообразить всемирную речь, Землю как устье, уста. Каковы всеобщие эмоции? Радость и боль, ненависть и восхищение. И можно ли назвать, услышать главное? Рискнем: это надежда, иллюзорная и подлинная в источниках,



но несомненная в устье, в устах. Надежда на счастье. Еще одна сильнейшая эмоция, связанная со временем. Именно во времени все дело. Поговорки не врут. А точнее — поэты. Мы счастливы, когда исчезает время. Оно исчезает не только в любви, но и в работе, во вдохновенном деле. Любой изумляется, оторвавшись от чего-то, захватившего его, при взгляде на часы: ого! В этом всегда радость. Она в преодолении времени. И надежда на то, что можно будет преодолеть его навсегда.

Счастье — это лакуна во времени. «Ниша света» (название одного суфийского сочинения), — вот лучший образ для этого. Вызывает ли этот образ предчувствие счастья? У меня — да. Чьи-то уста это сказали (Аль Газали, автор труда «Ниша света»). Источник этого ре-

чения Коран. Иллюзорен ли он? Конечно, нет. А источник Корана? Здесь достаточно сказать, что Ниша света как область, образ счастья наполняет эмоциями, подлинность коих несомненна.

Письмо

Только что получил письмо от Анатолия Онегова. Писатель, который был у нас с друзьями культовым в юности, тогда, правда, в ходу были другие определения: классный. У каждого есть свое Пятикнижие. Было и у нас: «Дерсу Узала», «Последний костер» Федосеева, «Подлеморье» Жигжитова, «Саджо и ее бобры», «Опустевшая хижина» Серой Совы, «Курс N by E» Рокуэлла Кента и «Я живу в Заонежской тайге» Онегова. Это книга северных красок, неспешных лесных дел, одиночества, встреч с таежными обитателями, книга, к которой можно было бы взять эпиграфом речение блаженного путника Сковороды об одиночестве: «О свобода! О наука!» Для нас это была наука смотреть, любить. Мы замышляли спереть эту книжку из юношеской библиотеки, чтобы брать ее в лес, не боясь повредить ей дождем, огнем костра. Но так и не решились. Зато подолгу держали дома, сдавали, а потом снова брали. Там были и несколько черно-белых фотографий: огарок свечи на окне зимовья, огонь в печи, рыба, сосны.

Прошлым летом случайно набрел на сайт, посвященный ему. Там был адрес. Написал. И уже и не ждал ответа, не переживая особенно: так и должно быть, разве культовые писатели отвечают на письма? И вдруг только что, полчаса назад получил короткое и теплое письмо. Оказывается, Анатолий Сергеевич жил все это время в деревне, а там нет интернета.

А теперь он есть. И у меня — письмо любимого писателя.



Очередная дорожная история Джармуша

Чтение В. Эрна о Сковороде, старце дорог, нечаянно совпало с просмотром «Предела контроля» Джармуша. Возможно, поэтому фильм не вызвал никакого недоумения. Эрн говорит о Сковороде, что у того не было другого языка, кроме символического, таков его дар. Таковы же язык и дар Джармуша. «Предел контроля» окончательно выявил природу его таланта.

А. Лосев в книге «Проблема символа и реалистическое искусство» выстраивает следующую иерархию понятий: аллегория, метафора, знак, символ. Тройка Гоголя — это символ. Вишневый сад — символ. В символе должно быть обобщение, выводящее за пределы вещи. Символ открывает бесконечную смысловую перспективу. И он указывает на нечто такое, чем сам не является. Например, почитание камня как бога. Ну, аллегория, это ясно: басни Крылова. Ослы, соловьи, обезьяны — аллегории глупости, хитрости. Метафора: заря догорает. Знак — в какой-то мере символ или его зародыш. В символе дано «живое отражение действительности».

Вот оно: киллер отправляется на задание. И выполняет его. Вполне заурядная история.

Но между этими двумя событиями — странные дорожные встречи с музыкантами, артистами, направляющими героя, разглядывание картин в музеях, езда в поезде, из окон которого открываются невероятные пейзажи. Бесконечные переходы, гостиницы, лестницы. Молчание. Герой почти не говорит со своими партнерами. И весь фильм помалкивает. Но создается впечатление, что говорит и очень много. Его ходьба, жесты, глаза, утренняя гимнастика в духе цигун, — весьма красноречивы. Только о чем эта речь? Лишь дважды он высказывается определенно: когда слушает фламенко и по его лицу блуждает улыбка, и когда говорит очередной связной, что он — ничей, сам по себе. Здесь — что ни сцена, то метафора, знак, аллегория. Например, голая девица, безуспешно пытающаяся соблазнить героя, — олицетворяет одно из главных препятствий пути: зов плоти. Смотрение картин в галереях — метафора все той же духовной гимнастики. Вечно барражирующий над крышами вертолет — уже, пожалуй, знак всевидящего ока. Герой всегда заказывает две чашечки эспрессо, это не только сигнал для связных, но и что-то еще, возможно, намек на двойственный характер героя: он прежде всего киллер, т. е. тот, кто убивает тело, плоть, но и явно духовный воин, который должен сокрушить и дух врага. Ну, коробки спичек, которыми обмениваются персонажи на протяжении всего фильма, дают россыпь ассоциаций. Тут и взрывоопасность всей затеи, и горючий дух неповиновения, всегда тлеющий в человеке, и реминисценции на прежние работы мастера, на того же «Мертвеца», где пос-

тоянно фигурировал табак, и даже мифологические аллюзии — прометеевские, может быть.



Да, «Мертвец» тут вспоминается прежде всего из-за отголосков гитарных волн Янга. Но это чисто внешнее совпадение. А есть и более глубокая перекличка. В какой-то момент вдруг ловишь себя на мысли, что это инкарнация Блейка, Блейк, действительно соответствующий своему имени: цветом кожи и родом занятия. Речь только о Блейке из «Мертвеца», исторического не будем трогать. И если Блейк-Мертвец совершал свое путешествие по горизонтали, к океану ничто, то новый «Блейк» предпринимает восхождение. Во-первых, он духовно упорнее. Эпизоды концентрации усиливают это впечатление. Во-вторых, картины за окном поезда столь ярки и пронзительно красивы, а купе залиты таким светом, что неизбежно появляется привкус чего-то неземного, космического. Ну и, наконец, в финальных сценах герой уже просто едет по каменистым дорогам в горы.

Перед ним хорошо охраняемая резиденция.

Внезапно он оказывается в святая святых ее, в комнате с тем, кого он должен убрать. Происходит странный разговор. Герой заявляет, что проник сюда силой воображения. Пожилой господин раздраженно бросает: вы там, люди, думаете... и т.д. В таком случае, кто же он?

Герой душит его. Разумеется, не какой-то там веревкой, а — гитарной струной. На этой гитаре исполняли фламенко. Трюизм — фламенко — душа испанцев. Метафора напрашивается сама собой.

А все вместе — знаки, аллегории, метафоры — является несомненным символом, точно по Лосеву: открывается бесконечная перспектива интерпретаций. И предел контроля — все рассчитывающего разума — преодолевается.

Попытка

Вчера утром на пруду в центре города произошло чрезвычайное происшествие: лебедь, долженствующий служить украшением парку, внезапно стряхнул с себя дрему почетного плена, расправил крылья, рванулся из воды и поднялся в воздух. Можно только вообразить его чувства. Опьяненный, он сделал круг над близким стадионом и направился прочь, оставляя внизу служителей с разинутыми ртами.



Выяснилось, что летом обоим белым лебедям делали плановую подрезку крыльев. Следующую намеревались произвести в октябре. Но, видимо, тоска пленника по небу и каким-нибудь северным чистым озерам, пошла буквально в рост, перья отрасли быстрее. И лебедь совершил дерзкий побег — теперь уже не на север, а в обратную сторону, куда-нибудь в Южную Азию. Лебеди путешествуют тропой солнца, — говорит «Дхаммапада», добавляя, что мудрые уходят из мира, победив Мару с его воинством. Не знаю, точно ли смоленский лебедь нашел тропу солнца, но явно успел испытать радость.

А вот его подруга утром выглядела опечаленной.

Нил Янг, канадец с лицом индейца или пирата, отшельник, предпочитающий сочинять музыку у костра на своем ранчо. Я его напрочь забыл. После «Мертвеца» Джима Джармуша, музыку к которому сочинил Янг, дочь привезла мне кучу его альбомов («Мертвеца» она же подарила на день рождения). Меня воодушевили все его альбомы, записанные в стиле жесткого рока и фолка, кантри. А одна песня тут же перенесла во двор детства, там возле каких-то мастерских, где маячили механики в замасленных спецовках, художники-оформители и дебелые тетки в рабочих халатах — что они там производили, неизвестно, заведение носило название шарашкиной конторы, и когда они расходились, за ними тянулось крепкое амбрэ,



— росли перестарки-вишни, под ними стоял стол, здесь по вечерам собирались взрослые ребята, те, кто уже учился в институтах, готовился в армию и мы, мелкота; нас почему-то не гоняли; и это и были наши университеты, здесь мы черпали массу информации обо всем на свете. Кто-нибудь приносил «ВЭФ», громоздкий транзисторный приемник, слушали исключительно «Голос Америки» — сквозь лай и треск. Всякие песни, битлов, роллингов, и часто одно время передавали вот эту вещь, «Heart of Gold» из альбома 1972 года «Harvest». Она была в Америке очень популярна, хотя сам Янг этому не особо радовался, песня гладкая. Но что ж, этой песни из прошлого не выдернешь, как старые вишни, чей и след уже простыл. А двор на месте, но там сейчас звучат другие песни.

Известен интерес Ван Гога к Японии. Он восхищался средневековыми гравюрами, но, кажется, ничего не знал о верованиях этой страны. По крайней мере, о дзэн. На Запад еще не пришел Бодхихарма Японии — Судзуки. Но, сравнивая «Едоков картофеля» с «Натюрмортом с цветами в бронзовой вазе», например, можно подумать, что этот художник, став адептом дзен-буддизма, пережил миг просветления, сатори. Ну или мы, просвещенные Судзуки, можем воспринимать это именно так. И, соприкасаясь с творчеством Ван Гога, переживать нечто подобное... Нет, конечно, но получать наглядное представление об этом странном явлении: сатори. И далее



следовать — из Парижа — в Арль и Овер за монахом чистых красок и капитаном солнечно-звездных стихий и видеть мир таким, каков он есть: космическим. Солярными знаками помечены все картины художника французского периода, будь то цветы, книга на столике, подсолнухи, трубка или портрет почтальона. Дыхание огненных пространств особенно ощутимо в «Звездной ночи», «Хлебном поле», «Красных виноградниках». Загородная прогулка оборачивается странствием среди бездн, сельхозработы — демиургическим действом, созерцание цветущего деревца — вИдением тайн. И если все это покажется нам преувеличенным, слишком ярким, необыкновенным, неправдоподобным, то не будет ли это означать, что мы разучились видеть и выбрали участь прозябающих картофельной мгле?

«У тебя есть сомнения — просто смотри
на сентябрь, взгляни на октябрь!»

(из «Дзэнрин Кушу», средневековой японской антологии)

Монгольские святки 13 века

«Тогда, — пишет Рубрук, фламандский монах и французский посол к Батыю, — войдя в дом, они пересказали мои слова государю, и ему это понравилось; нас поставили перед дверью дома, подняв войлок, висевший перед дверью, и, так как это было на Святках, мы начали петь: «От края востока солнечного и до пределов земли мы воспоем владыку Христа, родившегося от Девы Марии».

И стих здесь резонирует с пространством невероятным образом, мощно поет.

Бакланов

В день смерти Григория Яковлевича пошел в церковь зажег свечу.

Разве забудешь телеграмму из «Знамени»: рассказ бакланову понравился приезжайте он хочет видеть?

Меня ударила бессонница. В те дни бросал курить — закурил. До намеченного срока оставалось время, пошел в библиотеку за его книгами. Военную советскую литературу я просто не знал и не хотел знать. Читал Хемингуэя, Ремарка, ну, обычный набор. «Пядь земли» Бакланова помню до сих пор: резкий запах пороха, вкус соли, крови, нестерпимое солнце. Книга оказалась неожиданно подлинной. Тогда я и за книги Василя Быкова взялся, Казакевича, Некрасова. Бакланов открыл мне советскую, а точнее все-таки позднерусскую военную прозу.

Открыл и двери журнала.

Со мной в «Знамени» нянчились, Григорий Яковлевич пропагандировал у нас и за бугром мои опусы. Думаю, тут дело и в особой воинской солидарности: мне пришлось служить в артбатарее.

Бакланов был солдат, офицер, даже в преклонные лета в нем оставалась выправка. «Знамя», конечно, — это Бакланов. Об этом уже писали и еще будут писать.

В последнем интервью Григорий Яковлевич снова поминал автора этих строк, опубликовано интервью было уже после смерти... Как будто получил последнюю телеграмму.

Смерть



Прозрение поэта после похорон: «Вернулся я домой, и вымыл руки,/ И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,/ Проникшем в комнату из-за окна,/ И в сумерках, нависших как в предгрозье,/ Без всякого бессмертья, в грубой прозе/ И наготе стояла смерть одна». А. Тарковский.

И всегда так, и никогда иначе. Толпа утешительных иллюзий является потом.

Снегирь о Бахе

Скоро день рождения Баха, вдруг напомнил мне один персонаж личной мифологии, но и вполне реальный снегирь, сидевший на черной вишне над проломленным забором дачного поселка еще советских времен, что рядом с нашим окраинным панельным домом, напомнил, когда я прохаживался там сегодня вечером, сухим, морозным и ясным, с закатным солнцем на далеких девятиэтажках, напомнил: с тихой осторожностью в своей манере засвистел в стеклянную дудочку. Снегирь птица зимняя, но с песнями выбирается на деревья в марте.

«...звезды, что блещут на сводах высокого храма».



«И направился Йима к свету, к полудню, против нити солнца». «Ибо мы видели звезду Его на востоке...» «О вы, которые уверовали!.. Он — тот, который сделал вам из зеленого дерева огонь, и вот — вы от него зажигаете... Мы ведь украсили небо ближайшее украшением звезд...»



В Коране, как и в Библии, и в Типитаке, Авесте, Бхагавадгите, египетских и месопотамских гимнах, — всегда сквозь строки бьет свет звезд. Эти книги лучше любых астрономических выкладок свидетельствуют о беспредельности вселенной. И все новые книги хлам, если в них нет этого ощущения бесконечности, этого света. И вообще новых книг нет, есть только бесконечная Библия, бездонный Коран, мерцающая Авеста. Таков категорический императив утра.

Хармс

«Я в окно взглянул. О Боже!/ Там уж утро, а не ночь./ мне осталось только плюнуть/ и раздеться и в крАвать/ спать и спать и спать и думать...» Хармс и стихи писал как будто во сне. Он думал, когда спал. И спал, когда бодрствовал, то есть не он, а его герои. Весь мир увиден сквозь призму сна, и все, конечно, в высшей степени абсурдно. И быт приобретает черты бытия. Хаос дышит в углах коммунальных квартир. Чем-то это вдруг напомнило опыты Хаксли. Интересно, расширял ли Хармс горизонты этим же методом? Или его опыт совершенно «чист»?

Мне кажется, у настоящего поэта «это» всегда в крови.

Философ-поэт

«Взгляните на цветы вечером, когда они закрываются один за другим на закате солнца. Вас охватывает какое-то жуткое чувство, таинственный страх перед этим слепым, полусонным, прикованным к земле существованием. Безмолвный лес, молчащие луга, неподвижные кусты и ветви, лишь ветер играет ими. Маленький же комар свободен, он танцует в предзакатных лучах, он летит куда захочет».

Что это? Лирическое отступление какого-то романиста в духе тургеневских стихотворений в прозе? Нет, это вступление, первый абзац «Заката Европы», второй том. Увлекательное чтение. Дар Шпенглера того же рода, что и дар Ницше: это были поэты-философы.

И какой яркий луч сразу бросает: в нем танцует свободное существо — комар. Философ поэтическим образом заставил прочув-

ствовать простую мысль о свободе. Он буквально ее измерил. От комара до человека. И от человека — в бесконечность.

Древнее знание

Откуда древним были известны пределы Земли? Откуда это чувство планеты? Вот в мусульманском предании, проистекающем из более древней, доисламской мифологии, говорится, что земля держится на роге быка, бык на рыбе, рыба на воде, вода на воздухе, воздух на влажности. Странно, почему жителям пустынь земля не представлялась бесконечной. Допустим, тут под боком Аравийское море,



Красное море, дальше Индийский океан, но на север — пустыни, плоскогорья, горы. До Северного Ледовитого океана они не добирались на своих верблюдах. И в кругосветки Синдбад не ходил.

Их и наши нравы

Пишут, что ирландцы забросали бутылками Guns N' Roses, опоздавших на два часа. Вашему корреспонденту сразу вспомнилось пятичасовое ожидание роллингов под сырым и холодным куполом неба в Лужниках. Конечно, мы пришли нарочно пораньше, боясь давки и т. д. Но опоздали они точно часа на три. И все это время мы сидели, потирая озябшие руки, озираясь на пестрый люд и взирая на небо, пересекаемое время от времени шаманскими воронами.

Потом появились музыканты, и никто не возмущался. Их ждали пару десятков лет и даже больше, что уж там какие-то часы. Старший брат вырезал из «Крокодила» (был такой юмористический журнал) фото певца с искаженным в крике бледным лицом, в расстегнутой или разорванной рубахе и приклеил на стенку. Журнал измывался над этим идолом. А фанаты радовались: фото кумира, да еще цветное. Это и был Джаггер. Вон он, один из четырех карликов, освещенных прожекторами, стягивающих к себе взгляды десятков тысяч (кажется, 40 тыс. пришли вместо запланированных 70). Ну и когда холодный воздух этого ристалища прорезала рыбой-пилой металлическая и хищная «Satisfaction», все встало на свои места: да, приехали, — а народ, наоборот, вскакивал со своих мест и выкидывал коленца. Мост в Вавилон был наведен. И забрасывали этих пришельцев цветами и какими-то тряпками, наверное, как обычно, в рок-н-ролле: нижним бельем. Психолог сказал бы: кратковременная психическая эпидемия. Всеми владело сознание, суженное до границ тела, — здесь: формой, вместившей десятки тысяч.

По окончании сцена осталась опустошенной, незашторенной, разоренной, вызывающей какие-то странные ассоциации.

Что вы хотели? Ведь это рок-н-ролл.

А ирландцы, говорят, вообще вспыльчивый народ. И пьют много. Мы, пожалуй, не меньше. Но привыкли все-таки ждать.

Кино древнее

Многое остается за кадром. Собирая материал для той или иной вещи, иногда прочитываешь массу сведений. А в итоге это проявляется в двух-трех эпизодах, в нескольких репликах.

Готовя один рассказ, мне пришлось прочесть и законспектировать: «Магию мозга» Бехтеревой, документы о карательной психиат-

рии, документальную повесть американки, страдавшей шизофренией; «Полет над гнездом кукушки» (фильм-то давно смотрел, до книги никак не мог добраться) + музыка Кейджа; «Путешествие на Запад» Чан Чуня; «Сокровенное сказание» монголов; записки посланника Папы Джованни дель Плано Карпини, побывавшего в монгольской ставке; записки о путешествии Рубрука в Монголию; еще одно «Путешествие на Запад» У Чэнь Эня, «Новые приключения царя обезьян» Дун Юэ...

Но, кроме того, что рассказ был написан (да и получил премию, на которую купил фотоаппарат), сбор этих материалов подарил мне удивление и радость миропознания.

Вот — «Путешествие на Запад» Чан Чуня разве не удивительно?

Это путешествие — настоящее кино. Странно, что до сих пор никто его не снял. История такая: 72-летний даосский монах Чан Чунь получает письмо от владыки вселенной — Чингисхана, предлагающего ему приехать в ставку под Самаркандом. Монах думает и соглашается. И отправляется в путь. Его сподвижники ведут записи. Цитата: «Затем мы поднялись на высокий хребет, имевший вид длинной радуги; отвес его был на 1000 саженей; смотреть в глубину, вниз на озеро, было страшно».

Старец во время путешествия писал стихи. В повествовании они как верстовые столбы. Он пишет однажды: «...путешествуя 10000 ли, я неохотно открываю уста; но дошед сюда, пою громко, не могши удержать чувств». Понравились старику Семсыганьские горы.

Далее проехав, они провели ночь под шелковичным деревом, которое тенью своей могло прикрыть до ста человек.

Монах шел в монгольскую ставку в Самарканд, напомню. Надвигалась зима, переправу через крупную реку уничтожили мятежники, и даос принял предложение правителя этой области остановиться на зиму в городе.

В очередном стихотворении он говорит: «...В осенние дни за городом пасут еще слонов,/ летние облака не дают дождя, вопреки Дракону. Есть/ прекрасные овощи, пшеничная каша, виноградное вино...»

Он видел в пути, как яростные волны озера выбрасывали на берег крупных рыб, как затмевалось солнце, видел старика, заставлявшего корову вращать приспособление для подъема воды, — этого водопроводчика Чингисхан, удивленный его трудом, освободил от податей и налогов.

Старец сетовал на свою славу: «...напрасна слава моя; напрасно она/ распространилась в северных странах и сделала то,/ что из великого царства пришло ко мне светлое повеление, и/ я под ветром и песками прошел 10000 ли до/ отдаленных краев».

Но он и не так плохо проводил время, добираясь до лагеря владыки мира.

Прошла зима: «В 2-й луне 2-го числа, в весеннее равноденствие цветы с абрикосовых дерев уже опадали. Астроном Пань Лигун и другие просили учителя прогуляться с нами за город, на запад. К нам присоединились посланец с другими чиновниками, взяв с собою виноградного вина; в этот день небо было ясно, воздух чист; цветы и деревья в свежести. Повсюду попадались нам террасы, озера, башни и палаты; а инде были и огороды; отдыхали мы на траве и все были веселы».



Почему-то в садах той местности не было птиц. Чан Чунь говорит, что эти сады превосходят китайские. Была у него и встреча с разбойниками, но те проводили даоса с почтением. Как-то ему подарили гусят, а он выпустил их в озеро.

Владыка вселенной тем временем воевал, ушел в поход в Индию, и старец потащился следом.

Наконец где-то в северном Афганистане они встретились.

Старец вошел в шатер.

Чингисхан на него смотрел.

Спросил, какое вечное снадобье он привез ему?

Дело в том, что Чингисхану было 64 года, а жить ему хотелось вечно. Ну или лет 200, как этот старец, ходил о нем такой слух.

И Чан Чунь сдержанно ответил, что нет у него такого снадобья, он знает только способ, как продержаться подольше.

Чингисхан рассмеялся. Откровенный ответ пришелся по душе испытанному вояке.

В лагере монголов даос провел некоторое время; ни в чем не знал нужды, но томился; Чингисхан вызывал его для бесед, проходив-

ших «за закрытыми дверями», прессу туда не приглашали, суть бесед осталась тайной.

Наступила жара, и монголы перенесли лагерь ближе к снежным горам. Чингисхан охотился. Однажды свалился с лошади, преследуя вепря. Зверь его не посмел тронуть. Стоял, поводя боками, чухал злобно.

Старец сказал, что это знак, надо быть внимательнее к велениям неба.

А Чингисхан, небось, думал: проклятая старость — вот что это. И внимал новым наставлениям. Как с помощью дао продлить этот путь.

Даос просился назад.

«Подожди еще немного», — удерживал его властитель.

И наступил день, когда он его отпустил. Спрашивал, какие титулы, сколько коров и золота готов старец принять. Тот отвечал, что и впредь будет довольствоваться прозвищем Горного дикаря, и ничего ему больше не надо.

Они простились, путники двинулись вспять.

Три года длилось это странствие.

Через некоторое время Чингисхан прислал старику письмо: «Власти в Сюаньдэфу хорошо ли принимали тебя? Нашел ли ты [нужных] людей?

Вполне ли ты сам здоров? Я здесь постоянно думаю о тебе, Божественном и Бессмертном. Я не забыл тебя, не забывай и ты меня».

А старик проводил свои последние дни в беседах с учениками, устраивал моления о дожде и писал стихи:

> «В западных горах воздух свеж и чист; после дождя облака легки; посетители сидят в роще; без мысли, Дао само собой совершается».

И дао свершилось, старец умер в 80 лет, на шесть дней опередив Чингисхана. Властитель, отнявший тысячи жизней, последовал за ним, и никакая практика не спасла его. А империя — рухнула очень скоро.

«Мне сказали, что познавший свою мать порочил меня»[1]

Это отклик древнеарабского поэта Башшара на критику. У древних арабов поэтов задабривали всячески, лишь бы те не запечатлели кого-либо в неприглядном свете. У нас все перевернулось вверх дном: критики полагают, что задабривать надо их. Но напрасно критики расслабляются. Пелевин вспомнил о древнеарабском опыте: утопил критика в сортире.

Беднячок

Подарили зятю видео концерта Летова, ну и сами посмотрели, послушали. Персонаж показался любопытным. Сразу ассоциация с беднячками Ассизского. Вроде бы ничего артистического, прост и как будто нелюдим. Почувствовалась вдруг даже крестьянская жилка. Ну, странный рокер, да еще панк, говорят. И начал я за ним наблюдать, взялся слушать другие альбомы. Странное соединение детскости и жестокого взрослого опыта. Песенки его создают некий мир мечты и боли, и в этом мире можно жить только надрывно и — агрессивно. Узнал из одного интервью, что он считает себя эко-анархистом, и купил все альбомы. Ранние песни — подростковый психоз, явная перекличка с Науменко, «Кино» да и с БГ.

Слушаю альбом «Прыг-скок». Распев «Ходит дурачок по миру» задает тон всему альбому. «Песня мишутки» — интонации, с которыми проговариваются-пропеваются строчки, — это интонации старика, пустынника, просидевшего на скале много лун и дождей. А ему было 26.

Слушаю другие альбомы и понимаю, что это разведчик междумирия: на полосе между жизнью и смертью. В нем мало любви. Близость к смерти дает умудренность. Летов — Старый Ребенок. Но если его тезка — Лао Цзы был добр, Летов — злой ребенок. Удивительно, как ему удавалось долго рулить в бессознательном, возвращаясь оттуда с добычей.

Иногда кажется, что Летов изо всех сил старался не быть Гребенщиковым. Гребенщиков, кстати, хорош, добр, тепел, но лукав. Ребенком его никак не назовешь.

---

[1] Башшар (696-783 гг.).

Летов простец рок-н-ролла. Юродивый, рядом с которым все важняки рока выглядят голыми обрюзгшими королями с заплывшими глазками. Его музыка, стихи живили этот жанр. И когда он умер, строчка Гребенщикова о кончине рок-н-ролла наполнилась смыслом.

Рождение героев из духа музыки

«Невыносимая легкость бытия» из одноименного альбома — пантеистическое рок-полотно экологического анархиста, как называл себя Егор Летов. Услышав эту вещь, я дал одному из героев романа



«Иван-чай-сутра» имя Егор, он стал рыжим, отпустил бородку; учась в Питере, решил сочинять музыку, но был призван в армию и пропал без вести в Чечне. А рассказ «Легкий поток» основан на некоторых фактах из биографии Егора Летова.

Отражения

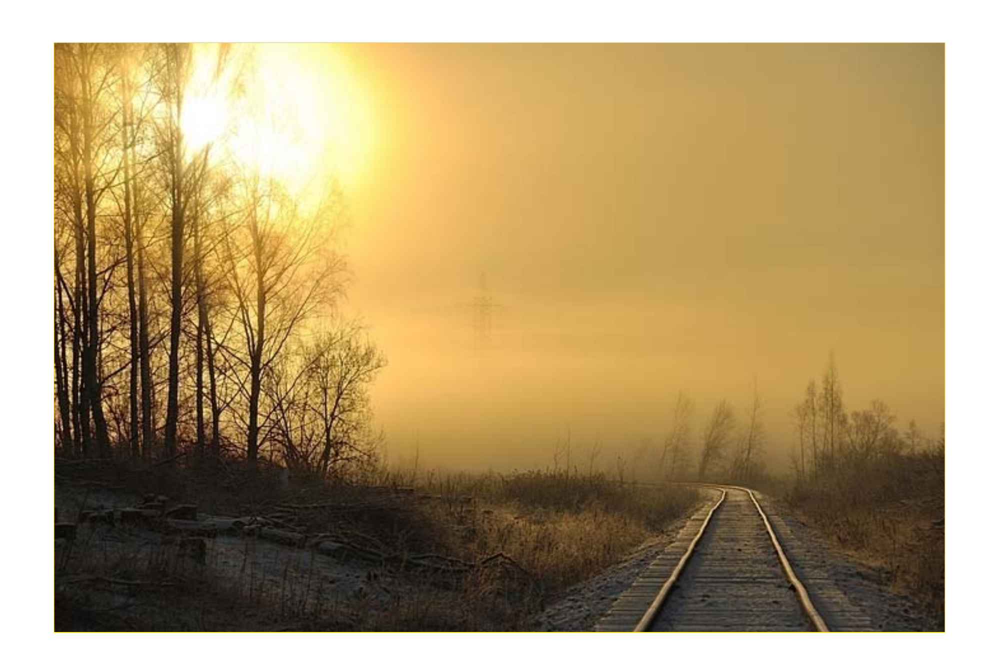
Одиночество юности какое-то скудное, в нем тоска, почти скука. Я его не люблю. Маета. Одиночество и молчание зрелых лет уже другое, многообразное и целительное. В юности ты слишком интересен сам себе и поэтому остро нуждаешься в другом, чтобы отражаться в нем, себя видеть. В зрелые годы ищешь других отражений. Каких? Возможно, мира в себе. И чего-то большего.



Настоящее путешествие

Настоящее путешествие возможно было в давние времена: это путешествие за книгами. Вот, например, китайский монах Сюаньцзан в 7 веке увидел сон и отправился в Индию за священными текстами. Ходил семнадцать лет. Побывал в Бамиане, в Лумбини (родина Будды). Вернулся, нагруженный книгами, да еще и свою написал. А все остальное — туризм голимый, ходи, зевай, ешь пирожные.

По ту сторону зари



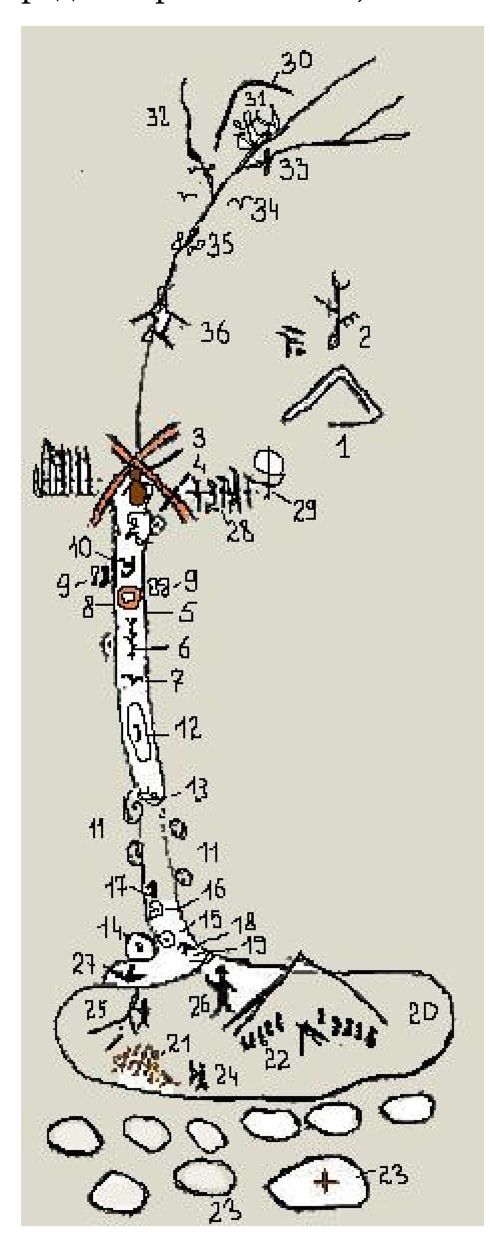
Когда пишешь что-то, слышишь музыку вещи. Я знаю литераторов, которые вообще сочиняют в наушниках — Дмитрий Бавильский под Баха. Бывает и так, что какая-то музыкальная композиция подталкивает к написанию той или иной вещи. Или, по крайней мере, наполняет своим духом рассказ. У меня так получилось с «Interstellar Overdrive» Пинк Флойд из альбома «Волынщик у ворот зари». На этом Межзвездном Ускорителе, так переводится название, я написал рассказ «Сон Рахматуллы». Вряд ли кто-то обратил на это внимание. А для меня в этой музыке свершается все, что случилось с героем, попавшим в плен и исчезнувшим в мареве чужой истории навсегда.

Путешествие с «Мертвецом» продолжается

Продолжая свои эвенкийские изыскания, наткнулся на карту шаманского путешествия в книге Анисимова «Религия эвенков».

Читая примечания и комментарии к ней, вдруг вспомнил — да ведь у Джармуша было то же самое. Здесь шаман из чума мертвеца (1) провожает на плоту по родовой реке умершего: начинается путешествие в точке (3) — и дальше вниз до земли (20), где находится

поселение мертвецов-сородичей. У них там общее жилье. Женщины (22) занимаются домашними делами, а мужчины (21) промышляют зверя, строят ловушку для рыбы (25). Это все мертвецы. Здесь устье родовой реки. Так вот, все это очень сильно напоминает деревню, в



которую прибыли бедняга Блейк и его доблестный проводник Никто. Ведь странная там была деревня? И индейцы выглядели странно: упитанные, довольные. Эта деревня казалась странно знакомой и вызывала тревожные неясные чувства. На то и архетип. Может, в этом рисунке разгадка фильма.

Да, а выше (3), выше тайменей-охранителей (35) находятся истоки родовой реки и обиталище нерожденных — омирук; оми — души эвенков, представлявшиеся ими в виде птиц, синиц или таких же мелких, одна из них изображена (36). Это душа, ускользнувшая от демона, она вот-вот достигнет долгожданной обители — омирук, где пасутся на сочных пастбищах упитанные олени и синеет тайга небесной земли. И, может быть, высекает на скале своих богов и демонов Уильям Блейк, эвенк.

Так вот Блейк был убит сразу. И Никто сопровождал его в нижний мир. Эвенки считали, что у человека три души. Одна из них бэен — телесная, совпадающая с телом и потому практически незаметная при жизни. Шаман по родовой реке везет именно бэен в селение мертвых, где мертвецы пребывают в общем доме. По пути он преодолевает различные препятствия. Бэен доставлена, что дальше? А вот тут хозяин земли мертвых узнает, что у бэен отсутствует двойник — ханян. Ханян — вторая душа эвенка, которая сразу после смерти устремляется в эвенкийские райские кущи — омирук. И хозяин мертвых за ней отправляется. Хватает ее, но по пути назад душа, превратившись в птицу, ускользает. Хозяин мертвых посылает за ней своих гонцов-духов: утку-гоголя, дух лиственницы и т.д.

Джармуш, похоже, совместил оба этапа: сопровождение телесной души и поимку второй души духами. Хозяином земли мертвых тогда оказывается босс с сигарой, отец застреленного молодчика. Ну, а троица ловцов — духи-помощники.

В эвенкийском сюжете душа благополучно уходит от погони, снова оказывается в истоке великой родовой реки, чтобы уже оттуда устремиться в средний мир, в дымовое отверстие чума — и превратиться в новорожденного эвенка.

У Джармуша этим истоком и метафорой омирук оказывается океан.

И когда узнаешь это, трагический финал приобретает другое звучание.

Расщепление света

«Расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей» — говорят, так переводится название тувинской группы Хуун Хур Ту. Певец может выводить три мелодические линии. Музыка пространственная и медитативная, в сознании тут же возникает силуэт сидящего человека на горе, над которым кружатся птицы. Группа всемирно известная, во всех муз. энциклопедиях о ней написано, Фрэнк Заппа тувинцами восхищался, Кронос Квартет записывал с ними композиции и т. д.

В смоленских ларьках и магазинах я искал диски тувинцев. И научился без запинки произносить это название Хуун Хур Ту. У продавцов всегда расширялись зрачки, следовали просьбы повторить, иногда неоднократные. Я решил действовать издалека и в очередном магазине у миловидной девушки в больших очках спросил, есть ли у них фольклор. Глаза за стеклами очков расширились.

— Кого?

На этом я прекратил поиски, слушал в инете.

В 2009 году группа выпустила новый альбом «Eternal» совместно с американцем Кармен Риццо, по моему, эта встреча Запада и Азии запечатлена здесь без швов — вдохновенно и гармонично.

Ритм благодати

У индийского музыканта и философа Инайят Хана, жившего в конце позапрошлого и в начале прошлого веков, есть притча об ученике и учителе: учитель, вернувшись с прогулки, расточал похвалы городу и был радостен; ученик тут же предпринял свой поход по городу и вернулся раздосадованный и недоумевающий, он видел только грязь и всякую скверну; он выказал свою досаду учителю, и тот ответил так: ты двигался не в том ритме.



Слушая суфийские песнопения, всегда вспоминаю эту притчу. Эти люди пребывают в нужном ритме кружения солнца и звезд на внутреннем небосклоне. И дарят его слушателям. Как и исполнитель Нусрат Фатех Али Хан, известный пакистанский мастер каввали, суфийских песен.

Сибирь небесная

Прочитал два нимнгакана — сказания — эвенков. В чем-то они перекликаются с былинами, только вместо коней, напускающих озера, ломающих дубравы, здесь олени, скачущие тяжко, с грохотом и треском. А так все то же: красавицы с шелковыми косами и солнцами в глазах, богатыри, ловящие лося, как паука за лапки, и разрывающие его тут же; многодневные обильные пиры, сон от трех до тридцати суток; превращения в птиц, вбивание врага в землю. Но вот главное отличие — по крайней мере прочитанных сказаний — они вертикальны, тогда как русские былины горизонтальны. Эвенкийские богатыри опускаются в Нижний мир и поднимаются в Верхний, где берут себе в жены дочерей солнца.

Серебряный у эвенков любимый эпитет, символ красоты. Интересно, что не золото, которым полны были сибирские горы. «Серебряные лыжи», например, не из серебра, а просто красивы.

Любопытно описание рождения ребенка: его надо поймать. Эвенкийки рожали стоя, держась за перекладину. Повитухи помогали. Здесь тоже помогает бабка, выписанная из Верхнего мира, но младенец все же шлепается на подстилку из травы и пускается в бега, за ним гоняются по всему жилищу, бегают вокруг очага; наконец он готов уже выскочить вон, но тут на выходе появляется его отец-богатырь, хватает ребенка и крепко прижимает.

Эти сказания записывал в тетрадку последний из могикан — нимнгакан — Николай Гермогенович Трофимов, оленевод, при свечке, в палатке, уже будучи смертельно больным. Когда во время очередного приступа его доставили в Алдан в больницу, он умер на операционном столе; при нем была эта тетрадка с адресом ученых в Якутске.

Сказания оставляют ощущение свежести, высоты. Это путь по трем Сибирям — Сивирям на языке эвенков — снизу вверх — в Сибирь небесную.

Сон

Дом на косе синего моря, пустые комнаты, в последней девочка с русой косой и странно косящими, ренуаровскими глазами, две персидские кошки с огромными глазами.

Еще один

Белая нить прошила сандалии, она вилась дальше, опутывала ноги, это были мраморные ноги статуи, я шел по нити и уже решил ее разорвать, как вдруг увидел мальчика со смуглым, почти черным лицом лицом лицом, азиата. Он хитро, вызывающе ухмылялся. И я бросился на него. Но мальчишка ловко скрылся среди толпы на площади, это была торговая площадь какого-то южного города. Легко затеряться! И все-таки я выследил его. Он юркнул в проулок. Я свернул туда же и увидел, что это на самом деле девочка с густыми распущенными волосами. Она уходила среди узких стен. Так вот кто



прошил мои сандалии, понял я, и хотел было нагнать ее, но запнулся, стреноженный мыслью: не будет ли это выглядеть слишком двусмысленно? Девочка уходила, и я не мог настигнуть ее, как будто стал героем неизвестной апории Зенона.

Удивительные вести с Востока

В Китае «Хижина дяди Тома» получила название «Черный раб взывает к небу»; «Дон Кихот» — «Жизнеописание рыцаря-сатаны» (хорошо, что сам идальго уже не узнал об этом, но его почитателям и приверженцам не по себе, хоть отправляйся в Поднебесную за сатисфакцией); а вот «Путешествие Гулливера» звучит заманчиво: «Записки о павильонах и лабиринтах за морем» — воображение сразу устремляется туда, название сулит тайны и открытия.

В Японии «Капитанская дочка» получила следующее оригинальное название: «Сердце цветка и думы бабочки. Удивительные вести из России». Думы бабочки, положим, и хороши. Но сердце цветка нам уже не понятно. Кто цветок-то? Гринев, что ли?

Но посмотрите, что сделали с «Войной и миром» — «Плач цветов и скорбящие ивы, последний прах кровавых битв в Северной Европе». Можно подумать, это что-то вроде «Старшей Эдды». И сразу чувствуется отдаленный взгляд.

Зима как симфония

Зима, старая ключница, заперла все дороги любителю дальних пеших прогулок, но есть еще другие ключи — вот в чем соль; щелчок — и все навесы спадают, духовое и медное воинство ломится, лучники звенят тетивой, и пространство свободно, дрожит горизонтами.





Но вот идешь на почту вечером — и никаких ключей уже не надо, выси громоздятся звездами.





Зимой космос ближе. И жизнь сильней.

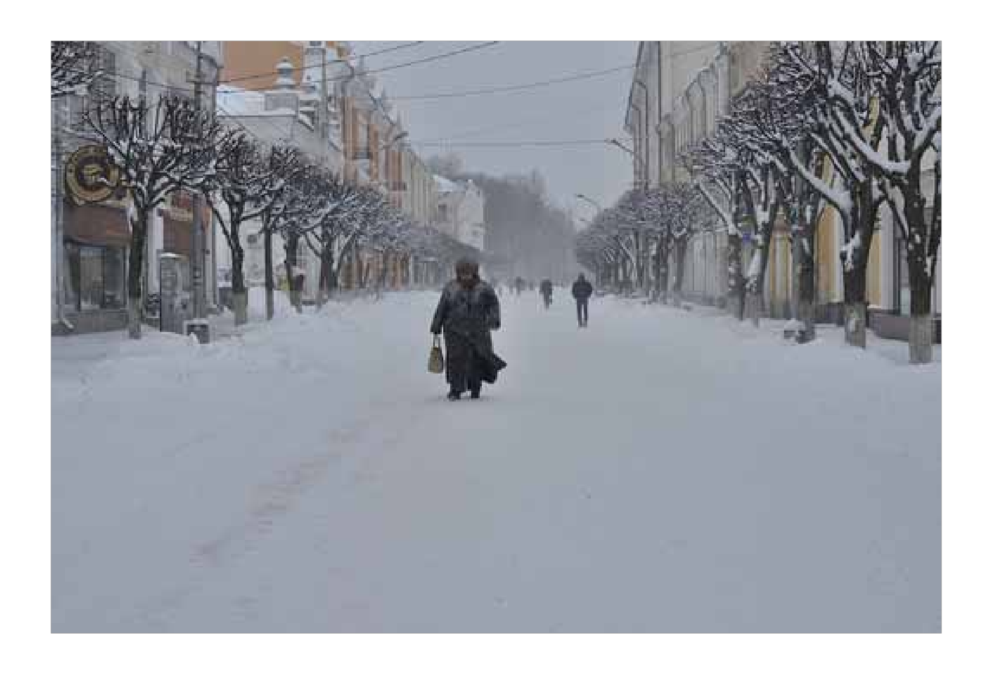




Легко представить Землю. И, конечно, смерть. Она рядом, за оболочкой скафандра.

Первая часть зимы — сумбур вместо музыки, прерывистое дыхание.

Вторая — мощно раскатиста.



Третья — горит февральской флорентийской синевой, сияет световыми полями, вены под снегом взбухают.



И кода: дребезжание оконного стекла, бормотание.

Фанатик знает

Пассаж Ницше в «Утренней заре» о фанатиках вдруг бросает резкий свет на недавние события: «Фанатик... знает отрицаемое так же хорошо, как самого себя, по той простой причине, что он вышел оттуда, там его дом, втайне он постоянно боится вернуться туда, именно своим отрицанием он хочет сделать возвращение невозможным». Кавказ и азиатские республики — тени СССР: авторитаризм там жив и ярок. Плюс бедность. Наши фанатики слишком молоды, чтобы знать советский морок? Ну, призрак бедности бродит и по московским дворам; авторитаризм то и дело являет себя во плоти, скалится улыбкой; и отцы доходчиво объясняют недавнее прошлое.

Да зачем далеко ходить. Стоит сесть в электричку и заехать в какой-нибудь углубленный районный городишко — и это будет путешествием во времени, назад.

Фанатик хочет жить только будущим.

В лесу людей

В Москве на эскалаторе пришла простая мысль: свободным можно быть именно здесь или в безмолвном лесу, как называли отцы-пустынники места своего уединения. Наверное, жителям столицы эта мысль покажется странной, — это они-то свободны? замотанные скоростями, ценами, гонкой, платежами, — но мне, нищему литератору, выбравшемуся на пару дней из своего Старого города, это было очевидно. И вспомнилось, что созерцатели прошлых столетий пребывание в большом городе называли большим уединением, а в лесной хижине или горной пещере — малым. Поначалу мне казалось, что они имеют в виду только большие трудности: попробуй практиковать безмолвие в Багдаде или Царьграде. Но в Москве на эскалаторе, в потоке лиц и шуме электропоездов мне неожиданно открылся иной смысл умозаключений древних: в этом водовороте ты просто незаметен. Людей, самых разнообразных лиц, так много, что ты начинаешь чувствовать блаженную свободу. Ну, собственно, известное: в толпе легко затеряться. Но не только это. Среди людской пестроты, речей, жестов, улыбок ты чувствуешь, как та, что следует за тобой тенью, делается эфемерной. Бессмертие каждого таится в другом. Притяжение земли здесь ослабевает. А земля всегда напоминает нам о предках и смерти.

Много ли в Москве лиц иных градов и весей? Для азиатско-европейской столицы — мало, по крайней мере, в Париже их больше, да, наверное, и в других столицах, где я еще не бывал.

Вечернее солнце на московских крышах неизбежно наводит воспоминание о сверхгерое Булгакова, он навсегда застолбил место на вечерних крышах.

Тут же — лыко в строку — книжное. Дом книги — неприступная цитадель для скромного жителя Старого города. Я искал — давно уже — Пола Боулза, прочитал несколько рассказов в интернете, но больше ничего выудить не удалось. На мониторе набрал его имя, мне выдали номер полки, пошел, смотрю: есть! Роман «Дом паука», сборник рассказов и последний его роман, экранизированный Бертолуччи, «Вверху над миром». «Дом паука» — 360 р. Остальные — по 260. Дхармы мои взволновались. Нет, нет, решил я, перебирая драхмы, надо поискать место менее губительное для них, и вынырнул из сетей этого Дома. На улице мы с женой утолили жар мороженым и двинулись дальше.

«Библио-Глобус». Поразительно! Еще пару лет назад там была давка, как в сбербанке времен отмены нулей на дензнаках. А сейчас ничего подобного. Можно прогуливаться, как в краеведческом музее где-нибудь... да у нас в Старом городе. Или на выставке местной художницы-вышивальщицы. Пожалуйста, ходи, рассматривай раритеты,

можешь их даже потрогать, полистать, почитать даже страницу-другую. Вкрадчивый голос книжного диспетчера, так сказать, вещает о каких-то встречах с гуру столичного значения, о каких-то докторах, которые помогут вам избавиться от лишнего веса и т. д. И порою казалось, что мы где-то в медцентре. Нет, это был книжный. Диспетчер называл и каких-то поэтов и знаменитых писателей. К сожалению, мы о них ничего не слышали в своем Старом городе, а так бы непременно задержались в Москве, чтобы поглазеть на них и получить автограф... Был найден и Пол Боулз. Дороже, чем в Доме книги, на десятку. Ну, не возвращаться же? Я купил «Вверху над миром», книжку тоненькую, изданную в Твери тиражом 1 тысяча экз. Прочитаю — сообщу подробности.

В заключение мы постояли на шишке нашего скифско-гиперборейского мира — на брусчатке Кр. площади. И поехали в свое уединение среднего порядка, в Старый город.

Нет, что бы там ни говорил Лимонов с Гаспаровым, а в Москве есть свобода, по крайней мере — секундная, на эскалаторе. И если бы я перебрался в Москву, то проводил бы все время именно на этой колдовской лестнице, созерцая поток лиц, а-ля Сиддхартха-паромщик на великой реке. Ну, иногда заглядывал бы в Дом Паука прочесть пару страниц какой-нибудь умной книги. И в конце концов взрастил бы свой безмолвный лес.

...а столицы преходящи

Понимаю, что это как-то противоречит моей записи о Москве с ее раскованностью... Но всегда помню Пушкина, говорившего: Петербург — передняя, Москва — девичья, а деревня — кабинет. А вот Блока с его поганой, гугнивой чушкой подзабыл. Но свежие журналы напоминают. Чернильная братия любит, по моим наблюдениям, приводить эту цитату из письма Блока: «слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия <меня>, как чушка своего поросенка». С вариациями. Например, «поганая, гугнивая матушка-провинция». Ну, что сказать? У каждого свои предпочтения в выборе цитат. И своя провинция.

Но полезно было бы помнить, что преходящи не только империи, но и столицы.

Впервые Пол Боулз появился в России в 1985, в самиздатском тогда «Митином журнале» — в образе «Гиены». Так называется рассказ. То, что по ходу повествования происходит аватаризация (неологизм, от «аватара — в мифологии индуизма понятие, обозначающее феномен нисхождения божеств (Вишну, Шивы и др.) на землю и воплощения их как в людей, так и в других смертных существ») рассказчика — сначала в аиста-простака, а затем в мудрую, хитрую и коварную гиену, заманивающую птицу в пещерку и там ее пожирающую, ясно как божий день. Любой писатель проделывает тот же трюк: ударяется о стол, монитор компьютера или что там перед ним, и оборачивается лебедем или красной девой, летит, рукавами машет.



Обычный шаманизм писательской повседневности. Шаману-писателю приходится воплощаться и в самых отъявленных мерзавцев, в смердяковых и иже с ними. Или вешать топор в петлю на отвороте пальто. Но аватаризация Пола Боулза в этом рассказе вызывает все-таки легкую оторопь. «Затем она сожрала то, что хотела сожрать и вышла на широкую плиту, прикрывавшую вход сверху. Там, под луной, постояв некоторое время, она выблевала то, что сожрала, а по-

сле, полизав блевотину, принялась кататься в ней, втирая ее в шкуру». В другом рассказе аватара писателя — змея, ужалившая ребенка. Эти образы столь суггестивны, что у читателя пробегает холодок по спине. Он и сам начинает видеть мир глазами змеи, вот в чем штука. Завет Льва Толстого о вчувствовании Пол Боулз исполняет виртуозно: он заражает нас своими аватарами. И впечатлительным натурам его рассказы лучше не читать. Гиены, явившиеся из миражей танжерского отшельника (в марроканском Танжере американец Боулз провел большую часть жизни), будут преследовать по ночам.

Но сейчас хотелось бы поделиться кое-какими соображениями по поводу романа, который сам автор считал лучшей своей вещью. Называется он «Вверху над миром».

Спешу успокоить. Здесь никаких гиен и змей и шокирующих подробностей. Размеренное повествование о путешествии семейной пары – доктора Тейлора Слейда и его жены Дэй в Центральную Америку, о плавании на корабле, знакомстве с пассажиркой миссис Рейнментл...

Ничего особенного. Чемоданы, кофе, пароходные гудки. «За окном утренний туман капал с одного бананового листа на другой». Правда, сразу возникает и какая-то раздражающая нота. Что-то неясное появляется в воздухе, некое дуновение. Это происходит незаметно; только потом, вернувшись к тексту, начинаешь понимать, что с первой же страницы автор подавал знаки: «Часы над буфетом тикали быстро и громко». Медлительные капли тумана и быстрый ход часов и создают тот зазор, в который проникает неприятная ледяная струйка дыхания неизвестного. « — Только не нервничай, — сказал он, зевая». В этой реплике — вся стратегия боулзовского письма. Текст зевает, а мы потихоньку начинаем нервничать. Это и создает нужный тонус, постоянно подпитываемый искрой, сверкающей между разными полюсами.

Итак, семейная пара совершает турпоездку в Панаму. По пути знакомится с неприятной миссис Рейнментл: широкий лоб, блестевший от пота, спутанные волосы, свободный серый шелковый костюм. У канадки какие-то проблемы с денежными переводами, супруга доктора Тейлора одалживает ей незначительную сумму. Доктору это не нравится. Канадка ему несимпатична. В довершение ко всему в захудалой гостинице городка, куда причалил пароход, ему приходится уступить свою кровать и перейти в номер этой навязчивой дамы, потому что в номере не запирается дверь, это даже не полноценный номер, а, скорее чулан... Эта маленькая деталь сразу нам что-то напоминает, верно? Бесконечные гостиничные номера Кафки, в которых теснятся постояльцы, и засыпают просители в ногах у чиновников из Канцелярии, — ведущих прием, лежа в постели. Вспоминается и учитель из того же «Замка», вынужденный жить в спортивном зале школы с семьей. Кстати, не поверите, но ситуация не

такая уж абсурдная. Мне подобную историю рассказывала жена об учителе физкультуры из ее школы: когда взбалмошная хозяйка вынудила его в аварийном порядке съехать с квартиры с ребенком и женой, он некоторое время жил в малом спортивном зале. Вообще, России Кафка был нужнее.

Зачем понадобился Кафка Боулзу? Это тоже один из зазоров, уже готовых, находящихся вечно в сознании культурного читателя. Он зияет в сером ленивом мире, так почему же и его не включить в опись? Не помешает.

Доктор Слейд вынужден провести ночь в чулане, оставив жену вдвоем с канадкой. В наше обнаженное – Фрейдом и братьями Люмьер — время этот простой факт не сразу можно зафиксировать безобидным предложением. Слейд вынужден ночевать в чулане, а канадка спит в номере с его женой... ночует с женой... то есть... В общем, смутные подозрения возникают у читателя и здесь. Хотя автор, как будто и не дает повода. Или так кажется? Да, опасения были смешны. Ничего такого. Лишь беспокойные сны у всех путешественников.

Рано утром супруги собрались, стараясь не разбудить миссис Рейнтментл, лежавшую на кровати под сеткой от москитов, и отправились дальше, вглубь страны, — во все увеличивающийся зазор. Да? Почему это нам почудилось? Нас тревожит то, что увидела утром жена доктора: «Миссис Рейнментл по-прежнему лежала в неудобной позе под сеткой, и одна ее большая нога свисала над краем». К тому же глаза ее были открыты. Но когда чуть позже, выйдя из номера, миссис Слейд попыталась восстановить картинку, ей представилось, что глаза канадки все же были закрыты. «Но затем ей пришла на ум хромолитография Иисуса, на которой смеженные веки внезапно раскрывались, и глаза смотрели прямо на зрителя».

И мы уносим этот взгляд дальше.

Чета прибывает в столицу, где знакомится с неким скучающим богатым бездельником по имени Сото; он приглашает их на ужин. От продавца газет мы вместе с миссис Слейд узнаем, что это отпрыск влиятельной семьи и у него какие-то проблемы с отцом. Доктору Слейду все это не очень-то нравится. Еще бы. Мистер Сото лощеный красавец, молод, а доктору уже под семьдесят; миссис Слейд много моложе... Но делать нечего, приглашение принято. «В долине поднялся вечерний ветер, приправленный ароматом хвои. Они поежились и начали быстро спускаться с холма; на выходе из парка поймали такси». И читателю кажется, что сделали они это напрасно. Бедняга доктор, думаем мы и невольно поеживаемся.

В роскошном доме Сото обитает молодая женщина с сыном; женщина странноватая, дитя соцветия 60-х: свободной любви и марихуаны; она беспрестанно вертит толстые грифы и смолит их. Она хотела бы уехать в Париж к матери, но у нее нет денег, и вообще... Лючита, так ее зовут, родилась в Гаване, волею судьбы оказалась здесь,

в Панаме, на содержании у мистера Сото. Натура творческая: показывает свои картинки, врет что-то по поводу их реализации, будто бы кто-то закупил у нее полсотни штук. Сото держит кубинку на коротком поводке, ее сыночку запрещено появляться в зале и спальне, он обретается где-то на задворках. Да, странный дом, непросты отношения его обитателей. Поблизости маячит друг или скорее компаньон Сото — Торни. Впрочем, в каком деле компаньон, непонятно. Лючита испытывает к нему отвращение. И в этот мир являются гости, американская чета Слейдов. Жене доктора Лючита неприятна. Доктору Тейлору мистер Сото кажется пошловатым. Им явно здесь не по себе, но... они остаются не только на ужин, а и на всю жизнь. Она не будет такой уж длинной.

Здесь надлежит вроде бы остановиться. И решить вопрос, рассказывать ли дальше? Вопрос не так прост. Пол Боулз в России почти неизвестен, несмотря на экранизацию Бертолуччи другого его романа «Под покровом небес». Роман, в мир которого мы пытаемся сейчас проникнуть, издан просто нелепым тиражом для писателя такого дарования. Каким? Не поверите: 1000 экз. И купил я его в «Библио-лобусе» этим летом. А выпущен он три года назад. И все-таки есть надежда, что роман еще будут читать. И вот я думаю, вряд ли радовались читатели, ну, например, Сименона или Конан Дойла, когда ушлый писака открывал им все карты «Цены головы» или «Пестрой ленты» — до того, как они эти вещи прочли? Да нет, двух мнений быть не может. Если обозреваемая вещь проходит по ведомству детектива, надо уметь вовремя умолкнуть... А что, роман танжерского отшельника детектив? спросите вы. Ответ будет таким: большая часть написанного – точно не детектив. Но, увы, под конец приобретает черты такового. Что лично у меня вызывает чувство разочарования.

Нечто подобное испытываешь, прочитав роман Юзефовича «Журавли и карлики», великолепный, остроумный, живой, но в финале перепроявленный. Развязать все узлы, все объяснить и залить беспощадным светом, — без этой последней операции немыслим детектив. Двусмысленный финал автору не простит ни один читатель детектива. Это самоубийство детектива. Но Юзефович-то писал совсем не детектив? И этот детективный прием сильно вредит его прекрасному роману, затемняет чувство восхищения, почему я и говорю о перепроявлении. Парадоксально, но именно это происходит, когда фотограф передерживает снимок в проявителе: снимок чернеет. Хотя, казалось бы, должен растворяться в свете. Да, мы все узнаем, на все вопросы получены ответы, но почему-то при этом испытываешь разочарование и ответы кажутся слишком плоскими, недостаточными в своей избыточности. Мы остаемся с карликами фактов, а журавли тайны где-то в других небесах. Жаль! Мастерство детективщика пересилило чутье художника, свободного от всяких догм и приемов. И все-таки Юзефовича можно понять.

Но Пол Боулз никогда не писал детективов. В его романе «Вверху над миром» есть сюжетообразующее — для детектива — убийство; но сам факт убийства остается под вопросом до самой развязки; следствие ведется где-то на периферии текста, скорее, за текстом. Читателю взять на себя роль следователя мешают сомнения: а было ли преступление? Может, несчастный случай? (Уже можно сказать, что миссис Рейнментл, неуклюжая канадка, погибла при пожаре в гостинице, вспыхнувшем после того, как чета Слейдов отбыла). Но под конец начинается дюжий детектив: одурманенное тело летит в пропасть, бешеная ночная езда, голливудский револьвер на бедре, выстрел, женский вскрик; и узел раскручивается с энергией стальной пружины; все залито светом и объяснено... Все ли?

Нет, не все.

И так не бывает в перепроявленном мире детектива. Последнее соображение и перевешивает чашу читательских весов: нет, перед нами вовсе не детектив.

Ну и отлично, значит, продолжим наш рассказ.

Итак, доктор Тейлор и его молодая жена попадают в настоящие тенета, «дом паука» (так называется, кстати, один из предыдущих романов мастера), из столицы перемещаются в загородный дом, плавающий в пучине душного леса. Их перевозят туда одурманенными, ослабленными и сломленными якобы неизвестной болезнью. Эта болезнь кажется в высшей степени подозрительной! И, если они действительно подхватили лихорадку, сопровождаемую высокой температурой и галлюцинациями, почему же оказываются не в больнице, а в глуши? Хотя вроде бы некий врач осматривал их. Тем более странно! Но, как бы там ни было, а супруги Слейд попадают в загородный дом Сото. «Они проехали горный перевал. Воздух неожиданно стал жутко холодным». Туда же перемещаются Лючита со своими грифами (любопытное название для косяка, ассоциируется ли оно и на английском со стервятниками?) и Торни. В конце концов, становится понятно, что мистер Гроув Сото заманил американцев, опоив каким-то зельем, в эти джунгли. Зачем? Возникает две версии. Первая, элементарная: ему приглянулась миссис Слейд. Вторая — демоническая. Но для первой версии Гроув Сото слишком неоднозначен и — холоден. В нем есть что-то от рептилии. Нет, даже, пожалуй, не холоден, а прохладен, это точнее. В нем чувствуется, чувствуется сквознячок. Вторая версия более основательна. Сыночку богатых родителей скучновато вести размеренную жизнь. Богатство питает пороки. И о его пороке свидетельствует Лючита, превращенная им почти что уже в домашнее животное: рассуждающее, слушающее и доставляющее удовлетворение в постели. Мистеру Гроуву Сото, похоже, по душе ломать людей, да, как игрушки, пластилиновые куклы.

Обе версии так и будут существовать, переплетаясь причудливо на манер змеи и орла Заратустры, придуманного Ницше. Это имя

вспомнилось не столь уж случайно? Не владеют ли Гроувом Сото те же демоны? Демоны воли к власти? В любом случае, в нем клокочет энергия, ищет выхода некая темная сила. И при этом Гроув Сото прозябает на задворках судьбы.

Что это за человек?

В юности Гроув учился в крупнейшем и старейшем университете Канады по настоянию матери. Поступить туда он согласился после делового соглашения: она дарит ему «кадиллак», он сдает экзамены. Отец — супруги были разведены и обитали в разных странах — настаивал, чтобы Гроув приобретал практические навыки, управлял одной из гасьенд в Панаме. Но все-таки доводы матери в виде шикарного авто оказались убедительней. Да вот незадача, студент Гроув нечаянно разгрохал эту буржуйскую тачку и удрал, бросив учебу и не попрощавшись с родительницей. Из различных биографических деталей складывается портрет жертвы родительских амбиций и разногласий. Своей чрезмерной опекой они перепроявили его. И Гроув Сото стал темен.



Так вот, почему бы этому очередному скрытому неврастенику и латентному маньяку не удерживать несчастных американцев в своем паучьем гнезде среди лиан, индейских лачуг, болотистых испарений? Возможно, он злой экспериментатор, и хочет устроить наглядную дегуманизацию представителей самой продвинутой современной цивилизации — американской. Впрочем, политики в романе нет никакой.

Ну, и какая же из версий окажется верной?

Правильно, ни та и ни другая.

Победит третья, остающаяся в подсознании, с того момента, когда миссис Слейд последний раз взглянула на госпожу Рейнментл, лежавшую в неловкой позе под сеткой от москитов. Вот оно, финальное разочарование (все-таки еще не читавшим роман лучше в этом месте прелистнуть страницу) от эффекта перепроявления: Гроув Сото устранял свидетелей, каковыми считал американцев. А миссис Рейнментл приходилась ему матерью, ее-то и удушил простыней, пока миссис Слейд посапывала рядом в своей кровати, Торни. И, весь во власти демонов разыгрывающейся паранойи, мистер Сото заманил туристов в свое логово. Но поначалу он намеревался лишь очистить память доктора Тейлора и миссис Слейд с помощью различных препаратов, как магнитофонную ленту. Тут, к слову, конечно, узкое место романа. Как это возможно? Стереть не всю память, а лишь некоторый ее «участок»? Но поистине — человек существо проблематическое (Достоевский).

В документальном фильме Би-би-си «Время» показан человек, страдавший редкой болезнью: этот несчастный вел жизнь, к которой нас неустанно призывает реклама: жил настоящим. Он все забывал с невероятной скоростью, за десять или пятнадцать секунд. Ему что-то объясняли, ну, говорили, что дочь вышла замуж и уехала в Австралию, а спустя мгновенье снова об этом начинали рассказывать, и он изумлялся: как? она уехала?.. и т.д. Безнадежный случай. Даже пообедав, он не знал, что пообедал. Но вот что любопытно. Этот человек был музыкант, он подавал большие надежды. Так вот: ноты он помнил. И перед телекамерами играл на пианино. И еще: свою жену он всегда узнавал. В ослепшей безвидной памяти этого человека сохранились два островка зримых: музыка и жена. Ну, ну, не все столь сентиментально: бывшая жена. Судя по всему, она оставила его, боясь потеряться в этом бездонном настоящем. Поразительный случай! Так что и эксперимент Гроува Сото мог завершиться удачей: растворить память обо всем, что последовало за высадкой с парохода, создать рукотворный провал, удалить этот сегмент. И это ему удалось вполне, ни доктор, ни его жена не могли вспомнить, что же происходило после того, как пароход причалил. В их памяти зияла бездна. И мистер Сото в этом убедился, прослушивая записанные его верным Торни (ассоциативная мысль: эти роли хорошо бы исполнили Депп и Бенисио дель Торо, какими они предстали в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе») на магнитофон разговоры супругов в своей комнате. Да, они ничего не помнили. Но помнил сам Гроув, вот в чем закавыка. И у него разгоралась мания преследования. Что и привело к печальным результатам. Все-таки Гроув Сото далеко не Родион Раскольников. Воспаленная совесть нашего бедного соотечественника, разрастаясь, достигает библейских размеров, паранойя Гроува Сото — ничтожна, это жалкий пигмей.

Гроув Сото, как кажется, упустил свой шанс стать вровень с Раскольниковым: стереть ленту и своей памяти. Конечно, это был бы Раскольников, так сказать, наоборот, антипод, но не менее трагичный в своей пустоте. Ведь эксперимент мог в его случае зайти дальше, так что память обернулась бы пустыней музыканта из фильма Би-би-си, и в ней осталась бы одна фигура – фигура матери.

Но панамский буржуа предпочел экспериментировать с чужим сознанием.

Что же происходило с жертвами, престарелым доктором и его молодой женой миссис Слейд? Ну, во-первых, назвать их жертвами мешают некоторые обстоятельства. Они, в общем, добровольно отправились в этот ад. Или почти добровольно, все же будем учитывать их состояние. Но уже в загородном доме, полностью оправившись, вынырнув из наркотического морока, они были вольны выбирать, оставаться или сейчас же уезжать. И Гроув Сото не стал бы препятствовать, еще не захваченный полностью своей паранойей. У них был шанс. А они почему-то медлили. Жили в отведенной им комнате, принимали душ, пили кофе по утрам, прогуливались по окрестностям, загорали и предпринимали попытки овеществления времени: наполнить событиями отрезок длиной в пятнадцать дней. Пятнадцать дней потерянного времени.

«— Восстановить в памяти эти дни — теперь главная цель моей жизни, — сказал доктор Слейд, пытаясь улыбнуться. Обжигающий ветер резко хлестнул его по лицу, так что у него перехватило дыхание». Да, этот ветер иногда кажется горячим. И как будто бы он сметает в памяти эти пятнадцать дней, — словно сор, пыль со двора патио, залитого солнцем. Всего-то пятнадцать дней? Целые годы сливаются в нашем сознании в один день, и это никого не беспокоит. Может быть, потому, что на самом деле все дни и ночи, часы и минуты никуда не деваются, ждут какой-либо вести в своем хранилище, — по крайней мере, это предположение нас успокаивает. Но пятнадцать дней стертого времени уже представляются чудовищной потерей. Эти дни во что бы то ни стало следует проявить, как мутные прямоугольники фотобумаги, вынутой из-под светового луча фотоувеличителя.

Разумеется, тут напрашивается еще одна аналогия, — глобальная: аналогия с историей человечества, мучительно занимающегося тем же, что и доктор с женой. Худо-бедно, а картину исторического времени ученые набросали. Оно овеществлено в книгах, пирамидах и развалинах. Но еще полно белых пятен, которые увеличиваются за шкалой исторического времени и зияют безднами вне земных границ. И никакая теория Большого Взрыва не высветит их, мириады дней и ночей — до этой вселенской хлопушки. Впрочем, это реплика в сторону, вверх. Вернемся в знойный мир Панамы, в имение посреди джунглей и гор, на залитый солнцем клочок земли, где в крытых галереях вокруг ослепительного патио – внутреннего дво-

рика — бродят странные люди, потерявшие время, те, над кем нависла опасность остаться и вовсе без будущего. Но вместо того, чтобы спасаться, они предаются томительным сиестам, долгим разговорам с хозяевами не только этих мест, но — с каждой минутой это все яснее – и их судьбы и снова и снова стараются вернуть пятнадцать исчезнувших дней.

«Но это было все равно, что искать на берегу вчерашние следы».

Атмосфера сгущается. Наши версии поминутно борются. Образ Дэй, супруги доктора Слейда, дышит чувственностью. Гроув как будто увлечен именно этим, ее прекрасной женственностью и молодостью, томящейся подле старого мужа. Вот он ведет ее в комнату осматривать огромную статую индейского божества, усаживает ее на кушетку, рассказывает об этой статуе и — внезапно садится рядом... и начинает рассуждать о христианстве, а потом переходит к тому, что неотступно преследует его: вопрос памяти. Что она помнит с первого шага на этой земле? То есть, на земле Панамы? И т. д. Он треплет ее расспросами, как паук муху своими ловкими лапами — и отпускает. Нет, ее женственность его не интересует. То, чем занимается он, больше похоже на инквизиторские пытки. И сам он метит, ну, если не в Великие Инквизиторы, то в необычного человека, демонического экспериментатора. И молодая женщина уже страстно желает отсюда вырваться. Кажется, она его раскусила. Чутье редко подводит женщин. Но ее муж вовсе не спешит. Раз уж мы здесь, говорил он, давай просто получать удовольствие. И обещал ей уехать, как только она захочет. Но по всему видно, что самому-то ему уезжать неохота. Получать удовольствие? Здесь снова возникает зазор между расслабленно-умиротворенным стилем Тейлора и метаниями напружиненной Дэй.

Что же так привлекает здесь доктора? Почему в его репликах слышна покорность? и в самом деле довольство?

Внимательный и умный доктор не мог не понимать, к чему все идет. Не мог верить в искренность гостеприимного хозяина, показавшегося ему еще при первом знакомстве пошловатым, и неспроста он обратил внимание на звериный душок в столичной роскошной квартире Сото. Его обаяние он воспринял как неподлинное. «... и он без колебаний его отверг».

И вот доктор зевает, подшучивает над подозрительностью Дэй. В чем дело? Что произошло? Неужели последствия наркотического забытья?

Возможно. Произошел взлом бессознательного, — недаром же Хаксли назвал свои брошюры о мескалине «Двери восприятия» и «Ключи от рая и ада», — и в сознании доктора закурился жертвенный дымок с алтаря Танатоса. Не оставляет ощущение, что доктору уже и не хотелось возвращаться в мир, он достиг своего преддверия, и, завороженный исходящим оттуда дыханием, смирился. Его загипнотизировала тьма.

Тьма, вторгающаяся и в сознание молодой женщины.

Ей снится в одну из ночей пляж, прибой и «безбрежный горизонтальный шепот над морской гладью, доносивший одну фразу, которая повторялась с регулярностью мигающего маяка: Скоро наступит рассвет». И Дэй наполняет блаженство. Тьма, обещающая рассвет. В этом блаженстве есть что-то уже от предсмертной истомы. Конечно, сразу можно расслышать: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Но в мире романа нет места этой надежде. Хотя тему христианства автор затрагивает, по крайней мере, трижды. Первый раз, уподобляя мертвые глаза миссис Рейнментл глазам Христа, — пусть и всего лишь Христа с хромолитографии, такой картинки с фокусом: глаза внезапно открываются, но метафора довольно сомнительна. Тем более, что именно мать увещевала в юности сына, Гроува, или Веро, как его называли близкие, не впадать в крайности и не давать отцу заманить его в Церковь. Что же это за крайность – предложение отца шестнадцатилетнему сыну сходить на воскресную службу? И его совет «придерживаться ортодоксии, чтобы все, за исключением духа, стало простым рефлексом». При этом сам отец оставался агностиком. Впрочем, сыну совет показался дельным, и он много над этим думал и заключил, что надо лишь подыскать «убедительную ортодоксию». Надо ли говорить, что этой ортодоксией стало не христианство? Собственно, в этом он признается в разговоре с Дэй перед изваянием индейского божка, восхищаясь доколумбовыми цивилизациями и констатируя, что единственная заслуга христианства заключается в уроке сопереживания. «Слова Иисуса — руководство, обучающее, как ставить себя на место другого». Дэй реагирует вяло. «Если он надеялся ее рассердить, она его разочарует». Ну, реплика материалиста — а может быть, язычника? — Сото не так уж плоха. Если бы на самом деле мы все воспринимали сердцем это простое руководство! Но произносит ее скорее автомат, робот, а не живой полноценный человек. И эта фраза отдает мертвечиной. Рискованная аналогия в поле этого романа, но невольно представляешь, например, верных высоколобых слуг Третьего Рейха, рассуждающих о том же.

Руководству христиан здесь посреди горячих джунглей нет места. Тем более нет и всего остального, о чем благовествовал Иоанн. И супругов Слейд ожидает не рассвет, а смерть, и только. Наши две версии оборачиваются обманками: мистер Гроув Сото не Дон Жуан и не Синяя Борода, не экспериментатор, а обыкновенный преступник, коснеющий в ортодоксии эгоизма.

Но... точен ли наш диагноз?

Насчет эгоизма, пожалуй, да, тут двух мнений быть не может. А вот преступление, то первое, совершенное руками верного Торни, вызывает вопросы. Мотивы преступления под конец уже не кажутся столь очевидными. Зачем Гроуву понадобилось это убийство? Ради наследства? И только? Но он был вполне обеспечен, даже богат, не-

смотря на разлад с отцом. И потом мы же помним, что у его матери возникли какие-то проблемы с получением денежных переводов. Было ли вообще это материнское наследство?

Эти вопросы озадачивают, но не кажутся такими уж неразрешимыми. Возможно, разгадка таится в самом финале, в одном жесте руки, протирающей запотевшее огромное зеркало ванной большим турецким полотенцем...

Впрочем, автор предупреждает, что «его широкие скошенные края причудливо искажали отражение».

И уж тут я точно остановлюсь и воздержусь от перепроявления. Возможно, у кого-то возникнут свои версии. А главное – желание читать Боулза. Роман «Вверху над миром», издательство «Kolonna Publications» и «Митин журнал», 2007 год.

Пёс музыкальный

У Дебюсси вчера был день рождения.

А я слушал «Битлз», вдруг что-то повело.

Но Дебюсси вечная любовь, сольный ключ импрессионистов: Моне, Сёра. Вот сейчас исправляюсь: слушаю «Сиринкс», флейту влажных красок. Немного весеннего Парижа в августовском выжженном недавней жарой Смоленске не помешает. Хотя у Дебюсси это и не город, конечно, а деревенские мягкие зеленые увалы, синь моря вдалеке, облако, чайка; вдоль изгороди крадется чья-то тень... Но это уже, пожалуй, «Послеполуденный отдых фавна»: фавн лежит на охапке травы и цветов в лесу и в то же время крадется вдоль изгороди, ну, в сонных мечтах.

В «Море» Дебюсси мне всегда мерещился какой-то азиатский варварский размах: восходящее солнце перед битвой... И потом битва трав и ветра.

Все это любительские ассоциации.

А вот, что о нем умного говорил Ортега-и-Гассет, вспомнить не могу.

Шпенглер язвительно улыбался, замечая: посмотрите на этого «титана», месяцами шлифующего незатейливую пьеску.

Но эта незатейливая пьеска почему-то кажется нам интереснее масштабных звуковых полотен — хотя бы и Бетховена. Затянувшееся вырождение, наверное...

Да, вот все-таки — не вспомнил, а просто нашел в инете эту статью Ортеги-и-Гассета, там он забавно говорит, что волнение, увлеченность это еще не признак высокого искусства, иначе лучшим произведением еловечества считался бы алкоголь. Для истинного наслаж-

дения от созерцания необходима отстраненность. Дальше цитата: «Красота — высшая форма ясности и благородства — требует этой дистанции».

И эту дистанцию он находил у Дебюсси. То есть, Дебюсси не льнет к красоте, не затягивает нас в ее вихрь или омут. Маэстро просто демонстрирует ее движением руки, предлагает взглянуть, как из ничего вдруг вздымается «Затонувший собор» или веют чудесной женственностью льняные волосы незнакомки... Льняные звучит хуже, доподлинный перевод этой вещи мне нравится больше, «Девушка с волосами цвета льна», в нем, в этом названии есть маленькая деталь: цветение. Цветение васильков, например. Да и самого льна. Под белесым небом...

Ассоциация приводит причудливым образом под это небо, в этот город, где я сейчас сижу и внимаю жестам маэстро, как дрессированный пес: не прыгаю с лаем, не лезу лапами — держу дистанцию, лишь завороженно наблюдая за проплывающими видениями.

Новый софизм и его опровержение

Неподалеку от центра Старого города на шумной улице возле главного кладбища был выстроен магазин ритуальных услуг. В тучные нефтяные годы он вырос в двухэтажную домовину. Неведомый архитектор постарался, подошел к решению задачи творчески: придал зданию плавные контуры, и оно стало напоминать очертаниями современный гроб, лакированный, с ручками, крышкой, открывающейся, как футляр с драгоценностями, — ну, в общем, как в фильмах про итальянскую мафию. И вот сейчас этот гроб, будем называть вещи своими именами, — закрылся. Следовательно, вопреки кризису горожане стали дольше жить. А банкиры паникуют, политики занимаются мозговым штурмом, журналисты бьют в набат.

В здании теперь магазин итальянской моды. Все-таки итальянской... Но от прошлого и облик остался. Нового архитектора никто не нанимает. Надо ли говорить, что просторные залы магазина пусты? То есть безлюдны.

Кролик

На базарчике у старухи купил «Приключения Алисы в стране чудес» за 20 р. Дочка увезла ту «Алису», что у нас была, в Москву. А мне, старому чайнику, побитому жизнью и, конечно, разучившемуся читать сказки, временами почему-то хотелось — ну, если не перечитать «Алису», то хотя бы так, полистать, нырнуть за Джоном Тенниелом в кроличью нору, посмаковать его иллюстрации, похожие на светлые кошмары детских снов.

И вот смотрю.

Мне не перестал больше всех нравиться Кролик, дерзкий, щеголеватый, иногда беспомощный. И ведь это он, как ни крути, — проводник? Да у меня у самого в детстве жил кролик под столом, я его выменял у одного дворового товарища. Конечно, жил он не в чистеньком домике, на двери которого висела медная дощечка «Б. Кролик», а в старом чемодане, но с надписью: The Beatles. Старший брат



уже бредил рок-н-роллом и метил все, что попадалось под руку: портфели, учебники, пеналы. Мой кролик был без фрака и тросточки, но белый, с алыми глазами. Отзывался на кличку и никогда не дерзил мне. Ему неплохо жилось в чемодане на арбузных и хлебных корках и капустных листьях. Но однажды он дал тягу по своей кроличьей тропе во время прогулки в овраге. Не знаю, как это произошло. Я отвлекся на пару минут, а он исчез. Поиски ни к чему не привели. Я так и не попал на его тропу.

Ну, зато есть свидетельства более удачливого ребенка — Алисы.

Да и нам, старым чайникам, иногда выпадают любопытные сны, вполне безумные чаепития.

Значит, на тропе Б. Кролика, перекрытой, заваленной валунами-доводами, еще есть какие-то лазейки.

«— Нужно сжечь дом! — сказал вдруг Кролик».

Окно напротив

В девятиэтажке напротив жила женщина с сыном. Он отсидел за что-то года четыре. Писал из тюрьмы покаянные письма. Вернулся. Свободу пил, не разбавляя. Предпочитал нигде не работать. Гонял мамашу, она ночевала на вокзале, носила ему еду из школы, где служила техничкой. И вот — умер. Окно дни напролет открыто. Проветривается. Валентин Распутин говорил, Господу нужны и такие люди, всякие. Действительно нужны? Может быть. Но при взгляде на распахнутое окно — какие у всех, знавших эту историю, возникают мысли, чувства?

Соседи

Стыдно признаваться в нелюбви к ближним. А к соседям? Кто-нибудь любит своих соседей? Топающих по голове, играющих на ржавых трубах, проклинающих весь белый свет, а особенно тещу? Помню, в советские времена показывали часто фильм какой-то братской страны, Болгарии или Польши, про войну соседей. Там были и отбойные молотки в стену, и фокусы с замками, и броски в окна. Но все заканчивалось на умильной ноте, в конце концов соседи собирались за одним столом. Что-то вроде этого писал то ли Пьецух в рассказе, то ли кто-то еще. Да. А на самом деле? Вот они поздно вечером пировали на кухне, потом вываливали дружно на балкон, гоготали и блеяли, засыпая твой балкон пеплом, и наутро что-то не хочется вспоминать нагорные заповеди, а хочется поступить так же, как герой вот этого душевного стихотворения Олега Григорьева:

На балконе

Сижу на балконе.
Смеркается.
Вдруг сверху
Кто-то сморкается.
Прямо в компот с алычой!
Это, наверное, Крошкин.
Наполнил бутылку мочой,
Закинул ему в окошко.

Сижу на балконе,
Смеркнулось.
Вдруг сверху
Что-то сморкнулось.

Нет, это не Крошкин, наверно,
Однако все это скверно.

Девушка Пикассо

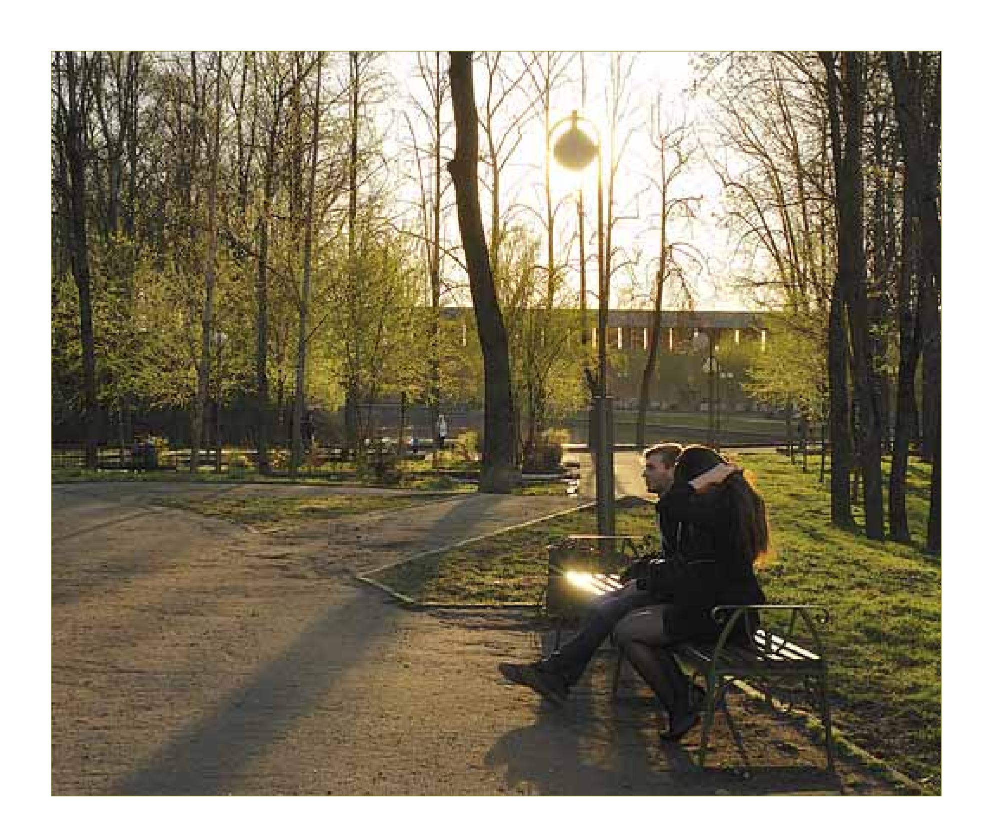
Только что: по улице Дзержинского в опавших листьях, под мелким дождем идет девушка с невероятно красивой фигурой. Взгляд выше — ее черные глаза сведены мучительно к переносице, косоглазие, сверкают белки. Зигзаг ассоциации: да она сошла с полотен Пикассо. И еще найдет своего художника. Если уже не нашла.



Вкус вещей

Странное удовольствие чтения. Сейчас это — «Молодость» Кутзее. Проблемы какого-то математика, жившего — живущего — на краю мира, в Кейптауне... Литература странная, магическая игра, — вовлекает тебя в поток чужих жизней.

Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла б и текла сквозь листы,
И туманные звезды светили...



Этот туманный свет ощущаешь на лице, читая чужие жизни. И очарование вещей возвращается (старояпонский текст: горько дожить до сорока, ибо после этого исчезает очарование вещей) — хотя бы на время чтения.

Среди стен

Не люблю группировки, цензуру, контроль. Наверное, поэтому и стенам бетона предпочитаю стены воздуха, дрожащие, живые. Ну и, конечно, почитаю Кропоткина, хотя не все у него нравится, но очень привлекателен — помимо главной идеи — его теллурический дух. Он прямой предшественник нынешних экоанархистов, Родерика Нэша, Мюррея Букчина.

Мюррей Букчин: разве панорама жизни и биологической эволюции не удивительнее мифической деятельности природных богов и духов?

Да, но это так удивительно, что человек начинает видеть в листве лики и в сиянии воздуха — дух. Так уж почему-то человек устроен...

Но это-то и ведет к иерархии, предупреждает Букчин. Надо не поклоняться, а знать и любить. Веру в сверхсущество всегда используют те, кто стремится к власти.

Да, но эта вера дает силы и необозримую высь для размышлений одинокому пешеходу среди стен.

Дом следил

«Порнография» Гомбровича продолжает «Фердидурку», те же мотивы: молодости, греха, порока, отражения человека в человеке. Гомбрович такой модернистский Достоевский. Ну, по крайней мере, его прилежный ученик. Это агония психологического романа 19 века. Совпадениям в романах Достоевского, накалу страстей веришь, он заставляет верить, — только по прочтении это понимаешь: что заставляет. А у Гомбровича это схватываешь сразу, он этого и не скрывает. И вынуждает смириться, ибо зрак у него хищный, видит глубоко. Глубина, изощренность, необычность письма, — в этом тонут явно надуманные вещи. Его мир близок к сновидению.

Гомбрович мастер пейзажа, скупо, точно и всеохватно: «Время шло к пяти — раскаленный гравий, сохнущая трава вокруг молодых деревьев без тени — это было внизу, а вверху — белые коконы облаков, огромных и круглых в беспощадной голубизне. Дом следил за мной двумя рядами окон первого и второго этажей — стекла окон блестели на солнце...»

Но, читая Гомбровича, понимаешь особенно ясно, что талант — явление болезненное.

А может быть, и сама способность рефлектировать. Или мозг. Человек.



Дыхание

Днем я хожу на южный склон над ручьем, в дубраве прохладно, а там светит сильное солнце. Каждый день солнце, ночью — звезды, крупные, ясные. Очень простая медитация: вдох-выдох, счет сначала на выдохе — до десяти, потом на вдохе — до десяти, затем на вдохе-выдохе до десяти и так далее. Зачем это нужно. Счет дает возможность сосредоточиться на дыхании. Только цифры и воздух, перемещающийся вверх-вниз вдоль позвоночного столба. Так очищается сознание, и ты погружаешься в солнечную пустыню, в ничто. Исчезают образы, страхи, тягостные воспоминания. Нет ничего. Довольно радостное состояние. Хотя бы на десять минут возвращается что-то изначальное. Правда, образы и привычные мысли норовят проникнуть за черту. Вот на этом слепом экране возникла голова косули, прядущей ушами, потом пролетел ворон со скрипящим крылом. Но дыхание, смешанное с солнцем, вытесняет непрошенных гостей. И даже когда раздается крик птицы, уже не возникает ее образ, хотя и понимаешь, что это птица и какая именно, — значит, дышать надо глубже, не сбиваться со счета.

Момент окончания этого упражнения примечателен: открываешь глаза — и все видишь особенно четко, ясно, прямо без аллюзий и всяческих реминисценций: небо — это небо, и в нем утопают ветви дерева, вниз простирается склон земли, теплой от солнца, пестрой от нападавшей листвы; это осень, чистый воздух, и более ничего.

Родник-медитация

Расчищал родник. Основательно я здесь попотел-померз семь лет назад, вытащил целую кучу почерневших тяжелых древесных костей, иногда чувствовал себя каким-то стоматологом. Так что в этот раз труд был невелик. И снова испытал трепет, доставшийся от пращуров, когда погружал руку в мглистую чашу, шарил в иле. Зыбь быстро оседала. Глубь дышала... И, созерцая это, сам начинал дышать и думать по-другому. Возможно, это род медитации. И твое сознание подобно запущенному роднику. Извлечь все, мешающее дышать, видеть...



И утром следующего дня я уже бросал на город взгляд проясненный. Так бывает во сне. Вдруг некоторые люди, кажущиеся приветливыми, добрыми, оборачиваются злодеями; позже выясняется, что не ошибся. И наутро после родникового погружения ты многих видишь, как они есть.

Но потом, конечно, ил повседневности все задернет, потом, когда ты вернешься и снова будешь со всеми любезен.

«Вас не тянет из окошка

Об мостовую брякнуть шалой головой?» — спрашивал Саша Черный.



— Тянет, — ответил Аббас Киаростами и снял «Вкус вишни». Всегда знал, что у хорошего кино особый томительный ритм повседневности. Посмотрев «Вкус вишни», еще раз в этом убедился. Сюжет прост как притча, самоубийца ищет того, кто за хорошие деньги его «укроет землей». Он собрался заснуть в могиле с помощью снотворного. Солдат-первогодок сбегает от него, как от прокаженного. Этот персонаж любопытен. Мальчишка, уставший от пыли, муштры. В его пытливых темных глазах тихий ужас от речей мистера, ко-

торый возит его в автомобиле. А где-то маячит призрак войны, его родина (Иран) ведет упорную и кровопролитную войну (с обеих сторон погибло примерно по миллиону) с Ираком. Ничего, парня научат. В Афганистане тоже война, с шурави. Оттуда исходят тысячи. Один из них — студент-богослов. Самоубийца пытается уговорить его. Следует проповедь. Наконец находится старик, у него какие-то проблемы с ребенком, деньги нужны. Но и старик не удерживается от проповеди, это мирская проповедь, и звучит она убедительнее всего. Старик славит красоту мироздания. Вообще-то фильм надо было бы назвать «Вкус шелковицы», именно об этом дереве говорит старик, о его ягодах. Он в свое время хотел на шелковице повеситься. Но вместо этого сидел на суку и ел ягоды, любовался миром. (Тут и я вспомнил этот вкус, однажды колонна остановилась в ожидании очередного приказа, дорога шла по склону горы, а внизу, в ложбине росло раскидистое дерево; еще не зная, что это, пошел туда, спугнул скворцов и сам залез, начал рвать ягоды, похожие на ежевику — и как-то отстраненно взглянул на колонну, показавшуюся мне довольно необычной.)

История старика в духе веселого муллы Насреддина. Но, похоже, главного героя это не проняло. Самоубийца в панцире. Мысль о смерти окончательно загипнотизировала его. И, выкурив сигарету, ненастной ночью он ложится в свою яму. Финал открыт, можно толковать по-всякому. Но скорее всего он не проснулся. Мужественное решение режиссера. Придумывайте хеппи энд сами. Но в этом и его мудрость. Ведь старик, по сути, говорил уже и не с героем, впавшим в сомнамбулический транс, а с нами и убеждал он нас. А что может быть убедительнее правды, пусть вкус ее бывает и слишком горек.

Один язык

Патрик Модиано, роман «Маленькое Чудо», — начал читать только для того, чтобы вновь «побродить» по Парижу — и был охвачен человеческим теплом и одновременно холодом Большого Города. Маленькое Чудо — прозвище девочки. В романе ей уже 19, она блуждает в прошлом, жалкая, неприкаянная. Неудачная попытка самоубийства (то есть удачная — героиня осталась ведь жива). Ну, а чудо всего происходящего в этом романе в том, что в Большом Городе... Телесности? Равнодушия? Чревоугодия? Алчности? — как бы его назвали Чистые братья из Басры? — этой девушке повстречались чуткие люди. Ниточка, связавшая ее с ними и удержала героиню над бездной. Все персонажи романа загадочны, имена некоторых остаются неизвестны до конца. Дух романа окрашен ориентализмом.

Фамилия одного героя — Бадмаев. Мать девушки якобы умерла в Марокко и т. д. Человек существо проблематическое и загадочное, говоря словами Достоевского. В нем есть хищник и голубь; и все-таки хищные инстинкты элементарны; а чуткость и благородство таинственны и глубоки. «Маленькое Чудо» очень способствует обретению душевного равновесия, хотя бы на день или два. Что тоже ведь по своему замечательно: чья-то выдуманная история, выверенный набор слов, да еще и на другом языке, переведенный и тем не менее одушевляющий нас, заставляющий верить, во что-то верить. Во что? Ну, хотя бы в то, что на самом деле существует Один Язык, и он всем понятен и безграничен, аполитичен и спасителен, и его можно услышать в любом городе мира.

За что мы любим Чарльза Буковски

Надо прямо об этом сказать.

Он наш агент 007. Абсолютно свободный мужик. Недюжинных способностей. И о главной из них пора заявить во всеуслышанье.

Возьми и попробуй пить три дня напролет, заявиться к другу, распить стартовую бутылку горькой, Немирова или Бархатной смоленской, и отправиться в одну телерадиомастерскую, где дым всегда коромыслом. Влиться в общий ход веселия, которое есть на Руси питие; и потом мчаться с пьяным водителем по кружной дороге неизвестно куда, жечь костер, утром очнуться и увидеть стену дома, принять ее почему-то за стену сумасшедшего дома в полях — а одна душевнолечебница точно в полях находится; повернуться и увидеть храпящего водителя, уронившего голову на руль, обернуться и узреть на заднем сиденье третьего; а где же продавщица? или работница детского сада, воспитательница, чья-то знакомая? которую куда-то подвозили… наверное, подвезли? Но, черт, что это за дом? И увидеть, как из подъезда выходит человек… с подозрительным лицом. Проклятье! Откуда тут взялся сосед? Впрочем, ему давно пора поселиться в каком-то таком вот заведении, да, да, это точно… Но почему мы здесь? Стоп, отсюда надо быстрее сматываться, это ведь мой дом, меня могут узнать. Водитель таращит глаза, и усы его таращатся. Не бойся, говорит, проснувшийся на заднем сиденье, тебя не узнают. Ты себя в зеркале видел? А здесь что, есть ванна? …и чашечка коффэ. Ладно, едем ко мне на дачу. Пакеты, набитые бутылками… И т.д. И так три дня. И вот кем же ты себя почувствуешь на третьи сутки? Есть ли у тебя в голове свежие мысли? Похож ли ты ли вообще на человека? И, наконец, способен ли ты что-нибудь на-

писать? Не заявление об уходе с работы и не жалобу в ЖЭК, а, например, связный и душевный текст?



Так вот старина Буковски был способен, и он делал это, живя в таком режиме все свои семьдесят с лишним лет. Ну, чуть меньше, конечно. Хотя, кажется, что он начал с пеленок — писать свои нежные стихи:

В Горах Валькирий / где бродят надменные павлины / я увидел цветок / размером со свою голову / а нагнувшись, чтобы / его понюхать / лишился мочки уха / кусочка носа / одного глаза / и половины пачки сигарет. / на следующий день / я вернулся / чтоб выдрать проклятый цветок / но он показался мне таким / красивым / что вместо него я придушил / павлина.

Лисы

Только спрятал дневник — буквально в двадцати шагах появились лисы, одна пышная, с богатым хвостом, другая помельче, облезлая, зачуханная. Пышный — лис: то и дело задирал лапу у пней и

берез, метил территорию. На такой опушке березовой, с нежной весенней травой лисиц только и рисовать для детских букварей. Меня они не заметили, хотя костер горит. Лис, правда, на мгновенье приостановился, повел мордой в мою сторону, потянул носом, — не учуял... А вот появился опять. Мышкует. Взбежал на пригорок, снова принюхивается... зевнул, помочился на былинку — дальше потрусил за своей лисой, скрылись оба в прошлогодних травах.

От подножия до макушек лес поет. Березы порозовели под вехерним солнцем. Странно многоочитые.

Этот лес осветляет сердце.

Блюз у Геркулесовых столпов

Как только начал читать это стихотворение Олеси Николаевой «Герой», в памяти зазвучало что-то блюзовое. Так эта музыка и сопровождала все стихотворение, небольшое по размеру и огромное по сути, переливающееся спокойными, но внутри пылающими красками, греко-библейско-арабское, подводящее нас, сухопутных крыс прозы, к пределу мира в кипящем море... Ох, что-то витиевато заворачиваю. Но такова природа стихов, они требуют соразмеренного эха, о стихах лучше говорить на пределе, а это и есть поэтический язык, как определял его Бахтин: в поэзии язык достигает своего предела. Геркулесовых столпов. Или — развернем метафору: той линии в пространстве, которая лежит за последними видимыми объектами, квазарами, — далее уже зона сверхсветовых скоростей. То есть зона невозможного. А именно туда и направляются все барки, галеры, байдарки и катера, ведомые пиитами. Но большинство так и кружит где-то... в лучшем случае у мыса Доброй Надежды. Корабль с Ионой прорвался дальше. И унес нас. Распахнул времена. Ведь это видишь почти наяву: Золотой Ковш, дыра Аида. Здесь нам даруют ослепительный миг прикосновения к сознанию древних. В этой точке вырастает Время Сакральное, заставляя скользить взгляд вверх, вверх — и уже предчувствовать Того, Кто избрал беднягу юнгу жертвой, — а на самом деле героем. Но для того, чтобы героем стать, мало быть избранным, надо и самому сделать свой выбор. Об этом толкуют созерцатели ислама: все твои поступки уже есть, ты должен лишь принять тот или другой. ...Кстати, эта реплика в сторону на самом деле не так уж случайна. Юнга, засыпающий на мешке со смоквами и летящий в небесные выси, — разве это не вызывает в сознании полет пророка на странном животном по имени Бурак? В этом смешении нет ничего странного, обе религии исходят из одного ствола, да, конечно, и все. И понятие героического во всех тради-

циях одинаково: это самопожертвование. И юнга делает свой выбор, бросается за борт корабля, идущего не туда, но на самом-то деле падает не в пучину, а вверх.

...И мы думаем, думаем напряженно, кто из нас, на этом корабле... кто... кто...

Воды иные

Рано или поздно человек, отправившийся в путь по реке, попадает в воды иные. Одиссей, Измаил или вот свежий пример, Уильям Блейк с индейцем по имени Никто. Меня особенно завораживает история Измаила, вовлеченного волею судьбы в погоню за Белым Китом. В конце концов корабль китобоев оказывается в поразительном месте, увиденном как будто сверху, в водах светлых, завихряющихся, словно спирали неведомой галактики. Здесь на читателя нисходит нечто вроде благоговения, мы вошли в Дом Кита. И грозная развязка, момент истины близится. Страницы эти как будто пропитаны маслом для лампы и сияют.

И на те же приметы можно наткнуться в отличном рассказе нашего соотечественника Олега Куваева «Дом для бродяг». Тридцатипятилетие со дня его смерти отмечали вчера последние из могикан. А сегодня я взялся перечитывать этот рассказ, двадцать с лишним главок, взялся с опаской, мало ли что и как выглядело в младые лета. Начинал немного со скрипом. Герой возвращается с Большой земли, чтобы предпринять путешествие по реке на хвосте лета, линяющего в пышную осень. И вот плавание, в одиночку, по хладным водам. Оно неожиданно — все-таки многое подзабылось — приводит в то самое место, одно из тех, которые, как предупреждал еще Мелвилл, не наносят на карты:

«Плавание вниз по течению описанию почти не поддается. Оно состоит как бы из мелких отдельных событий, вплетенных в монотонные дни. Во всяком случае, сюда входит напряжение изо дня в день, и режущие блики солнца на воде, и минутные вспышки опасности, которые сознаешь, когда они уже миновали, и берега, заваленные тысячами кубометров древесных стволов, и лоси, которые в вечерний час выходят полежать на гальке, и ты их вспугиваешь в последний момент, потому что плывешь бесшумно.

У одного из прижимов я столкнулся с феноменом, именуемым “кружило”. Вода у скал была густо-зеленой от глубины. Я греб в одном направлении и вдруг увидел, что плыву перпендикулярно. И в тот же момент весла как будто уткнулись в резину. Сопротивление лопасти было тугим и сильным. Потом я поплыл назад, потом вбок

с ужасающей медлительной равномерностью, которая вовсе не зависела от направления и силы гребка. Я бросил грести и увидел, что ничего не изменилось. Попробовал грести изо всех сил и сдвинулся примерно на метр. Лодка равномерно и мертво двигалась по какой-то таинственной траектории. Я покорился судьбе и стал ждать. Выглянуло солнце. Скалы от солнца были светло-коричневыми. В одном месте они были испачканы пометом, и, задрав голову, я увидел на приступке огромное гнездо орланов-белохвостов, сделанное из хвороста.



Солнце просвечивало воду, наверное, метров на десять. Я посмотрел вниз и увидел рыб. Спины их также казались зелеными. Я лихорадочно вытащил коробку с блеснами, нацепил на спиннинг и, забыв про “кружило”, стал блеснить — подергивать блестящую приманку. Но рыбы не обращали никакого внимания. Я менял блесны одну за другой: большие, зимние, летние, белые, желтые, с краснинкой и без краснинки. По временам блесна наталкивалась на рыбу и тут же отскакивала, как будто рыбы были изготовлены из тяжелого и плотного материала, вроде хоккейной шайбы.

В азарте я не заметил, как Река вынесла меня из кружила по тем же непонятным законам, и я поплыл вниз, притихший и ошеломленный.

Огромные лиственницы высились по берегам. Вдали недосягаемо и странно выделялся Синий хребет. И в этот момент я начал понимать Реку».



Перед сном с женой обсуждали... Еврипида, «Электру». Предыстория такова: Агамемнон вернулся с войны, в качестве трофея привез Кассандру, а его женушка Клитемнестра устроила ему баню, как наша Ольга древлянам. Любовник Эгисф зарезал троянского ветерана в бане. Клитемнестра утверждала, что мстит за принесенную в жертву дочь и за Кассандру. Да, перед отплытием в Трою была убита дочь, Агамемнон этому не препятствовал. Такова была воля богов. Только после жертвоприношения кораблям открылся путь на Трою. Мне, отцу медноволосой дочери, этот поступок Агамемнона казался действительно невозможным, а мстительность Клитемнестры — понятной, хотя и не совсем чистой. Но мои симпатии были почему-то на стороне троянского вояки.

Еврипид в «Электре» продолжает эту историю. Дети Агамемнона и Клитемнестры — Орест и Электра — свершают возмездие: убивают любовника, потом собственную мать. И чувствуют не полноту свершившегося, а только ужас и пустоту. Они раздавлены.

...Как все сложно. Попробуй, распутай, кто прав, кто виноват. Помоему, все виноваты.

Но больше всех — мать, сказала моя супруга.

Почему?

Ну, как почему? Потому. Это же ясно.

Нет, мне не очень...

Ну, она якобы мстила за дочь? Да?

Да.

То есть она такая любящая мать?

Выходит, что так.

Почему же она позволила этому...

Эгисфу...

Вот именно этому — разогнать по углам остальных детей? Электра в бедности, замужем за пахарем, Орест на чужбине. Так? Какая же она мать? Только любовница. Орест правильно сделал.

Да, с Эгисфом... Но мать?.. Она показала ему грудь, сыну, дескать, я же тебя вскормила. Но он только закрыл глаза плащом и пронзил ее.

Заслужила.

...Возразить было нечего. Вина Клитемнестры была доказана логикой жены и матери. Орест и Электра оправданы. Впрочем, как и афинским собранием, состоявшимся 2,4 тыс. лет назад, об этом сообщает Еврипид в финале трагедии. Но он не приводит доводы спорящих, говорит лишь, что собрание разделилось на две равные части. И решено было отныне в таких случаях — если число противников и защитников равно, — оправдывать подсудимого. Но моя же-

на в предночном дождливом городе, в квартире на седьмом этаже, перед сном прибавила один голос. И мне все стало понятнее.

К западу идущий

Пять лет догонял К западу идущего, так переводится имя Сайгё, поэта 12 века, скитальца, монаха-буддиста, написавшего около 2 тысяч стихотворений танка в стиле югэн что значит сокровенная красота. Впервые увидел его «Горную хижину» пять лет назад, не смог купить, денег (как обычно) не было. И мне казалось, что я в самом деле видел горную хижину.



И вот открыл дверь. С благоговением прочел три стихотворения о весне. От дальнейшего чтения воздержался, не все сразу.

И вот утро: синяя пустыня неба, солнце в комнатах, тишина (хотя по дороге авто и проезжают, но этот звук не касается синевы). Новое стихотворение, чье пространство соразмерно тому, что открывается над крышами: На уступе холма / Скрылся фазан в тумане. / Слышу, перепорхнул. / Крыльями вдруг захлопал / Где-то высоко-высоко...

В вечность

Ежи Пильх «Песни пьющих», — вот что надо читать после праздников. Отличная вещь, сразу ясно, что писал знаток. А то ведь — бывает — читаешь и понимаешь, что автор разыгрывает жажду, набивает холодильник бутылками… Хотел бы я посмотреть на любителя шнапса, у которого холодильник трещит от оного. Не верю. А Пильху — да. Смешно и горько. Особенно хороша концовка, автор нашел единственно верный выход — в вечность, ибо здесь противоречия алкоголика неразрешимы.

Эзра Паунд

Поэты создания вертикального взлета. Они сразу проникают ввысь. И уже ведут свои репортажи оттуда. Поэтов питает темное древнее вино — ведь поэзия древнее прозы. Это вино — ритм, хаома, дающая пропуск дальше, туда, куда прозаику путь заказан, почти любому.

Вот стихотворение вертикального взлета, стихотворение, брызжущее винной росой, Эзра Паунд:

DE AEGYPTO[1]

Я, истинно я, – тот, кто знает дороги
В небесах, и ветер, следственно, – мое тело.
Я воочию видел Владычицу Жизни,
Я, истинно я, – летящий в облаке ласточек.
Серы и зелены ее одеянья,
Влачась в широком ветре.
Я, истинно я, – тот, кто знает дороги
В небесах, и ветер, следственно, – мое тело.
Manus animam pinxit[2].
Перо мое в руке моей.
Дабы написать благоприятное слово…

---

[1] De Aegypto (лат.) – о Египте. При первом издании стихотворение называлось «Aegypton» — «Египтянин».
[2] Manus animam pinxit (лат.) – «Рука нарисовала душу».



Уста мои – дабы возвестить чистое пенье!
Кто имеет уста воспринять его,
Песнопение Кумского Лотоса?
Я, истинно я, – тот, кто знает дороги
В небесах, и ветер, следственно, – мое тело.
Я – пламя, восстающее в солнце,
Я, истинно я, – летящий в облаке ласточек.
Луна на челе моем,
И ветры под языком моим.
Луна – жемчужина в водах сапфира.
Прохладны в пальцах моих быстрые воды.
Я, истинно я, – тот, кто знает дороги
В небесах, и ветер, следственно, – мое тело.

Карта Боулза

Первая моя электронная книжка — «Под покровом небес» Пола Боулза. До этого смотрел фильм Бертолуччи. В результате роман иногда напоминал кино. Сквозь строки матово серела электронная «бумага» экрана. И, допустим, фраза «Это был мой первый пост в Сахаре», которую произносит французский офицер, приобретала ка-

кое-то зримое звучание благодаря этой самосветящейся «бумаге». Фраза эта как будто приходила из далей непостижимой Сахары.

Вначале меня не отпускало чувство легкого сожаления. Надо было не смотреть кино, ведь уже все известно: эти трое – муж и жена и друг семьи – отправляются путешествовать по Африке, чтобы отыскать смерть, безумие и бесславное прозябание. Друг семьи соблазнит женщину. Муж умрет, подхватив тиф. Женщина уйдет в глубь пустыни и безумия...

Но чтение захватило. Вспомнил, что Боулз был недоволен экранизацией. Нет, книгу невозможно перевоплотить. Письмо, конечно, тоньше. И в нем, как обычно у Боулза, сквозит тихий ужас. Сперва это просто ощущение какого-то неблагополучия во всем, ранимости всего. Жизнь под пером Боулза трепещет на ветру, и небо лишь тонкая пленка, защищающая все от нависшего мрака. Дальше уже начинается настоящая пляска смерти под завывания пустынного песчаного ветра. Этот танец исполняют двое: муж, лежащий в жару и бредящий, и его молодая жена, мечущаяся в забытом Богом североафриканском городке. Друг семьи, трезвомыслящий и неосязаемо пошловатый Таннер, находится в другом месте.

Наконец, агония прекращается. И, выкупавшись ночью в городском пруду, жена мертвеца направляется дальше.

Обычно хорошо представляешь пространство книги. И можешь вычертить маршрут тех или иных героев. Так вот, как правило, это движение слева направо или наоборот. По крайней мере, я не могу вспомнить сейчас никакой другой схемы. В романе Боулза движение происходило слева направо. Но, как только американка Кит оставила скончавшегося мужа, запертым в саманном жилище (ну, в общем, это глиняный сарай), маршрутная линия повернула резко еще левее, на 90 градусов. Кит двинулась в пустыню, к центру, прочь от форпоста цивилизации и от нас с вами.

Но такова магическая сила слова — мы шли за нею, наблюдали за мерной поступью каравана, слушали перепалки двух арабов из-за нежной белокожей женщины, смотрели, как они ее «делят». Все возвращалось на круги своя. Женщина здесь была только женщиной.

Молодой араб увел ее буквально в лабиринт своего большого жилища с запутанными ходами и множеством комнат. И она стала его женой, четвертой по счету, живущей только его визитами. Весь мир наконец-то исчез. В центре больше ничего не было. Ни денег, ни телефона, ни газет, ни сведений о последствиях недавней мировой войны. Жизнь почти растительная. Атмосфера — удушающая. Никакой легкости дыхания бедняжка Кит не смогла обрести, хотя и как будто освободилась от вериг прошлого. Но разве это возможно? Даже под воздействием наркотических снадобий.

И она бежит из лабиринта с помощью врагинь — жен араба, вдруг проникшихся к ней симпатией. Все женщины в лабиринте сестры и

настоящий враг у них один — любвеобильный властный мужчина, молодой господин.

После новых приключений ее передают в руки соотечественников. Но вскоре становится понятно, что тут уместнее другой глагол — предают. Кит буквально тошнит от соотечественников и перспективы возвращения в пошлый мир великой родины. И в последний момент она ускользает, запрыгнув в трамвай, который увозит ее в бедный арабский квартал. И здесь трамвай «сделал широкий поворот на сто восемьдесят градусов и остановился; то был конец пути».



Так заканчивается это путешествие. Вспомним: движение в начале романа было слева направо, затем героиня повернула на 90 градусов (Боулз об этом не пишет, таковы мои впечатления) и двинулась в центр пространства, оттуда вернулась назад и, повинуясь, соотечественникам, покорно последовала уже справа налево. Трамвай повез ее снова к центру. Остановился. И здесь происходит разворот на 180 градусов. Куда? В противоположную от центра сторону. Навстречу нам. Но где она здесь может спастись? Это уже сущее безумие. Может быть, Боулз это и имел в виду. Кит обречена на безумие и самоуничтожение. Ты живешь либо слева, либо справа (разницы, кстати, нет). Либо в неподвижной точке центра. Или направляешься в противоположную сторону.

Герои Боулза именно «сюда» — к какой-то предельной реальности на грани безумия и смерти — и влекутся. Им нет места в мире.

Бертолуччи, возможно, и показал движение вглубь, к центру, но уже на последнюю траекторию у него сил не хватило. Точнее не хватило жестокости. Еще точнее — он не захотел этого. После всех перипетий он даровал героине избавление: она встречается с самим Ав-

тором своего путешествия, своего отчаяния – Полом Боулзом. Эту роль писатель сам исполнил. И заключительная сцена обдает зрителя каким-то зыбким теплом, бросает на его лицо отсветы. Кажется, это и называется катарсисом.

А Боулз оставляет на лице читателя только отсветы пустыни, на которую мы все обречены.

Бесконечная хроника

Из романов мы знаем, что преступники, кровавые убийцы, тоже люди. Но когда читаем в хронике происшествий о каком-либо новом преступлении, все равно думаем, что преступник недочеловек. И напомни кто-то в этот момент о каком-нибудь Раскольникове, мы ответим: это все романистика!

Но есть еще такой жанр, как документальный роман. В Америке его столпы Трумен Капоте, Том Вулф. От подобного романа отмахнуться труднее. В первую очередь я имею в виду «Хладнокровное убийство» Капоте. Роман только что прочитан. Вышел-то он давно. В нем рассказывается об одном убийстве, происшедшем в 1959 году. Вкратце: двое налетчиков проникли ночью в дом богатого фермера, полагая, что там есть сейф; чтобы спокойно искать сейф, они связали по рукам и ногам главу семьи, его болезненную супругу, сына-подростка и красавицу дочь; вместо сейфа они отыскали только 40 долларов; короткое совещание; один из них берет нож, перерезывает горло хозяину, остальных убивают выстрелом в лицо, в голову; всё, уезжают в Мексику, прихватив еще бинокль и транзисторный приемник.

Типичные недоделки, ублюдки.

Но читатель втягивается в текст, втягивается в жизнь, в прошлое этих двоих и в конце концов проникается к ним какой-то специфической симпатией. Так что когда их настигают, заключают под стражу и кто-то проявляет к ним милосердие, — просто на словах, несколько ободряющих слов, жестов для загнанных в угол существ, — это оказывает сильное воздействие.

Убийц ждет Перекладина. Она находится в тюремном складе, они видят ее тень. И это свершается: хруст шейных позвонков, тишина, в воздухе болтаются ноги коротышки, у одного из них они были слишком коротки, да. И ты понимаешь, что казнили не только их, но и тебя, втянувшегося в это дело читателя, хотя ты совсем другой и у тебя и в мыслях не было — и т.д. И тем не менее: чувствуешь вину. И понимаешь, что от этого нового знания тебе уже не отмахнуться. Чтение этого скрупулезного текста похоже на погружение в

батискафе в простые глубины мира двоих, ставших кровавыми преступниками.

Да, они получили то, что заслужили. Так им и надо. Финальный хруст приносит облегчение.

Но ты уже никогда не сможешь их забыть.

Так что прежде чем читать этот документальный роман, стоит все взвесить.

P. S. Это летняя заметка о летнем чтении; американское убийство я сразу вспомнил, едва стали доходить первые новости о случившемся в Кущевской. Очень похоже, только жертв больше. Но оказалось, что жертв еще больше и все совсем не похоже: в Кущевской орудовала организованная группировка.

...Впрочем, что лежит в основе действий подобных людей? Жажда наживы и неограниченной власти над другим. Все мафии, кланы, братки сходятся в этой точке: нажива и власть. И мелькает подозрение, что и тень государства касается острием этой же точки. То есть банда Кущевской не обезьяна ли государства?

...Недавнее сообщение выводит разговор вообще в иррациональную область: в той же Кущевской, где сейчас снуют менты и журналисты, 6 декабря двое жителей встретили подростка, избили его до потери сознания, а чтобы замести следы отнесли на железную дорогу: поезд разрезал его.

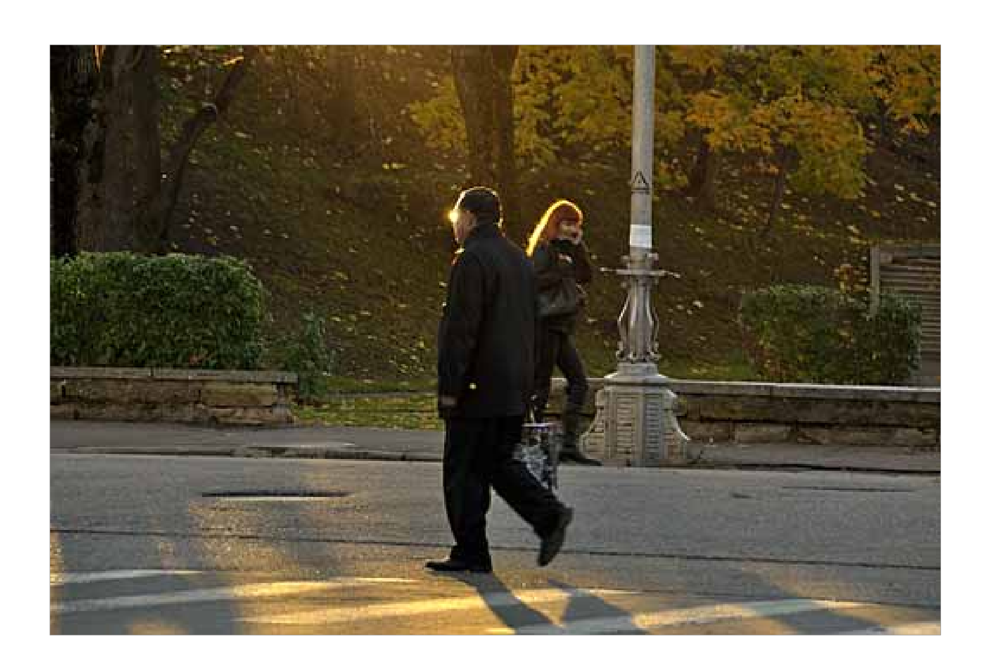
И здесь уже хочется противоречить Капоте и всем гуманистам.

Топписец

Книгу Игоря Кузнецова («Бестиарий. Книга историй», М., Союз российских писателей, 2010) читал с нарастающим удовольствием.

Первый рассказ был замедленным, точнее, я, читатель, не раскачался. Но так и всегда бывает. В любой книге есть прибойная волна, сквозь нее надо прорваться, и тогда тебя уже увлекут течения верхние и глубинные. Второй, «эфирный», рассказ был течением еще не глубинным, но достаточно сильным. Солдат всегда поймет солдата. Это рассказ армейский, герой вдыхает эфир и вступает в абсурдную беседу с грозным полковником, который довольно забавен и добр, мечтает служить в парке далекого города Брюгге смотрителем детских аттракционов. Действительность жестоко насмехается над героем, в буквальном смысле — орет голосом ненавистного полковника, который, конечно, ни о каком Брюгге и слышать не желает. Третий рассказ с легким хичкоковским налетом — «Птицы ночи» — о настоящей страсти героя — о мумиях, ибисах, поселившихся на карни-

зе под крышей театра. Герой наблюдает за ними, за священными птичками Тота, и никому не рассказывает об этом. Мрачноватый колорит рассказа великолепен, ночные тени, тишина спящего города и священные птицы. Здесь неизбежны живописные ассоциации со столпами символизма и сюрреализма, от Чюрлёниса до Магритта и Дельво. Но началась реконструкция театра. И однажды в полночь раздались их гортанные прощальные крики...



В этом рассказе автор вручает нам шифр, пароль. Вот он: «Я понимал, хорошо понимал, что они выпадают из привычной природы вещей, но естественнонаучного интереса к ним не проявлял, предполагая, что их мир хрупок и легко может быть разрушен». И с этим ключом мы отправляемся уже смело и увлеченно дальше по волнам... Впрочем, здесь не морские метафоры уместны, а — очень сухопутные, пустынные скорее всего. Ибо мекка и духовная родина у большинства героев кузнецовской прозы, собранной в этой чудесной книге в зеленой (цвет Озириса) обложке, с рисунками Татьяны Морозовой, — Египет, страна песков и миражей, до сих пор загадочная и неизмеримая: космос красных песков.

Мы знакомимся с симпатичным котом по имени Яков, который любит послушать темные тексты о Гермесе Трисмегисте и однажды исчезает во сне героя, но и наяву, чтобы через много лет явиться в виде зеленой фаянсовой статуэтки. Заглядываем на таллиннскую гауптвахту, где сидит чудаковатый немецкий парень из ультралевых. Попадаем в «Сад грез», устроенный на задворках несчастным дауном, живущим, по реплике одного из персонажей, в другом измерении. От себя прибавим: вот еще одно измерение хрупкой мечты. Окунаемся в алкогольный морок «Генеральской шинели», в ко-

тором нет ничего надуманного; бывавший там же все сразу узнает и ощутит смертельный озноб и печальную радость избавления. «...а ты не пей водки, — говорил я ему, — не пей, не пей. И не буду, не буду, — как всегда, с предельной искренностью отвечал я» (герой говорит сам с собою...).

Но у Кузнецова и мир грез такой же подлинный.

Фантасмагорическая повесть «Первое лицо» ни на минуту не вызывает чувство искусственности, выдуманности, все зримо и убедительно, хотя и абсурдно. Быть реалистом абсурда — попробуйте-ка. У Кузнецова это получается запросто (но ясно, сколько за этим стоит пыток, черновиков; только наивные читатели думают, что, например, Пушкин свои легкокрылые стихотворения писал весело и набело). Тут, конечно, есть свои секреты. Например, внимание к деталям. Вдруг увидеть, например, на воротнике персонажа, выпрыгнувшего из абсурдного мира, «белёсенки перхоти». Но этого мало. Абсурд, фантастическое надо хранить в своей душе, чтобы черпать уверенность оттуда, как живую воду — для големов своего умозрения. Повесть напряженная, читается с огромным интересом. Здесь вдруг вспоминаются повести и романы Анатолия Кима, но, возможно, все дело в том, что Кузнецов сам сообщает об ученичестве у этого мэтра. Это повесть-преодоление трагических обстоятельств, в которых мы зачастую сами и повинны. Герой Зотов претерпевает мучительные метаморфозы души, оказываясь вовлеченным в современную, урбанистическую мистерию самопознания. Наградой здесь служит — обретенная самость, обретение свершается через жертву. Герой мужественно проходит этот путь до конца. Но повесть это не какой-то тяжеловесный кошмар самокопания, вовсе нет. Написана она со вкусом, порой просто дух захватывает виртуозность исполнения; в ней есть афоризмы, своеобразный юмор: «Одними молитвами тоже не спасешься, надо как-то и с людьми научиться жить». «... ведь родственников всегда больше, чем достойных людей». Или вот – лепка дыма: «Тут Зотов и вправду вспомнил, как они все вместе ездили на вокзал, он даже почувствовал едкий запах и привкус дыма на губах, кислый, сизый, стелющийся по зеленым крышам вагонов».

Некоторые вещи, может быть, кажутся немного и затянутыми, как, например, «Золотой Урей»; порой автор бывает витиеват, стремясь в одном предложении сказать слишком многое. Последний рассказ «Кегельбан» и вовсе оставил меня равнодушным. Возможно, он выпадает из этого сборника и лучше выглядел бы в какой-либо антологии рассказов натуралистической школы.

Но ручаюсь, что давно не читал подобных книг современных авторов, пробуждающих сознание, дарящих череду различных ассоциаций, жгуче интересных. И, признаться, мне было странно, что Игорь Кузнецов не из тех авторов, о которых говорят повсюду. И не раз я восклицал в душе: да не о тех же говорят! Вот — проза, настоящая,

русская, выпестованная в сердце человека, любящего Чехова, Бунина, Гончарова, но и не чурающегося опыта певцов абсурда и умственных игр: Кафки, Павича.

Почти остров

На Днепре разлив, в автобусе парень, возвращающийся с работы в городе, сказал, что такой же был в девяносто шестом, кто-то было заспорил, но рыбака не переспоришь, тем более, что он прямо в автобусе успел промочить горло, просто спросил у пассажиров, а ехали там в основном деревенские, нет ли у кого засуху унять, ну, один ему и протянул пластмассовую бутыль, предупредив, что это водка; тот сделал внушительный глоток, закусил конфетой и представился добродетелю: «Максим», — «Федя», — ответил мужик, похожий на американского детектива Коломбо, подумал и поправился: «Федор», — и после минутного размышления сказал определенно: «Федор Иванович».



Максим рассказывал, что дорогу в Немыкари затопило, бедствуют островитяне, правда, вчера к ним трактор прорвался с хлебом. А я-то собирался пойти именно к Немыкарям, старой деревне, упоминаемой еще в грамоте князя Ростислава 12 века, село это он жа-

ловал первому епископу Смоленска Мануилу. И все-таки не послушал я Максима и пошел в сторону Немыкарей. Середина дороги уходила под воду. По обочинам дороги в воде плавал мусор, осточертевшие пластмассовые бутыли.



Пришлось поворачивать оглобли. В деревне Заборье на дороге курили рыбаки. Они с жаром принялись уверять меня, что сразу за холмом, почти за околицей — вода, никуда я не пройду, ни к Днепру, ни даже к Дубкам, и даже хмызника не найду для костра. Мне показалось, что их все это радует: и то, что нет мне дороги, и то, что их деревня почти на острове. Предупредили, что так как они меня не знают... хм... гм... а у них там... того... сети. Один из них заявил, что такое же наводнение было в девяносто шестом, високосном. Он давно эту закономерность установил: как високосный — так потоп. По-моему, они были бы благодарны судьбе, если бы весенний Днепр превратил их Заборье в полный остров: можно было бы окружить его сетями и на ужин жарить судаков и щук, варить уху. Ведь к ухе, по деревенским обычаям, необходима и стопочка-другая-третья. Похоже было, что дело у них как раз шло к этому.

Все же деревенские преувеличивали. Вода не начиналась сразу за околицей. А вот найти место для ночевки оказалось трудно: весь холм был покрыт сажей от сгоревшей травы. Весенние палы — стародавняя забава. Интересно, палили траву при князе Ростиславе? Или лень было высекать искру.

Но все же мне удалось отыскать почти островок, соединенный с остальной сушей десятиметровым перешейком. Он не обгорел. И видно было, что до меня кто-то устраивался здесь: трава примята, скорей всего лось. Хвороста набралось порядочно, заварил чая и уже в

сумерках ужинал под пение первого соловья. Палатку не ставил, комаров еще нет, небо ясное... И, просыпаясь, видел звезды, много весенних и каких-то особенно прозрачных звезд. Снилась мне почему-то Антарктида, хотя было тепло. Может, долго глядел на большую чистую звезду в густой синеве на западе, напоминавшую остров. Наверное, это цвета Антарктиды. И там, конечно, чище, чем здесь. Хотя пишут, что полярники мусорят... Ну, по крайней мере, весенние палы не учиняют. Да, впрочем, человек способен что-нибудь сделать и с этим отдаленным материком.



Магнетический реализм



Когда во второй книге «Дон Кихота» доблестный рыцарь и его оруженосец узнают о выходе подложного продолжения их приключений, у читателя немного ум заходит за разум. Осознать это событие не сразу удается. Полное торжество сверхреализма. Магия как она есть. То есть, что здесь утверждает Сервантес (почему-то всегда хочется называть его Дон Кихотом; имя героя здесь явно сильнее имени творца)? Тебе, читатель, повезло, ты свидетель подлинных событий, они вот прямо здесь и сейчас происходят, а какие-то писаки и их помощники, выпускающие другую версию, — шарлатаны. И — напрашивается невольная мысль — самая их действительность — обманна. В каком-то смысле и твоя действительность, читатель, с компьютером и мобильным телефоном. И твоя, старательный писака, пытающийся сказать хоть пару слов магических.

Здесь речь не о магическом реализме, а о магии слов как волшебстве, о магнетическом воздействии, на мгновение меняющем всё, заставляющем верить в написанное, как в другую реальность, соседствующую с этой за тонкой границей листа.

Точно так же веришь «Превращению» Кафки. Или древним сказаниям.



В эвенкийских сказаниях герои часто превращаются в птиц и отправляются путешествовать — как правило, на восток, встречь солнцу. Исследователь замечает, что это одна из немногих фантастических деталей сказаний, отличающихся трезвым реалистическим изображением. Тем сильнее это воздействует, буквально хмелит, когда герой —эх — берет и оборачивается ястребом и рассекает облака над сопками и заливами: «Добегает он до одной большой глыбы. Споткнувшись, ударился в нее лбом... Лоб его чуть не треснул пополам... Вскочил, побежал дальше — полетел, превратившись в железного ястреба. И в воздухе он продолжал свой путь в сторону восхода солнца».

Рецепта магического нет. Здесь все неизвестно. Специально магический текст не напишешь. Это происходит случайно.

На днях читаю рассказ Александра Карасева «Предатель» и наталкиваюсь на явно магическую операцию: фрагмент истории дан как детская игра в солдатики; бой времен первой мировой угрожающе отчетлив, как черно-белая фотография, фраза о танке, развернувшемся на погибшем солдате впечатывается, эта фраза развернулась тяжко в сознании.

Сюжет там прост, деревня, детство; и мальчишка случайно узнает, что его дед из казаков никакой не герой, а — «власовец». Мир по-

колеблен. Мальчишка в ауте. Дед сидит вечером и плачет на скамейке.

Но дело в том, что этот человек вовсе не трус. Здесь — больной нерв истории, власовцами становились и по убеждению. В окопах первой мировой этот дед — урядник Кудинов — бил германцев. А потом уже сражался с ними плечом к плечу. Прочитавшим «Архипелаг Гулаг» ясно, что могло его вынудить на этот шаг. Но внук в смятении.

Ситуация накалена, воздух исчерпан.

...

«Младший урядник Кудинов сменил позицию и вогнал ленту в MG».

Этой последней фразой автор все разрешает, настоящее упразднено, старик навечно остается в славном для него прошлом. Магическая игра завершается. Впечатление можно выразить в двух фразах: миг истории, магия слов.

Почвенник Кутзее

Прочитав «Бесчестье», окончательно убедился, что Кутзее мог бы примкнуть к Ап. Григорьеву, Достоевскому и Н. Страхову. Прильнуть к африканским родникам – таков пафос его романа. Чувство вины, потаенная мудрость людей сохи, смирение, — всего этого с избытком в «Бесчестье».

Связь профессора со студенткой оборачивается крахом: его изгоняют из университета, от него отворачивается общество. Профессор отправляется к дочери, живущей одиноко на ферме, — да, от нее недавно уехала подруга; кажется, дочь отдает дань сапфической любви. Когда-то здесь обитала коммуна хиппи, и вот все схлынули, а дочь попыталась укорениться. Кое-что у нее получается. Она держит собак, возит зелень на рынок. Ей помогает сосед Петрас, черный.

Профессор проводит время в беседах с дочерью, старается понять, чем привлекает ее эта скучная сельская жизнь, понемногу и сам втягивается, ездит с дочерью на грузовичке на базар и т. д. Повествование течет ровно, мелькает мысль: неужели мастер решил написать скучную историю и тем самым бросить вызов своим читателям, подспудно ждущим от каждой новой его книги неожиданных поворотов, возгонки страстей. Это было бы смело и оригинально. Да и так ли скучен взгляд интеллектуала, живущего в чреве черного кон-

тинента? По мне – так нет. Наоборот. Люблю повествования в духе «Обыкновенной истории». Это как-то ближе к тому, что происходит вокруг, каждый день. По крайней мере, здесь, в провинции. Да и вещи, о которых раздумывает герой, близки. У пятидесятилетних примерно одни думы: о женщинах, о прошлом, о безликом будущем, об «отцах и детях» и о смерти, разумеется.



Но – нет, гесиодовских трудов и дней мы не дождемся от Кутзее.

В один из дней на ферму нагрянули налетчики, профессора запирают в туалете, дочь насилуют, забирают какие-то вещи, грузят все в автомобиль профессора и уезжают. Отец возмущен, дочь подавлена. Он жаждет отмщения. Дочь – не очень. Это были черные; и не просто грабители, а насильники, — такова их «специализация». Отец и дочь вступают в долгую тяжбу, она не хочет, чтобы налетчиков преследовали как насильников, это ее личное дело; отец в смятении. Вскоре у черного соседа появляется юнец, один из участников налета, оказывается, он дальний родственник этого соседа, Петраса. Профессору, естественно, хочется его прибить и сдать полиции. Но и дочь, и Петрас ему мешают. Здесь роман приобретает черты кафкианского морока, точнее, черты всего привычного здесь расплываются. Это Африка. И именно поэтому, кстати, налетчики перестреляли всех собак в вольерах: когда-то их этими собаками травили белые. И именно поэтому профессор в конце концов устраивается помощником ветеринарши из Общества животных, умерщвляющей бездомных собак, и возит окоченевшие трупы в крематорий. Дочь беременна и должна понести. Об аборте она не хочет и слышать. И только повторяет, что отец многого не понимает, да, она

постоянно ему об этом говорит; то же самое ему втолковывают все здесь: сосед, ветеринарша. И профессор Дэвид Лури смиряется и ставит крест на всем, что было. Для начала. Чтобы попытаться понять и принять эту черную жизнь, эту черную почву. Так белые расстаются со своим прошлым. Болезненный процесс, — и процесс чтения, — но безболезненно бесчестье не исправляется.

Сумерки

Наконец наступила эта пора призрачного света. Шпенглер называл сумерки временем инструментальной музыки.



Осенью оголяется архитектура города. Ну, а это, как помните вы, «застывшая музыка». Иногда банальные вещи хороши, сам Борхес однажды благословил их, мол, лучше не скажешь. Архитектура — застывшая музыка — мне эта метафора не нравится. И в то же время она удачна тем, что позволяет вдруг обнаружить гигантскую разницу между музыкой и архитектурой. И невольно продолжить метафоротворчество и уподобить симфонию целому городу, оторвавшемуся от земли... Что-то в духе Горана Петровича, в его романе «Оборона церкви Святого Спаса» монастырь выдирается из почвы и зависает в воздухе над полчищем неприятеля.

Позавчера 15 числа купил 15 симфоний Шостаковича (распродажа). Так совпало. Уже слушаю. Первая симфония точно не музыка сумерек. Ухо тянется к Баху, Генделю, Пёрселлу. Но посмотрим, что из этого получится. Элгар, например, осенний композитор, его марши созвучны с медью кленов и вязов, облаками, озаренными особым резким светом. Ведь и в сумерках бывают разрывы.

Только музыка

«Вследствие всеохватывающего характера музыки многие творения ее не могут быть истолкованы как выражение человеческих чувств и стремлений». Н. Лосский.



Вот о чем мечтает любой сочинитель: превзойти слишком человеческое. И к этому же стремится философ: бросить на все нечеловеческий взгляд. Но приближаются к этому музыканты. Взять хотя бы «Прометея» или «Экстаз», там кипит протоплазма, на наших

глазах возникает мироздание, причем такое впечатление, что об этом говорят именно силы, создающие все это.

Но Толстой, например, считал музыку служанкой литературы. То же и Набоков. Слово или звук? Звук слова.

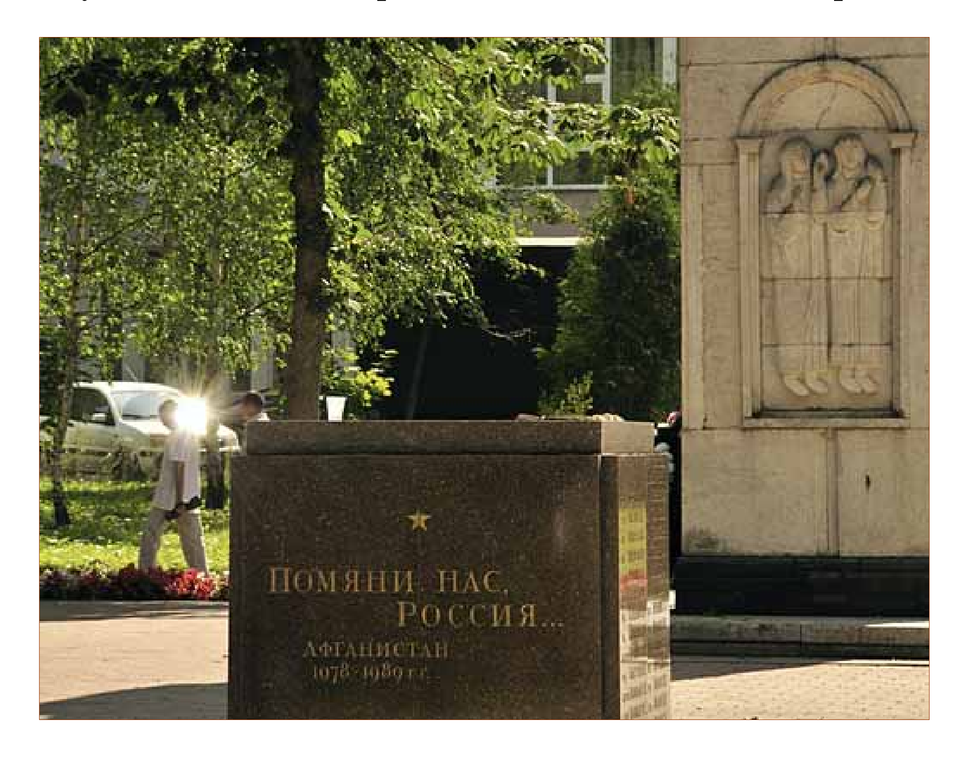
Николай Лосский различал три уровня внутренней жизни: психоидная, психическая и гиперпсихическая. И считал, что только музыка может выразить внутреннюю жизнь стихий, растений, человека, планет и высших сфер.

Рикошет

Повесть Игоря Фролова «На пересылке» не об Афганистане. Это неожиданный взгляд на Иосифа Бродского. Версия пребывания поэта в семье рассказчика, живущей в забайкальской тайге, на золотых приисках, выстроена убедительно. Поэт оказывается магически — а может, и физически, — приобщен к рождению рассказчика. Через двадцать с лишним лет рассказчик — и в какой-то мере «сын» поэта — оказывается на войне в той стране, куда намеревался однажды бежать Иосиф и о которой он сочинил известное стихотворение «О зимней кампании 80 года»... Остроумно, и отлично написано, повесть быстрая и при этом подлинная в звуках и красках, пряных восточных и суровых сибирских. И пафос ее понятен.

Но разделить этот пафос лично мне мешает еще один герой: дядя рассказчика, сотрудник госбезопасности, к которому в конце концов попадает поэт. Да, чего не бывает. Сначала судьба свела поэта с геологами, потом — с их родственником. Геологи его обогрели, дали ему кров. Но... и чекист делает, по сути, то же, он просто спасает поэта, выталкивая его за пределы страны, заставляя подписать бумагу. Ну, это уже пережим, гротеск. И эта фигура, как магнит, начинает вытягивать из текста все крючки и подначки неблагозвучных эпитетов и метафор, которыми уснастил поэта рассказчик. И этот магнит-чекист раздевает и оголяет всю конструкцию. Виртуозность и уровень исполнения не могут затушевать заданность, умышленность этой прозы. Чекист оказывается лакмусовой бумажкой. А жаль. В повести царит некий дух бытийствующий, задающий высокую точку зрения, время-пространство в ней мастерски сплавлено и в конце концов оборачивается тем самым камнем, который кладет сестра героя в Венеции на могилу поэта. Камень с афганской дороги. Жест, достойный древнегреческой трагедии. Правда, именно трагическое здесь не показано, это только подразумевается, что тоже можно поставить в упрек автору. Но ему некогда было, перед ним стояла другая задача: показать всю нищету и тщету этого человека, поэта. А в

древнегреческих трагедиях главные герои, как правило, равны величием духа. Столкновение равных и высекает истинно трагический



свет. Простая вроде бы истина. Но многое нам неочевидно. И для того, чтобы только это еще раз понять, уже стоит читать повесть.

Что видел западный ветер

Дул сильный западный ветер. У старого почитателя Дебюсси не могло не возникнуть соответствующей ассоциации. По склону холма прокатывались зеленые волны. Но здесь встречались участки рыжеватых крошечных мхов, и травы все-таки были не так высоки. А вот внизу, на лугу у излучины Городка колыхалась настоящая пучина, по-восточному пестрая, пышная. Сорвав землянику, распрямился, глянул на эту живую объемную ткань и сразу увидел уши — заячьи. Но чтобы из такой травы они торчали, зяц должен быть размером с осла. А уши и походили на ослиные. Но вот стала заметна и холка — горб. Кабан? И высунулась морда — горбоносая, длинная. Лось. И он весь тонул в травах. Что-то жевал, прядал ушами.

Исчез.

Я снова занялся плантацией пахучей земляники. Наконец вволю наелся, остановился перед лугом у березы. Вид этого луга хотелось

запомнить навсегда. И я стоял, смотрел. Пока не увидел вдруг наплывающее из трав рыжеватое облако. И следом вышел лось, почти на меня, в десяти-пятнадцати шагах от меня пошел, остановился, повернул голову и посмотрел на меня. Глаза у лося были большие, выпуклые, темные. Он смотрел на меня в упор... И отвернулся, побрел неспешно. Я пытался определить, кто это, лось или лосиха. Но тут ответ явился сам собой — из травы выбежали два голенастых светло-рыжих лосенка, ростом с борзую, облачко мошкары над ними было много меньше, чем над мамашей. Троица спокойно прошла по склону и скрылась в березняке. Я помахал им обеими руками вослед, радуясь, что звери меня перестают бояться. Впрочем, одежда на мне защитной окраски, кто знает, заметила меня вообще лосиха, хотя и глядела в упор. Ветер-то дул сильный с ее стороны.



Позже из этого березняка вышел лось с двумя толстыми побегами рогов и длинной бородкой, может быть, это болталась шкурка с отрастающих рогов. Этот меня увидел точно и побежал. Впрочем, неторопливо. Удивительно лоси похожи на лошадей, да, на каких-то одичавших лошадей. Здесь им раздолье. Когда-то на холме стояла деревня. Мужики, конечно, спорили из-за покосов, как обычно. Однажды — двадцать лет назад — я видел сам, как двое дрались из-за покоса, не здесь, а на Васильевских родниках. С косарем я там заговорил, он закурил самокрутку, начал рассказывать про Твардовского и тут накатила колесница — «Белорус», оттуда выскочил такой же невысокий и сухонький мужичок с матом-перематом, мол, это моя делянка. Косарь вскочил: нет, моя. Они сшибались, как два петушка, но до серьезного мордобоя не дошло. «Ну, глядиии! — крикнул

тракторист, забираясь в свою колесницу, хватаясь за рычаги. — Попомнишь ты! Боком тебе это сено выйдет!» И укатил.

И вот никому не нужен этот роскошный луг; и землянику наверняка ходили собирать деревенские дети; и в роднике, конечно, брали воду. А теперь лишь качает травы западный ветер, да бродят... ослы.

Тяжи Садулаева

«Шалинский рейд» Садулаева еще раз подтвердил особый статус худ. литературы: ни телерепортажи, ни газетные статьи, фотографии не дают столь живого, глубокого взгляда; тем более, что этот взгляд — изнутри. Садулаев пишет то спокойно, «стерто», то нервно, импульсивно; еще бы, ведь повествует он о событиях оглушительных в конце 20 — начале 21 вв. — о двух чеченских войнах. Но в целом его стиль стертый, серый; о богатстве языка не поговоришь. Но, возможно, подобные события диктуют именно такой стиль и рассказывать об этом следует сухо, сжато, информативно. Хотя известны и другие примеры, «Конармия», допустим.

Садулаев напоминает нам все.

Автор не участвовал в боевых действиях, но сумел провести своего героя дорогами войны. Его герой, правда, временами чересчур интеллигентен, мягок, тогда как федералы, русские — злы и жестоки. Но почему бы и нет? В чеченском «Сопротивлении» участвовали разные люди. Тем более, что в конце эта мягкость, половинчатость, склонность к рефлексии обернется все-таки предательством.

А, может, и не предательством?

Герой наполовину русский, наполовину чеченец; в нем противоборствуют две крови, и одна из них побеждает. Но воля героя не склоняется ни на чью сторону и выбирает третий вариант: побег в Европу, в иной мир, в Париж.

Самолет в небе взорвется.

Только в смерти избавление от всех проклятых вопросов. Или в сумасшествии. Намеки на сумасшествие в романе есть. Композиция так выстроена, что чеченские события даны ретроспективно, в настоящем – беседа с врачом, следователем. К сожалению, этот прием не назовешь удачным. Обращение к доктору и следователю – а может, и «судье» — вызывают чувство неловкости. Они словно бы ставят под сомнение все, что происходит в романе.

Но, ясно, что груз автора велик. Трудно шагать, не шатаясь. Лучники-критики целятся в него со всех сторон. По случайному совпадению, как раз в эти дни чтения романа мне попались на глаза сти-

хи Хакани, азербайджанского поэта средних веков. Еще в прошлом году купил его книгу, но удовольствие растягиваю. И вот строчка, которую хочу здесь привести: «Сохрани лишь верность слову, жизни разорвав тяжи». По-моему, это и могло бы стать эпиграфом к статье о романе.

Поэма рока и пространства

«Слово о полку Игореве» — живая древность, перечитывать можно не раз. Это поэма о роке и пространстве. Поэма языческая. Христианский князь с дружиной и крестьянским ополчением выступает в поход на Степь, на «поганых», т. е. язычников. Он отправляется на покорение Пространства. Чтобы добыть славу и честь. Языческое пространство грозит ему: затмевается солнце, появляются звери, свищет див на дереве. Мы понимаем: поход обречен. Но князь всех подбадривает и призывает уповать на Бога.

Есть в этом привкус древнегреческой трагедии.

Половцы идут как тучи, телеги у них кричат лебедями. Языческое пространство окружает горстку храбрецов (тут вспоминаются спартанцы Леонида, осыпаемые стрелами персов).

Князь пленен. Пространство язычества победило.

Князь бежит. И помогает ему Пространство же. Это бегство демоническое. (На Древнем Востоке: бегство бога-пастуха Думузи от Иштар с различными превращениями.) Христианский князь в содружестве с языческой природой.

На мой взгляд, лучшие страницы «Слова». Здесь меняется ритм:

Игорь спит,
Игорь бдит,
Игорь мыслию поля мерит
от великого Дону до малого Донца.
...Кликнула,
стукнула земля,
зашумела трава
...горностаем к тростнику
и белым гоголем на воду
...серым волком
...соколом.

Теплые туманы Донца, студеная роса, зеленая трава на серебряных берегах (берега меловые), веселые песни соловьев на рассвете, стук дятлов по оврагам. До озноба чувствуешь эти степные утра. Странно взгляд автора совпадает со зрением современного человека эпохи глобализма. Это в наше время не составляет труда мыслию об-

ширные пространства мерить. С детства у нас под рукой карты, глобус, а сейчас и компьютер. Но автор «Слова» умеет это делать — пространственно мыслить — не хуже, а, пожалуй, и лучше: ясно, смело.



Эпитеты, сочетания красок, метафоры — удивительная чистота, точность, сочность. Древнерусский текст рокочет и гудит, я читал его вслух еще школьнице дочке. И она с интересом слушала, не понимая всех слов, но воспринимая их прапамятью. Крыки лебедей, кличи дива, клекот орлов, и то, как лисицы брешут на чръленыя щиты и гремлеши о шеломы мечи харалужные.

Крепкое вино эта старая речь Донца и Дона, Днепра.

Ослепительное зрелище: поход христианского князя в языческую степь.

Все это столь целостно и гармонично, что всякие споры и сомнения упраздняются: подобные вещи вневременны.

Лодка, река, песок

Еще доцветают ландыши. В травах бледно-розовые цветы шиповника. Солнце садится. Пролаяла косуля. Ударила в колокол кукушка. Прихожу в себя после броска по дорогам. Старый велосипед слу-

жил лет двадцать пять и развалился. Прошло три-четыре года, и вот появились деньги, купил новый, семь скоростей, отличный багажник. Еще бы прикупить и здоровья...

Но утром все было в норме. Позавтракал, наладил удочку. Днепр полноводный после дождей, лениво катит свои тонны, качает мой поплавок. В глубинах ходят рыбы.

И ни одна не клюет.

А комары и слепни беснуются. Рвутся сквозь дым костра и аэрозоль к твоим жилам. На Рыжем ручье открываю мыльницу — оттуда с тяжким гудением вылетает слепень. К лагерю прихожу с котелками, полными воды, веточек, цветочных лепестков и битых слепней. Приноровился носить котелки в одной руке, а другой отбиваться от ненасытного ворога.

Три дня пас с удочкой рыбу, и она паслась себе, не обращая на меня внимания. Поплавок качался, кружился в водоворотах, и я уже не смотрел на него, а глазел на перелетающих парами с берега на берег соек, на плывущие облака, слушал брачную трель дятла в дубраве. Однажды на реке появилось бревно. Приблизилось и обернулось полузатопленной плоскодонкой. Я уже хотел было броситься в воду и перехватить ее, но вовремя вспомнил, что нет весла. А выстругивать из дерева в такую духотищу — себе дороже. Лодка медленно прошла мимо. Да и ладно, у меня есть прекрасное средство передвижения — велосипед, зеленый, с блестящими крыльями. А рыба если не берет у берега, не будет клевать и дальше. Нет, пора уходить, меня еще ждут другие стоянки. И я собрал удочку, скрутил спальник, вложил котелок в котелок, свернул палатку, приторочил рюкзак и, махнув приютившему меня месту на прощание солдатской выгоревшей на солнце шапкой — ох, языческий это жест, но ничего не поделаешь, привычка с байкальских еще времен, в заповеднике у каждого зимовья был «хозяин» — начал пробиваться сквозь душные жужжащие травы к дороге.

«Твоим будет голос, а слова будут бога».

«Двойной язык» Уильяма Голдинга — роман о Дельфах, о странноватой некрасивой девушке с соответствующим именем Ариека, сиречь варварка, которая чуть было не стала обыкновенной женщиной, женой, но вдруг задумала удрать от жениха и свадьбы, закуталась в плащ, села на осла, да была разоблачена, возвращена. Жених от нее отказался. Но тут поступило неожиданное предложение из таинственного религиозного центра всей Эллады — из Дельф: стать Пифией, супругой бога, точнее богов: Аполлона и Диониса. И ее усадили на повозку... Лучшие страницы романа. Вместе с героиней читатель, преисполненный любопытства, движется в Дельфы, вступает в храм, в библиотеку, полную драгоценных свитков, где биб-



лиотекарем счастливый раб Персей, да, он говорит, что никая свобода ему не нужна, ни деньги, ничего (вдруг мелькает мысль о Борхесе, но Персей зряч). Наконец — таинство, собрались вопрошающие, среди них римляне, которые уже господствуют над Элладой. Пифия не совсем понимает, как ей удастся сыграть свою роль, и надо ли играть... Играть ей не пришлось. «Вдруг все мое тело начало содрогаться — не кожа с ее поверхностной дрожью, но глубокая плоть и кости — судорога за судорогой, и они повернули меня вбок, затем кругом. Мои колени ударились о землю, я ощутила, как рвутся ткань и кожа.

— Эвойе!

Это был бог. Он явился».

И у читателя нет сомнений: да, явился в этих словах. Ну, не бог, а нечто, волнующее нас, темное, ждущее ответа.

Голдинг без видимых усилий, особенных уловок создает атмосферу тайны и близящейся разгадки; погружает нас в условную реальность эллинистической Греции. Язык его прозрачен и прост. Но в нем бьется некая тень, и это завораживает. О подобной двойственности мечтает любой пишущий. Увы, не всем дано приобщиться к таинствам высокого творчества. Но есть возможность хотя бы подсмотреть, как это происходит: служение НЕВЕДОМОМУ БОГУ. Последние слова венчают этот удивительный роман.

Детали

Документальный рассказ Капоте «Здравствуй, незнакомец», за столиком знакомый рассказывает писателю о последних событиях своей жизни. Он купался в море, наткнулся на бутылку с запиской от 12-летней девочки, повел с ней переписку, и однажды к нему явились полицейские: родители девочки бьют тревогу.

Жена героя переселяется в другую комнату, перестает с ним разговаривать. Оказывается, полицейские однажды приходили к ним с жалобой другой какой-то девочки на приставания пожилого господина, она записала и номер его машины — совпавший с номером машины героя... Все время встречи герой сидит в темных очках и глушит виски. Под конец он снимает очки, чтобы протереть глаза — и автор дает нам возможность их увидеть: глаза с раздробленными хрусталиками. «Ты-то мне веришь?» — спрашивает герой. И автор пожимает ему руку. Еще бы, не верить разбитым глазам.

Вся сила рассказа в этом.



Любителям драйва

Ирвин Уэлш, «Дерьмо». На оранжевую обложку этого романа вынесена цитата из «Independent»: «... ШЕДЕВР Ирвина Уэлша, возможно, ЛУЧШИЙ из его романов».

Ирвин Уэлш неистовый шотландец, культовый, непримиримый, знаковый, короче, — альтернативный. Он с младых ногтей пишет про джанков, отвязных тинэйджеров, молодых громил, торчков, и просто угрюмых типов, скитающихся по европам в поисках... ох, не смысла жизни, конечно, что за фигня?! — в поисках этого, ну, типа закинуться чем-нибудь хорошенько, побузить в пабе, заявить лондонским пирожкам, что они все — геи, — и потом, конечно, горячий шотландский секс в сточной канаве, да нет, в гостинице чаще или в «красном фонаре». Его фирменный стиль — шок и напор. Его главный герой обычно гад, ну, есть в любом из его героев что-то такое. «— Отъ...сь, — прошипел я». Шипит герой одного из рассказов сборника «Эйсид Хаус», закрутивший бурный роман с барменшей, которая оказалась бывшим мужчиной, и по-настоящему влюбилась в этого шипящего, ну и не без его помощи бросилась головой в амстердамский канал. Герои Уэлша слегка напоминают персонажей: 1) Селина; 2) Буковски; и даже 3) Достоевского. Менее всего героев второго. Бродяги, убийцы, проститутки и алкаши Бука на самом деле какие-то очень душевные люди, симпатичные, здравые в своей основе, — даже два мужика, по пьяни выкравшие у ротозеев санитаров труп молодой красивой женщины и в конце концов... ну, вы поняли. Таково, видимо, свойство личности самого Чарльза Буковски: не было в нем ничего шипящего. И все эти вывихи — лишь трюки художника; да, убедительно представленные, но не свершающиеся в потаенной глубине души. Это как-то сразу чувствуешь. Чего не скажешь о Селине, о героях «Путешествия на край ночи». С Достоевским все сложнее, он слишком широк. В его сознании отражался весь человеческий космос, как в органе Баха, и ему не составляло труда звучать в разных регистрах. Но вернемся к Уэлшу. Его некоторые герои сами признаются, что им русский писатель не чужд. И в них действительно есть что-то от подпольных людей нашего соотечественника. Они смакуют страдание, лелеют свою злобу, бредят и ненавидят весь мир. И увеличивают его зло вполне сознательно. Чаще всего это мелкие пакости. Ну, например, написать на стенке туалета в учреждении, что коллега — сволочь, лизоблюд, оговорить друга, соблазнить его жену, — ага, ставки уже растут!.. Незаметно мы перешли к главному герою «Дерьма», Брюсу Робертсону. И не надо больше по-детски отождествлять тварь и творца. Он полицейский, ведет расследование убийства черного, оказавшегося сыном дипломата. Внутренняя жизнь полицейского отдела дана столь убе-

дительно, что невольно хочется заглянуть в справочник, э, да не служил ли писатель сам? Кто? Уэлш? Улетное предположение. Ладно, это так, понты. Просто знаком с участком он отлично. Правда, по ходу дела накапливается недоумение: этим-то они и занимаются, шотландские менты? Хлещут виски, нюхают кокс, переезжают из одной забегаловки в другую, подсиживают друг друга да шантажируют случайных жертв? Расследование в конце концов начинает выглядеть каким-то фарсом. Впрочем, в финале станет ясно, почему. Но фарсовый привкус работы полицейских останется. Хотя — не самое плохое послевкусие от этого романа. Упрек, возможно, и необоснованный. Это же не производственный роман, да? Как сказать. Думается, что многие творения прославленного шотландца — на производственную тему, все они весьма подробно описывают процесс получения удовольствия/неудовольствия от всяческой шмали: кокса, герыча, травки. Мир его торчков довольно механистичен. Или так оно и есть? Но вспомним мир курильщика опиума сэра Томаса Де Куинси. Почувствуйте разницу. Так вот, следите за мыслью, от производителя производственных романов мы вправе ожидать подробностей процесса во всем. Но автор избирателен: подробности секса, традиционного, нетрадиционного, — пожалуйста, подробности прыжка белого кролика из гнутой ложки в вену — нате, или подробности распиливания бензопилой одного ученого-подонка, подробности налета молодежной банды на коттеджи (имеются в виду другие произведения мэтра). Ну да, любой автор избирателен, кто спорит. И все-таки автор производственных романов чем-то отличается от всех иных. Он любит процессы. Физику и химию, не претворяемые в метафизику.

Но вот как раз попытку подобного претворения можно найти все-таки в романе Уэлша. В третьей главе в текст вторгаются некие позывные, очерченные с обеих сторон волнистыми линиями. Это похоже на какую-то азбуку Морзе, только вместо точек-тире — нули и буквы. Знакомьтесь, еще один персонаж: ленточный паразит. Рано или поздно он обретает голос, начинает чуть ли не философствовать в духе, естественно, Артура Шопенгауэра, чья цитата взята эпиграфом к роману: «Мы будем рассматривать жизнь как дезенгано, как процесс разочарования, потому что все, что случается с нами, рассчитано именно на это». Итак, процесс! Ага?! Разочарования? Ну да. Брюс Робертсон разочарован решительно во всем: в сослуживцах — они все засранцы, в телках — им только и надо..., в государстве, оно излишне демократично, особенно насчет всяких недоношенных представителей рода людского и тех, кто плывет в светлый сытый мир на своих пирогах; жена от него ушла, его лучший друг — недоделок, полуслепая свинья. А как поживает философствующий червь? Он озабочен, естественно, — все-таки Уэлш реалист, — процессом пищеварения, поступления еды. Но и он будет разочарован препаратами, прописанными лечащим врачом, который, разумеет-

ся, тоже недоносок. И заголосит. И будет повествовать напоследок своему хозяину о его, хозяина, трудном детстве. Там, мол, корень и источник. Как будто Брюс уже не ражий мужик, умеющий сопоставлять и прикидывать, вполне рациональный, а все еще тинейджер с грязными ногтями. Ну да, да. Конечно, детские впечатления — сильнодействующая вещь. Но зачем их пересказ доверен этой, так сказать, рептилии, засевшей в лабиринтах организма? Воспоминания ленточного паразита? Вот он самый и есть андеграунд и самая она – альтернатива. Таракан Замза выглядит чересчур респектабельно. Змеи, гиены Боулза просто смешны. А вот внутренний голос и альтер эго эдинбургского копа в виде ленточного паразита — это круто. Ну, и вывод, опять же напрашивается сам собой: сволочи все мы, паразиты в этой вселенной. Но, конечно, Брюс Робертсон со своими шелушащимися гениталиями многим даст сто очков вперед. Чего стоит растление несовершеннолетней дочери ненавистного адвоката. Или его «дружба», когда он подбрасывает своему подслеповатому товарищу перед посадкой на самолет наркоту, чистый амстердамский порошок, такого якобы в Эдинбурге не достанешь, пусть, мол, попытает удачу, а схватят за... жабры — ну и хрен с ним. Предательства и пакостничества в нем столько, что уже на середине перестаешь верить. Но! Читать все равно интересно, захватывает. И дело не в желании узнать, кто же замочил этого черного и почему, в общем, честно говоря, это понятно сразу. Наверное и вы, не читавшие еще роман, врубились? Просто «Дерьмо» подобна хорошей композиции «Назарет», разве имеет там значение смысл слов? Главное — драйв. И этого в шедевре Уэлша предостаточно. Нет, будем справедливы, есть там и смысл, и проникновенная сцена спасения случайного прохожего-сердечника, — правда, из-за того, что Брюс-спаситель часто потом этот эпизод вспоминает, спасение превращается в фарс, как и расследование... Но я лично никогда больше не возьму в руки шедевров мэтра, баста! Я теперь знаю точно: он прежде всего производитель драйва, этакой дули, наполняемой затем всякими проблемами-вопросами, которые мгновенно рассеиваются, стоит только захлопнуть книжку и швырнуть ее в дальний угол.

И... есть, есть в нем что-то шипящее.

Шевеление корней

Оставил палатку и велосипед на ручье и пошел вечером прогуляться. Осмотрел курганы. Их здесь много, около 20. Два или три разрыты и не закрыты, а это значит, что действовали черные археологи, сиречь варвары. В одном кургане чья-то нора. Скорее всего ли-

сья. Они тут тявкают по ночам. На некоторых растут березы. Я прислонился к одной передохнуть, дунул ветер — и я почувствовал ее качание и шевеление корней. Иван-чай на курганах уже раскурил свои рубиновые трубочки.



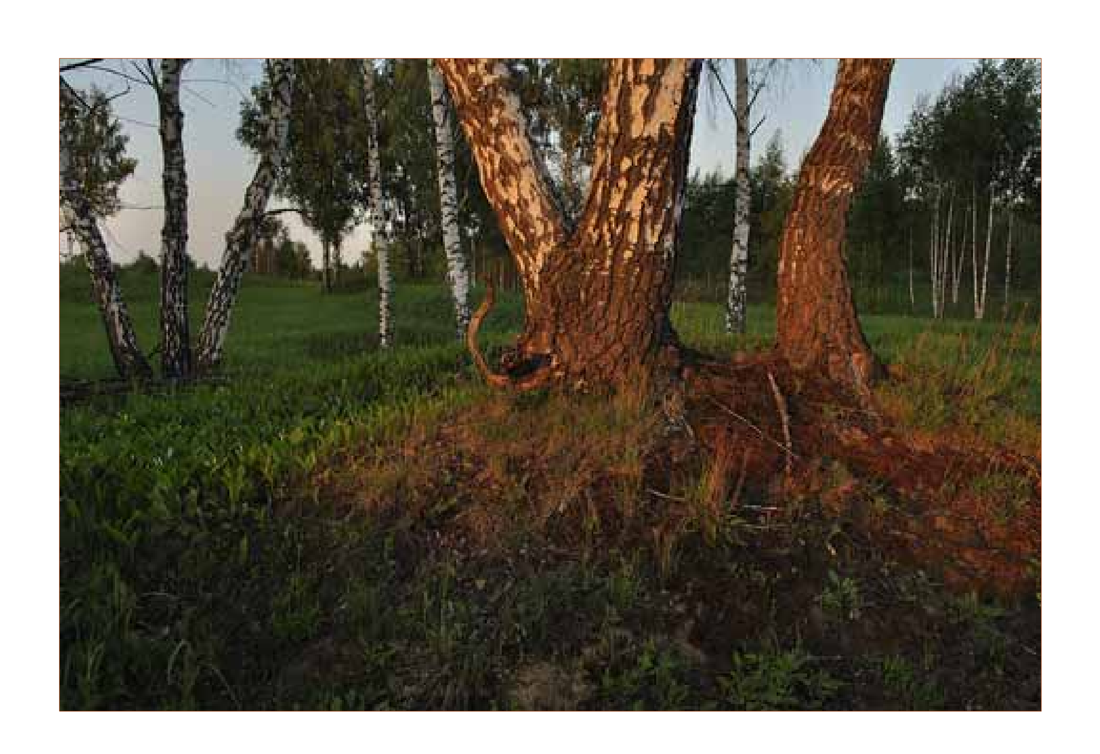
Двигаясь по склону Арефьинского холма, срывал поспевшую землянику и неожиданно вышел к роднику. Это место я сразу узнал. Около двадцати лет назад нашел здесь родник, он лежал среди трав, светлый овал, млечно-песчаное дно, и бурунчики песка бились как дойни серны, — не знаю, почему именно эта метафора пришла на ум тогда, может, читал Хайяма или Саади. Ну и назвал его Млечным. А потом потерял родник, сквозь травы не хотелось пробиваться, раз попробовал — не нашел. Ладно, думаю, исчез; в этом лучшем из миров горы и моря пропадают. И вот вновь нашел. Раздвинул травы, сочные листья тростника и узрел почерневшую тухлую ямку. Увы, таковы метаморфозы тленной природы.

Но где-то в зарослях клокотала вода, спустился ниже. Откуда-то из-под земли, сплетения корней бил холодный ручей, падал в глиняное ложе, тек дальше. Жив родник. Правда, теперь уже с другим именем — Арефинский.

Обратно шел по росе, сапоги тускло блестели.

Внезапно увидел на западном небосклоне первую большую и светлоструйную звезду.

...Стоянку было прошел, но услышал звучные коленца и повернул, здесь пел только один соловей, рядом с палаткой.



Будда русской жизни

Возможно, кто-то уже говорил это, — а нет, тем лучше, — если Пушкин наше солнце, то Гончаров — луна. «Обломов» все-таки самый сокровенный роман у нас, при всех его изъянах. Дидактики в нем изрядно. Не все герои одинаково хороши, живы. Ну, известные упреки: Ольга, Штольц слишком умышленные. Присоединяюсь. Но вот что любопытно: по сюжету Ольга и Штольц должны выводить из спячки Илью Ильича, а что происходит на самом деле? Полнокровными эти персонажи делаются только от соприкосновения с ним, сонным Ильей Ильичом. Когда Ольга и Штольц вдвоем, читателя одолевает скука. А Обломов чудо как хорош, интересен даже один, со своими снами и страхами. Кстати, и Агафья Матвеевна колоритнее Ольги. «Утонуть в раздумье», — вот пафос Обломова и разгадка русской жизни. Обломов с Захаром — Дон Кихот с Санчо, только более последовательный в своем несогласии с пошлым миром. В романе много магии, но до нее надо добраться, примерно до сотой страницы, когда Илья Ильич посмотрит в зеркало: и вдруг отраженная комната с величественным диваном наполнит ваше сознание, как будто это вы бросили взгляд в зеркало. Обломов — русский будда. И даже смерть его подобна нирване, угасанию; ведь он мог бы жить? а так как-то... не захотел.

Березовый ассириец

Пора было пополнить запасы, выбрался на Глинковский тракт и отправился в ближайший магазин — за 12 примерно километров.

После десятиминутного освобождающего рывка по тракту, решил притормозить, надо было очистить звездочки от травы, свернул к молодой березке, подъехал вплотную — и почти носом ткнулся в живую ярую, как у ассирийцев на барельефах Пушкинского музея, темно-рыжую курчавую бородищу: улей! А от меня на версту разит дымом, брезент штормовки в белых соленых разводах, футболка мокрая. Пчелы болезненно — для окружающих — реагируют на запахи опасности. И я рванул прочь, лихорадочно переключая скорости, пока не увидел цифру 7, последняя. Оглянулся: никого, деревце, облюбованное переселяющимися куда-то пчелами, осталось далеко позади.

Перевел дух.

Забавно!

Вчера вспоминал Винни Пуха, мультфильм, именно эпизод с медом, бегающим под деревом Пятачком, его присказку: «Кажется, дождь собирается… ц-ц-ц». Винни Пух с голосом, разумеется, Леонова. Всенародный мультфильм, даже отъявленные алкаши в самых дремучих уголках отчизны этих персонажей знают — хотя бы по анекдотам. Ну, в общем, какой автор время от времени не размышляет о причинах популярности. Но… вот, вышло какое совпадение. И в дороге почему-то такие совпадения учащаются. О чем там я еще вчера думал? Пытался вспомнить и предугадать будущие встречи.

Дорога, как всегда, была пустынна.

Белый Холм

Белый Холм добротная деревня среди лесов, точнее, это форпост, за которым начинаются настоящие сосновые, еловые леса с приднепровской полосой реликтовых дубрав. Здесь учился Твардовский и родился отец Анатолия Приставкина. Когда-то была барская усадьба. Говорят, ее можно было увидеть издалека, дом с белыми колоннами, отсюда и название деревни. Не знаю, сейчас деревню угадываешь за много км по темному, почти черному пятну холма: сосновому бору. Под соснами кладбище. Барский дом, конечно, не здесь стоял. Тут на память приходит Беловодье. Страна за чертой.

Но сейчас меня интересовал сельмаг. Когда я подкатывал к нему, из дверей выходил седой продубелый мужик в камуфляже, похожий на американского шерифа, строго-вопросительно взглянул на меня; может, охотовед. Сел в Уазик, поехал. Я прислонил велосипед к кирпичной стене, вошел в магазин, поздоровался. Полки были уставлены крупами, бутылками, банками; в коробках лежали бананы, абрикосы; в лотках хлеб. Дошла очередь до меня. Обе продавщицы, дебелые загорелые видавшие виды женщины тем не менее смотрели настороженно, посетителей больше не было. Так всегда глядят на задичавшего слегка странника, я привык. Почти неделю уже у костров обретался, помалкивал… и первые слова давались с некоторым трудом. Продавщица наклонялась, пересыпая из мешка крупу, и я, взглядывая на вырез платья, уже думал, что название деревни надо переиначить. Крупы оказалось многовато, попросил отсыпать. Продавщица кивнула и принялась загорелой рукой зачерпывать из пакета, отсыпать. «Так пойдет?» Еще я купил консервированную ставриду, сардины и шпроты; пачку индийско-китайского частично гранулированного чая; вермишель; антикомариную мазь; овсяно-арахисового печенья; и бутылку минералки.

— Все? — подозрительно спросила продавщица.

Все до меня брали водку. Каждый покупатель по бутылке. Но я же не маньяк, чтобы пить в такую жару и в одиночестве.

Не успел отъехать, начался дождь. Пришлось останавливаться, укутывать рюкзак целлофаном, надевать желтую накидку. И все это время слушать какой-то треп невидимых мужиков, мирный, хмельной и непонятный, преимущественно из междометий. Вдруг к ним направилась под дождем пожилая женщина в халате и платке и в калошах на босу ногу. «А как же тебе не стыдно, — тут же напустилась она на одного из них, — батька при смерти, а ты?» Мужики молчали. «Что? Сколько можно? Ну, помочь, да, но не жрать же как не в себя?!» Мужик забубнил что-то… Она продолжала, распаляясь.

Я сел на велосипед и покатил своей дорогой, радуясь наплывающей тишине.

Хакани и технический прогресс



Долго искал и наконец вчера купил сборник Хакани, персидского поэта-мистика:

> Сидящий выше Хакани, не возомни, что у него —
> Одни грехи, а у тебя — сплошных достоинств череда.
>
> Ведь в небе пасмурный Сатурн всегда сияет высоко,
> И над Юпитером стоит злосчастья грозная звезда.

Так было всюду и везде: где нефть встречается с водой.
Нефть поднимается легко и опускается вода.

И на поверхности лежит солома после молотьбы,
И зерна оседают вниз… Так будет на току всегда.

К этому стихотворению переводчик сделал примечание о том, что вода была ценнее нефти.

Сейчас не найдешь безумца, который сравнил бы нефть с соломой…

А Хакани сравнил! Он бросил вызов техническому прогрессу.

«Ваша нефть сгорит, как солома!» Так ведь и сгорит. А слово поэта на всемирном току так и будет оседать вниз, наполненное тяжестью высокой пробы.

«Скажи ему, что ты нас видел»

Персонажи пьесы «В ожидании Годо» достигли преддверия, странной местности с одним деревом, на котором им все время хочется повеситься. Дерево на следующий день распускает листья, хотя казалось мертвым.



Впрочем, есть ли здесь время? Вопрос. Если оно и есть, то довольно странное. А может быть, таковы изъяны героев, они не помнят, что было вчера, все путают и похожи на жалких и жестоких детей. Один из них слеп. Хотя вчера еще был зряч. Зовут его, правда, не

Павел, а Поццо. Мелькают имена Авеля и Каина. Друзья, Владимир и Эстрагон, ждут таинственного господина Годо. Вспоминают разбойников, которые были распяты вместе с Христом. Но кто таков господин Годо? От него вдруг приходит вестник — мальчик. Но ясности не вносит. Лишь сообщает кое-какие мелочи, ну, то, что у него есть брат-пастух, и что у господина Годо борода седая. На вопрос, не приходил ли он вчера? — мальчик отвечает, что нет. Но, появившись назавтра, скажет то же самое.



Куда же попали Владимир и Эстрагон? И кто таков Годо? А Поццо со слугой, претерпевающим страдания и побои? И почему их так тянет повеситься?

«Мой близкий! Вас не тянет из окошка / Об мостовую брякнуть шалой головой?» — вопрошал Саша Черный. Да, всегда есть причины... в общем, мелкие.

Но героев Беккета гнетет что-то другое, какая-то неотступная глубокая мысль. И ее выражение — вся эта пьеса, уподобленная музыке. Как и в музыке, здесь надо схватить целое, самый дух звучащих строк. Да что ж томиться: дух этот библейский. И вся странная местность озарена именно этим смыслом тысячелетий.

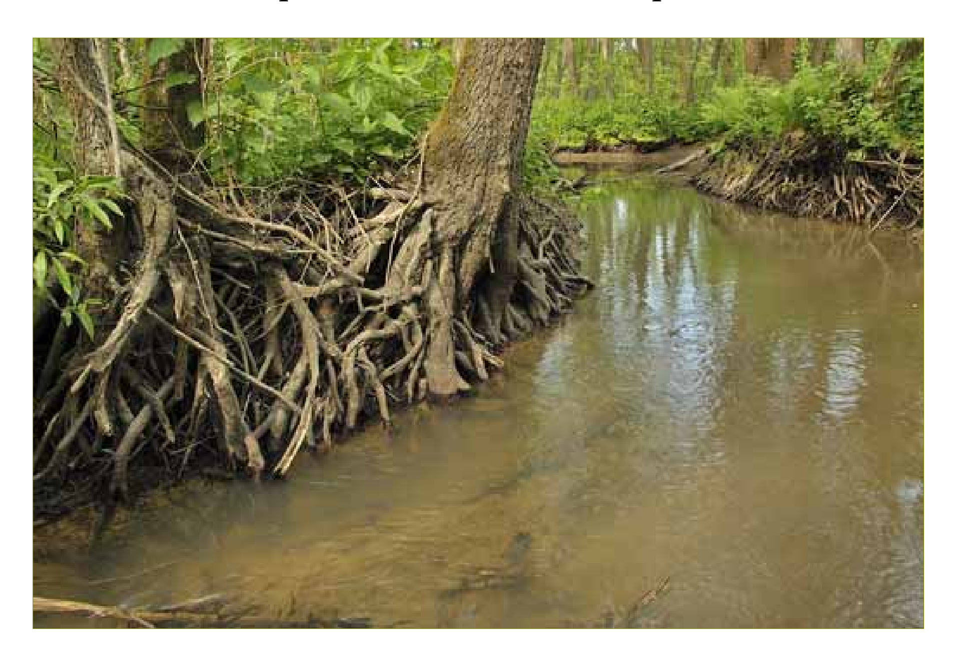
Новый перечень земель

Кристофер Рансмайр «Последний мир» — роман местности. Речь о месте ссылки Овидия. В лицах и ландшафте герой прочитывает дни одиночества автора «Метаморфоз». Колорит романа холодно-мрачный, сновидческий. Автор наверняка побывал на румынском берегу, многое из написанного относится к его переживаниям. «Последний мир» — это медитация, вопрошание о гениальном поэте. Роман в 10 листов, но сразу не прочитаешь. Он похож на некую вещь, увесистую, извлеченную из грунта, очищенную, омытую душою автора. Тоска и ужас мифов запечатлена в ржавых скалах.



У древних китайцев был перечень счастливых земель, 73 земли, т. е. места, связанные со святыми, поэтами, художниками. Кристофер Рансмайр мог бы открыть счет несчастливым землям. Ну, а мы продолжили бы: Кишинев, Семипалатинск, Норенская...

На опушке Белкинского леса всегда появляется ощущение пределов, почти что окраины мира; видимо, оттого, что дальше, за мелкой мрачной речкой с вязкими берегами, истоптанными зверьем и пробитыми цепкими узловатыми и переплетенными как будто в судороге пальцами корней, — дальше болотистая низина, поросшая кустами, осокой, крапивой; и всюду там краснеют чешуей внушительные стволы ольхи черной. Что-то в них есть драконье.



Откуда-то оттуда встает солнце под раненные крики журавлей. И ночь приходит оттуда. А вместе с нею звери — попастись, полежать на опушке; шагают, треща ветками, сопят, чухают; почуяв дым, человека, еще сильнее чухают и ломятся назад.

А лес светел и чист здесь на Южной опушке. Почти всегда веет ветер, продувает легкие травы, наполняет палатку свежестью. И комаров со слепнями здесь почти нет. Правда, чуть в сторону отойдешь, они сразу наседают, поход на родниковый ручей, впадающий с шумом в речку, — испытание. И в этом году я долго его искал. Ручей не подавал голоса, молчал. Я не знал, что и думать. Пропасть он не мог. Течет из трех сильных родников Васильевских высот, от истоков до устья холодный, с песчаным дном. На речке года три назад поселились бобры, нагородили запруд. Может, и ручей «увели» куда-нибудь? И вдруг я к нему вышел. Глинистый берег был сильно размыт, и Васильевский ручей потерял свой бодрый голос. Но был все так же чист и холоден. И на опушке Белкинского леса, среди вы-

соких старых берез и легковейных трав зажег я костер и заварил крепкого родникового чая.



Тут недалеко развалины церкви, где крестилась мать Александра Твардовского, Мария Плескачевская. За лесом они жили в деревне, держали кузню. И через этот лес ходили в Васильево, где были магазин и нефтяная мельница. Сейчас ничего нет, только родники и остались.



Под вечер прилетел крупный черный дятел — желна, сначала я увидел его порхающую тень, потом услышал голос — сердитую трель. Что-то в нем было от везиря, задиристый вид, крупная голова, чер-

ный халат; сразу вспомнился «Язык птиц» Аттара. Мне встречался и такой вариант названия этой поэмы: «Парламент птиц», смешное название, какой еще парламент на средневековом Востоке...

Но утром, проснувшись в палатке, на которую, как обычно, садились птицы, и увидев поющие на разные лады кроны белых берез в иллюминаторы, я всем сердцем склонился к этому названию.

«Овидий, я тебя так слепо вижу»

Недавно закрыл роман Кристофера Рансмайра «Последний мир», посвященный дням изгнания Овидия. И вот прочел «Овидиеву тетрадь» Елены Крюковой. Это буквально эхо романа. А точнее эхо Овидия, эхо сурового и красочного мира Скифии. В «Гибели Рима» вдруг вспомнился «Андрей Рублев» Тарковского, его видение Страстей на снегу. И у Крюковой Рим какой-то очень русский. Некоторые стихи



неожиданно напомнили мифологию Блейка, его картины, его странных персонажей: Лос, Уризен. У Елены Крюковой Овидий показан в ореоле бессмертного, если вспомнить определение Степного волка Гессе. Он предстает в живописном видении. Стихи Елены отличаются необычной живописностью, так что ассоциация с Блейком-художником вполне объяснима. И написаны стихи пылающими красками: «Телега скриплая. И бык кроваво-рыжий», «Дым-и-гарь. И кровь

династий, / Факелов горячий плеск», «И горел плащ кровавый царя», «На чернь души Иезавель / Кладет безумную лазурь»... Крюкова творит свой миф — об Овидии. Названия некоторых стихотворений тоже вызывают в памяти Блейка: «Овидий отделяет твердь от воды», «Создание луны и солнца», «Видение ада».

На бессмертного нельзя смотреть открыто: «Овидий, я тебя так слепо вижу». Но это в первые мгновения, когда вызванная воображением перед нами является смутная фигура. Чувствуется, что и сама Елена смущена. Это передается и читателю. В дальнейшем мы увидим поэта как будто яснее: в любви, в старческой немощи; на наших глазах будет разворачиваться нисхождение поэта на берег изгнания. И все-таки загадка останется. Загадочен даже ближний, тот, с кем ежечасно делишься самым сокровенным на протяжении долгих лет. А что уж говорить о поэте, который якобы жил — как утверждают источники — в таком-то году до нашей и в таком-то году нашей эры.

«Любовью я дотла спален», — с горечью бросает поэт. Но это пламя стало стихами. Оно горело на железном скифском берегу, там, где «Снег и зеленое море».

Дорога Маккарти



Кормак Маккарти предпринял интересную попытку в «Дороге» написать текст, простой, как хлеб; точнее, он перегнал хлеб в чистый спирт. Его Земля окунулась в очистительный огонь апокалипсиса; постарался очистить свою прозу от литературы и Кормак Мак-

карти: почти никаких аллюзий и затей. Из книжного мусора только Библию он не предает анафеме. Ни кино, ни другое искусство не упоминаются вообще, как будто ничего этого и не было. Прошлого нет. Нет и будущего. Но дорога куда-то ведет. И будущее оказывается возможным.



Каков результат эксперимента?

Человек — животное, жестокое, эгоистичное. Но в нем есть какой-то странный свет. И он вспыхивает тогда, когда человек преодолевает себя, свою животность.

Роман Маккарти радиоактивен. Под его безжалостное излучение попадает и читатель, задающий себе множество вопросов.

Но — одно дело вопросы-ответы здесь, за столом, в кресле перед монитором. И совсем другое — там, на дороге. Там думать уже будет некогда.

Городецкий соловей

Следующую стоянку устроил на чистом и глубоком ручье Городец, в серой ольхе, среди пахучей крапивы. Костер развел прямо над водой. Хорошо, когда под рукой много текучей чистой воды. Тут нашел и купальню, воды по колено. Потом заварил добрую порцию чая, купленного в Белом Холме. Вскоре выяснилось, что это же укромное местечко облюбовал соловей. И он пел мне весь вечер, а когда я

залез в желто-оранжевую палатку с иллюминаторами, вообще перелетел на ближайший куст, мол, нет, ты меня послушай. И я слушал.



Соловьи последнее время стали петь хуже, это не только мое мнение. Раньше в их песнях было больше строф, и они звучали разнообразнее. Но вот этот на Городке пел отлично. Не то, чтобы звучно, но проникновенно, чарующе округляя «буквы». И это, кажется, главная особенность его пения: объемный звук. У других птиц голоса не стереофоничны. А этого как будто слушаешь в наушниках.

На следующий вечер сюда вдруг прилетел еще один соловей, запел неумело, скверно, с длинными паузами. Я даже засомневался, не скворец ли, известный «попугай» среди птиц? Нет, оригинальный исполнитель. Я мысленно зашикал. Щенок, разве это песня? И тут включился мой соловей. Виртуозная ария была прекрасна и убедительна. Пришлец тут же заткнулся и больше не мешал.

Достоевский и эскапизм

Когда читал «Преступление и наказание» (школа не в счет), поймал себя на мысли, что среда того времени человечнее нынешней. Городовые сердечнее современных граждан. Роман разворачивается как будто бы в большой деревне: все глазеют, ахают, разевают рты — и все-таки как-то помогают друг другу: копейкой, словом, ру-

ками (да вот относят домой Мармеладова, потом и его жену). И по странному совпадению попалась мне на глаза газета, там писали: в поселке молодого милиционера избили, переломали ему ребра, руку, отбили печенку, бросили на обочине; он лежит, стонет; вышла женщина из ближайшего дома, посмотрела, послушала и ушла — чай пить; затем компания молодежи проходила: видели, слышали — мимо прошли; в утреннем тумане куда-то отправился на «Жигулях» местный житель — и переехал еще живое тело, не остановился, дал по газам.

Все как-то просто, обыденно, тон газеты усталый... Бросил газету, взялся за книгу.

Золотой храм

Герой «Золотого храма» Мисимы монах дзэнского монастыря, вопрошающий жизнь, себя, приятелей с неистовостью подпольного человека Достоевского. От этого романа ждешь не просто захватывающего сюжета, идей, — но какого-то свершения, даже озарения. Увы, герой и нас и себя озаряет лишь геростратовым пламенем. Он поджег Золотой Храм, отбежал куда-то, выбросил мышьяк и кинжал в кусты, сел и закурил. «Еще поживем», — подумал я». Так заканчивается этот роман. От этой фразы разит пошлостью.

...И правдой.

По дороге постылой

Поэт Се Тяо жил в пятом веке, был человеком весьма знатного происхождения, но и странно непритязательным, предпочитавшим оставаться в тени, хотя способности и все то же происхождение открывали ему двери всяких канцелярий Поднебесной. Но служил он на скромных должностях в отдаленных уездах. И все-таки испил чашу своей судьбы: стал невольным свидетелем готовящегося заговора, был заговорщиками обвинен перед государем и казнен. Ему исполнилось тридцать пять лет. Вот одно из его стихотворений.



Ночью еду по дороге, ведущей в столицу

Я в тоскливом смятенье велю собираться в дорогу,
И быстрее, быстрей — запрягают коней у ворот.
На бледнеющем небе редеют и гаснут созвездья.
Первый отблеск играет, собой предвещая восход.
От обильной росы все вокруг стало мокрым,
Обернувшись, смотрю, как заря, разгораясь, встает.
Пусть отсюда родные места далеки бесконечно,
Но безбрежен простор этих круч и стремительных вод.
В официальных реестрах не счесть моих предков деяний,
А меня лишь мечта об уходе от мира влечет.
Тот, кто нормы блюдет, — на дрожащих ногах ковыляет,
Как предел вожделений монаршую милость он ждет.
Я распряг бы коней, только как оправдаться сумею?
Ну так в путь! По дороге постылой вперед!

Попутчик

Старый пригородный поезд сменили на двухвагонный современный «автобус», как его называют почему-то. Но железная дорога все та же, пейзажи за окном хорошо знакомые: придорожные домики, стены, зеленоватые акварельные воды Днепра, уплывающие назад собор, церкви, крепость на горах. И у пассажиров те же лица: обветренные, загорелые, в морщинках и глубоких морщинах: на дачи ездят в основном старики. Сидеть в новом поезде — все-таки язык гнет свое — тесновато. Раньше скамейки были деревянные, широкие, вагоны просторные; когда в вагоне играли в карты, судачили, ели-пили, и всюду громоздились узлы, поезд напоминал деревню на колесах. Сейчас все тихо-скромно. Ну и отлично. Старик рядом читал витебскую газету. Хорошо, не люблю вагонные разговоры. Вот в окно смотреть интересно.



Но вскоре сосед сложил газету и, кивая на мой вместительный рюкзак, поинтересовался, до Сокольей горы я еду? Нет, дальше. Я вижу, что в поход, продолжал он, по реке? Нет, пёхом. «Правильно, пешком лучше, больше видишь... Но и по реке... Я вот по Нилу плавал, знаете? В Египте». Я посмотрел на бодрое загорелое лицо с синими внимательными глазами. Нет, оказывается, не сейчас, а два года назад он был в Египте, в турпоездке, как-то она ему подвернулась, очень дешево, он и отправился один, без жены, вдвоем не получалось. «Я фараонов теперь всех поименно знаю. Моя смеется — ну, историк! А мне это солнце на всю жизнь запомнилось, ну, сколь-

ко там осталось... — Он глянул в окно, потом испытующе на меня. — Пески, Красное море. Очень красивое. Я моряком служил на трех морях: Баренцевом, Белом, Балтийском. Видел Черное. Но Красное — вода чистейшая! А пирамиды? Кто их строил? Загадка. Нил они почитают. Упаси бог бросить бумажку с теплохода. И возле пирамид чисто. А наш Днепр?» Тут мы уже оба дружно посмотрели в окно. Но на горизонте виднелись домишки Ясной Поляны, есть у нас собственная, разбитая и сирая деревня за Сокольей горой. Днепр мы увидели чуть позже — вылетели на мост. Под пасмурным рассветным небом в желтоватых древесных берегах он невидимо тек к своему морю, то есть движения хмурых вод нельзя было определить. Да, вот не зная, не поймешь, куда течет. Иногда мне кажется — вверх.

Сосед мой продолжал рассказывать о своей поездке, говорил, что египтяне бедные, дома у них смешные — девять этажей, к примеру, и у каждого — свой хозяин и архитектор, кто во что горазд, все кривое, но прочное. «Они очень религиозные, знаете? Мусульмане. Минареты кругом... Вот Лужкова уволили, об этом не пишут, а все знают: Кирилл запросил шестьсот храмов в Москве построить, а Лужков ответил: нет, только двести. Пожаловались Путину. И все. Нет, пускай будут церкви... но голову-то зачем терять?.. Кроме молитв, надо и на жизнь... смотреть...»

Так он и рассказывал о Каире, морях, потом вдруг о войне, ему пять лет было, с матерью и бабкой угнали их в Германию. В одном месте мужики и парни бросились в сосновый лес, но у охраны была рация, быстро прибыла подмога, лесок окружили и учинили расправу. А бабка увела их вправо в овраг, немец дал поверху очередь, но догонять не стал. Вышли они к Днепру, скрывались какое-то время. Да потом все равно в Германию попали. Теперь немцы платят ему, очень хорошо живет, все есть, дача... «А там вон Флёново, церквушка видна, знаете? Рерих ее еще... Я тут на велосипеде ездил из города на дачу, сейчас отдаю предпочтение поезду... Ну, мне пора». Поезд начал тормозить и мой сосед встал, протянул мне руку. «Приехал. Счастливого похода». И он вышел с двумя дачницами преклонного возраста. В двадцати-тридцати метрах от еловой железнодорожной посадки виднелись скворечники-дачи советского образца, к какому из них направился мой попутчик, я уже не увидел, поезд бодро тянул дальше.

Джон Фанте, «Дорога в Лос-Анджелес». Этот роман — либидо, переплавленное в чистоту строк о жизни грязной, бедной, жалкой, о юноше, который решил стать писателем, о его матери и сестре, «римской блуднице», «проклятой монашке» и т.п. На самом деле она просто молодая католичка и не жалует его диких идей, надерганных у Ницше, Шопенгауэра, корит его за лень, странные привычки. Ну,



да, Артуро Бандини нигде не приживается, ото всюду его гонят, он ведь великий писатель, а не «буржуазный пролетариат капитализма». Вокруг него никчемные люди, еще бы, знает ли, например, этот мужчина в вальяжной машине, что Европа уже закатывается? Слышал ли он о Заратустре? Нет, быдло и «вневбрачный раб Баронов-Грабителей». А Бандини — гений и сверхчеловек, вынужден влачить сущ. в портовом городке, пропахшем рыбой, дымом, виски. У него ничего нет, нет и друзей, и даже сестра католичка, с ней постоянно вспыхивают ссоры, грозящие сломить последние преграды между родными юношей и девушкой. Нет у него и девушки... Ее заменяют фотомодели журналов, он придумывает им имена и биографии, беседует с ними, с этими горячими штучками. Артуро Бандини ярый фетишист. Ему нравится библиотекарша. И вот он овладевает книгой, которую читала она. Одна и та же книга, буря эмоций, поиски следов ее пальчиков на обложке, поцелуи, отрезвление: да ведь это следы чьих-нибудь еще пальцев, жирных... А вот он, выпив вискача, идет за бедной, но привлекательной и в его глазах просто цар-

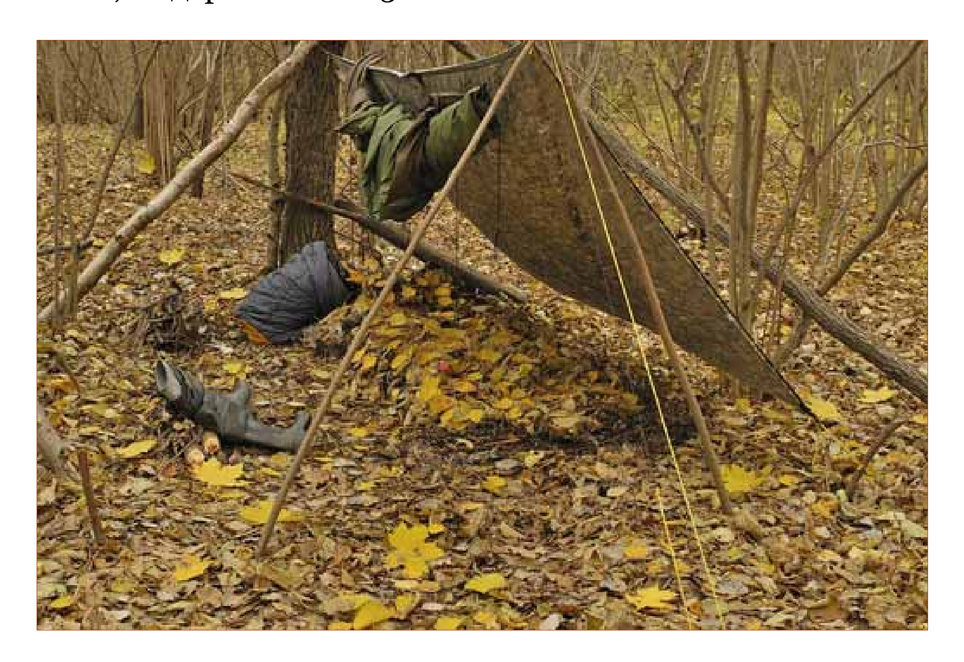
ственной незнакомкой в портовых лабиринтах, останавливается там, где она зажигала о банковскую витрину спичку, чтобы прикурить, и, встав на колени, целует след спички, потом находит и спичку, грызет ее, съедает... А незнакомка так и остается незнакомкой. От энергии Бандини трещат строчки у тебя перед носом. Ясно, что должно произойти одно из двух: либо Бандини взорвется, либо станет великим. И судьба дает ему шанс... Правда, этой судьбой и он сам ловко управляет: после очередной и уже нешуточно кровавой ссоры с сестрой вычерпывает фамильные драгоценности из семейного чемодана, выручает сто долларов, заворачивает в лавку, чтобы пропустить последний стаканчик и одурачить ее держателя заявлением, что он коммунист и уезжает с докладом к черному волку Димитрову... И — уезжает в Лос-Анджелес. Сидит на станции и думает о новом романе. И он будет написан, это «Подожди до весны, Бандини», роман,



оставший дебютным. А «Дорогу» опубликовали значительно позже, по-моему, после того, как этого автора — Джона Фанте — открыло знаменитое изд. «Черный воробей». «Открывал» его и Чарльз Буковски, восторгался. Да, при всей любви к старине Буку, должен отметить, что Джон Фанте... ну, впрочем, Буковски это Буковски, а Джон Фанте — Джон Фанте, писатель изумительно пластичный, страстный, от его фраз, брошенных вроде невзначай, порой дыхание перехватывает. Во втором романе эротический фетишизм тут как тут, это уже особенность автора, родимое пятно. Но, кажется, что именно это и помогло выдохнуть ему заключительные, невероятно пронзительные строчки о снежинке, которая тут же превратилась в символ умершей девочки, любимой старшеклассником Бандини. Фетишизм писателя распространяется на все мироздание.

Умывание в ручье трезвит, нос мерзнет, щеки ожигает, солнце и небо становятся ярче. Здоровью полезен хлад осенних лесов.

И в то же время утро как бочка с октябрьским вином: краски и ароматы резкие, сильные. Небо насыщенного сапфирного цвета. Запах дубовой листвы, дыма. Ложбина возле ручья похожа на чашу, полную синеватого серебра — заросли крапивы затянуты инеем. В котелках — лед, правда, хрупкий. Но спать тепло, дочка подарила спальник, выдерживает —13.



Под палатку настелил сухих стеблей иван-чая и зеленых листьев папоротника, похожих на пальмовые ветви. Солнечные реминисценции вчера начались, когда еще старик попутчик рассказывал о Египте. И продолжались, когда я сошел с поезда, смотрел по дороге на желтые липы и клены под пасмурным небом и думал, ну вот, наглядный пример реминисценций: солнца нет, а они освещены.

А теперь оно уже в небе, солнце, над этим леском между двумя ручьями, бегущими по глубоким оврагам, над сухими желтыми травами и старыми березами, растущими вдоль тропы. Но работа памяти не останавливается: это утро напомнило позднюю осень Востока: заиндевелую степь, дымы очагов над глиняными крепостями, вечную пыль, вздымаемую походной колонной.

Тем острее чувство полной анархии, ведь она возможна только здесь, на берегу ручья, в одиночестве — на семь дней.

Изумительное ощущение необъятности, космичности в ранних стихах Фета:

«Кот поет, глаза прищуря,/ Мальчик дремлет на ковре,/ На дворе играет буря,/ Ветер свищет на дворе./ «Полно тут тебе валяться,/ Спрячь игрушки да вставай!/ Подойди ко мне прощаться,/ Да и спать себе ступай». / Мальчик встал. А кот глазами / Поводил и все поет; / В окна снег валит клоками,/ Буря свищет у ворот».



Совершенно простой и в то же время сказочный мир. Кот каким-то образом связан с бурей: буря свищет, он поет; у бури шуба клочьями, как у кошки. Но и мальчик связан с бурей: он устал возиться с игрушками — а буря играет, у нее свои, снежные игрушки. Мальчик ее нисколько не боится, — заснул. Мир неги посреди космоса зимы воспринимается как чудо; в нем есть какая-то первозданность; он вдруг явился: уже цельный, существующий по своим законам: «Кот поет, глаза прищуря»... Кот — существо домашнее, но и гость, агент внешнего мира, мира природы; в нем что-то языческое; вообще кот — в трансе: «Мальчик встал. А кот глазами/ Поводил и все поет»... Эти движения кошачьих глаз выразительны, незабываемы, неостановимы, словно некие механизмы, колесики перпетум мобиле русской поэзии.

Измерение

Пока болел, перечитал Дилана Томаса. Полезно перечитывать (и, возможно, болеть). Вот строка, например, на которую прежде не обращал почему-то внимания: «Нет Времени в часах, как Бога — в храме». Глубокая метафора. Храм как часы священного. Храм как инструмент измерения священного. И безмерная горечь. Попробуйте сначала объяснить время, найти его...



Дилан Томас обетованный

Перечитывая стихи Дилана Томаса, собранные в одной книге с его прозой, вновь опасался того же разочарования, что постигло мою первую попытку. Речь только о стихах. Тогда мне показалось, что лучше было бы оставить чтение после «Вступления», большого стихотворения, предваряющего сборник, настолько оно мощнее всего остального. И тогда бы возникал удивительный эффект... ну, что-то вроде последнего взгляда Моисея с гор на землю обетованную, вступить в которую ему уже было не суждено. «Вступление» обещало ВСЁ. В нем слышался библейский гул. Конечно, и Уитмен вплетал свой голос, и многие другие. Но чувство автора было подлинным, дилановским, всезатопляющим. Да разве удержишься?.. Ну, пусть

Моисей и помер, а мы-то, остальные? Пойдем дальше! Увы, многие вещи сборника казались набором ярких метафор и не более того. Чем-то они напоминали даже заумь нашего волхва Хлебникова. Многозначные, темные метафоры. Но у Хлебникова эти пласты пронизаны корнями смысла, хотя его порой и не так-то просто уловить, изложить. У Хлебникова есть необъяснимая цельность, все его стихи как птицы движутся по внутреннему компасу к какому-то полюсу. Совсем не то у Дилана Томаса. Его птицы часто бессмысленно кружатся, ему не хватает воли — или желания? — направить их, заставить клевать зерно, из которого и высекается обычно свет, озаряющий все стихотворение. Пиит, кажется, неряшлив и нетрезв...



В общем, на этот раз я не был столь категоричен (слеп и глух) и в сборнике нашел еще много восхитительных стихов, семь-девять (а всего в сборнике восемьдесят девять стихотворений). Ради них стоит побродить по этой валлийской долине, подышать морским ветром... Но все-таки «Вступление» — подлинный шедевр, гора Нево (продолжаю библейскую метафору). И вот что любопытно. Это было последнее законченное стихотворение мастера. К чему я клоню? Да к тому, что остановившись на холме Дилана Томаса, можно ощутить дыхание земель обетованных — земель ненаписанных. А это ощущение удивительное, не каждый день подобное испытаешь...

И вообще, земля обетованная всегда лежит за порогом недоступного. Но именно поэты могут подвести туда ближе всего.

Тугодум

На Арефьинском холме сидел на поваленном дереве, смотрел на закатные дали. Потом случайно глянул на соседний высокий подгоревший пень. Это был вавилон муравьиный; муравьи труждались, кто тащил соломинку, кто крылышко, кто кусочек коры. Мое внимание привлек один муравей — Титан. Он волок вверх палочку, которая раз в пять превышала его размеры, — такое бревно. Доставил его на последний этаж. А это примерно метр от земли. Для муравья — Эмпайр-стейт-билдинг стодвухэтажный. Представил, что кто-то нес бревно без отдыха по его лестницам, Шварценеггер. Но муравей-то не по лестнице — а по отвесной стене лез. И всякую секунду мог превратиться в Сизифа.

И куда дальше?

Дальше было отверстие, откуда выбегали муравьи. Туда? Не получится, не развернешься. Бревно оказалось в расщепе чуть ниже отверстия. И муравей держал его челюстями, шевелил усиками. К нему подбегали другие; уходили, не помогая. Муравей оставался в том же напряженном положении минуту, другую… Минут десять. Я уже потерял терпение.

Что за муравей-тугодум. Бросай бревно или что-то делай. А он лишь шевелит задумчиво усиками и не ослабляет хватку. И его сотоварищи бегают без толку, даже по нему пробегают, по его бревну, мельтешат. И это и есть хваленое муравьиное братство? Ну, мне еще топать до бивуака на Городке. Я встал. Окинул еще раз взглядом зеленые умолкнувшие перед ночью окрестности. И все-таки решил глянуть на мураша. Все то же… Тут я догадался заглянуть за расщеп — и был вознагражден разгадкой: бревно уже было укреплено опилками. Точно: из отверстия появлялся очередной работяга с крошечной порцией опилок и «цементировал» ею бревно. А Титан выжидал терпеливо, пошевеливал усиками одобрительно… И, наверное, насмешливо.

Зрение сквозь дикое мясо

«Книга песен» Абу-ль-Фараджа аль Исфахани со всей ясностью показывает: Аравийский полуостров и земли, захваченные арабами в 7-8 вв. — вот литературоцентричная Атлантида. И с этой книгой, где собраны рассказы о поэтах ранних и средних веков, она всплывает, сверкая утренними песками, листьями пальм, ночными огня-

ми у шатров, звенит мечами, поет. Поэзия ранних арабов равна поэзии эллинов. И проза хороша. Вот образец: «Башшар был огромного роста, крепкого сложения, с крупным лицом, длинным и изрытым оспой. Глаза у него были выпучены и заросли диким красным мясом. Его слепота была самой отвратительной, а вид — самым ужасным. Когда Башшар хотел прочесть стихи, он хлопал в ладоши, откашливался, сплевывал направо и налево, а потом начинал читать — и происходило чудо». Лучшего определения поэзии я не встречал.



Паутинка и воин

Бусидо вырос из потребности дисциплинировать войско, свод правил о беспрекословном подчинении был разработан где-то в 13 веке, буддизм и дзэн уже были в силе, но из него взяли только то, что удобно для воина: не лгать, не пить вина, иметь чистые помыслы. Самураи буквально преломили об колено благородные истины Будды, главное семя коих, как известно, принцип ахимсы: не причиняй ущерба живому.

В корейском тексте дзэн рассказывается о преступнике, который мучился в колодце ада, а вверху прогуливался Будда, и он опустил паутинку, вспомнив, что этот человек спас однажды паука. Тот попробовал — прочно, и полез вверх.

Правда, все закончилось плачевно, за ним устремились другие, он принялся отбрыкиваться, боясь, что паутинка не выдержит, и в итоге они все рухнули.

Самураям особенно нравилась мысль о том, что жажда бытия — есть главный источник страданий. Но что такое воин без жажды бытия? Это монстр, Терминатор. В предтече дзэн чань принцип ахимсы приобрел следующий характер: максимально щадить. Т. н. срединный путь. Но милосердие буддизма и идея непричинения зла живому остались и в дзэн.

Дзэн опирался на «ветхий завет»: Дхаммападу и канон. Все новаторство дзэн в том, что просветление может снизойти как благодать. Но его не стоит ждать, надо готовить: вот коаны, различные упражнения.



Традиции порабощают. Самурай — раб традиции. Известно, к чему привела любовь к традициям и ритуалам Японию: министры готовы были совершить харакири всей страной: даже после атомной бомбардировки не собирались капитулировать.

Вообще жив тот воин, кто способен в какой-то момент почувствовать паутинку в своей ладони. Для благородного воина она будет крепче каната.

Скорпион в сердце

Начал экспериментировать: читать с монитора книгу и слушать музыку. «В сердце страны» Кутзее — «Под знаком скорпиона» Губайдулиной. По-моему, совпадение безупречное. Темные закручивающиеся спирали слов и музыки, баян, звучащий странным, диковатым органом, музыка тревожная, рыщущая, как ветер пустынных жарких пространств Кутзее; музыка обещает ужас, и Кутзее это обещание исполняет до конца. Скорпион жалит себя в сердце. Провинция — как старая дева, любящая и ненавидящая отца. Дочь проламывает выстрелом грудную клетку отцу. Но это не приносит ей свободы. И негр-слуга, насилующий ее, не избавляет от стародевства. Она прячет труп в гроте на краю усадьбы и медленно сходит с ума. Над усадьбой прокладывают местную авиалинию, и летчики видят, как растрепанная дура выводит белыми камнями какие-то письмена. И никто ничего не понимает. Но что-то подобное уже было? Да, эта история с письменами, появлявшимися на стене. Кутзее словно повторяет за пророком : «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это...»

Но сердце свое смирить легче, чем сердце страны. Тем более сердце униженной и наэлектризованной страстью старой девы.

Днепр

Это внизу не всякая птица Днепр осилит, а у нас идешь заросшим полем и, кажется, еще тридцать-сорок шагов, и попадешь вон на тот выкошенный луг со стогами, но вдруг между полем и осуществлением простой мечты раскрывается каньон в извилистых глиняных берегах, между которыми снуют ласточки; и бабочки перелетают; осенью пауки на паутинах, как балерины на размотавшихся пуантах, а однажды я встретился в воде с желтоухим ужонком, он упруго извивался в мутноватой воде, форсируя Днепр, мы плыли в одном направлении, и на миг я пережил свифтовскую метаморфозу, почувствовав себя этаким Гулливером-Маугли рядом с незабвенным Каа, а впрочем, может быть, со мной все было в порядке, а вот со стариной Каа — нет, сбылась насмешка грязных бандерлогов-париев, и он обернулся земляным червем. Раньше и здесь река была полноводнее, выше находился паром, Твардовский о нем писал. От парома осталась только черточка на карте. Вот какие птицы окунали перо в эту синь, ведь в истоках и по существу речка все та же, а теперь плывем мы, ужонок и Гулливер... Хотя мне уже казалось, что Гулливер просто идет, ему здесь по колено.

«На самом деле я бы мог, конечно, сказать, что, хотя он и был несчастен в своем несчастье, еще более несчастным он бы стал, если бы вдруг потерял свое несчастье, если бы у него в одночасье отняли его несчастье, и это опять же является доказательством того, что, по сути, он в общем-то был не несчастным, а счастливым, и все благодаря своему несчастью и с его помощью, думал я». Предложение из «Пропащего» Томаса Бернхарда как лупа увеличило НЕСЧАСТЬЕ и СЧАСТЬЕ, и, как это иногда бывает, вдруг стало ясно, что первое означает «не часть я», отделенность, одиночество, неучастие в целом, а второе — наоборот, участие, вовлеченность, причастность к целому. Один из героев романа, пианист, раздавленный величием Гленна Гульда и отказавшийся от музыки, несчастен именно в своем неучастии. Правда, Бернхард заявляет, что в этом его счастье. Но вряд ли счастливый человек повесился бы. Этот герой стал затворником, продал рояль, оборвал все связи, стал неучастником.



Из самого себя, в себе человек не может быть счастлив, увы.

Попутное впечатление: интересны лишь странные люди («Без маклера недвижимость продать невозможно, а маклеры вызывают у меня отвращение, думал я».). А они, как правило, несчастны.

«Гольдберг-вариации» И. С. Баха постоянно упоминаются в романе, эта вещь даже объявляется запальчивым рассказчиком главной причиной смерти друга. В конце романа он ставит пластинку и слушает ее. И читатель может сделать то же самое, чтобы убедиться:

какая бездна разделяет мир стройных звуков и задыхающийся мир романа. Да ведь и Бах, бывало, задыхался, в жизни, не в музыке. Так что бездна преодолима. Но не для человека тупика, сиречь пропащего в своей гордыни.

...И сегодня ночью меня преследовали металлически ясные звуки-ручьи клавичембало, слушал после чтения, есть в этой музыке что-то магическое.

Все ближе

В «Пушкинском доме» Битов очень лестно отзывается о Домбровском. А у меня он есть, Домбровский, но в давнем издании «Нового мира», выпустившего его вместо нескольких номеров журнала, не вышедших по техническим (?) причинам, печать скверная, бумага серая... Но тут взялся. Пятая глава, сюжета еще нет. Текст напоминает скорее очерк. Много типографских ошибок. Уже думаю и оставить чтение. Но продолжаю. Дух Азии манит, влечет по закоулкам уже моей памяти. И вдруг сюжет — проступил со всей определенностью, сюжет стародавний: бросили героя в ров со львами... скорее с гиенами. Что будет? И с пятой главы книгу прочел залпом. Охмелел даже. Талант всегда хмелит. Но это просто гениальный ход: погрузить читателя в археологию, в полусон солнечный, лунный, тенистый, — обвиться вокруг него нежно, расслабляюще, — и вдруг так же нежно и бережно сковать его кольцами... еще сильнее — так, чтобы дыхание перехватило.

Но самое странное — и страшное? — это то, что версия «органов» показалась и мне... неужели убедительной? Увы. И произошло это помимо моей воли. Что-то во мне дрогнуло. Потапов — белоказак, бумага из германского посольства... Да ясно же, — чушь собачья! А... что-то дрогнуло. На дворе 21 век, «Архипелаг» прочитан, пережит. На осколках его я и сам побывал. Ну?! Нет, что уж лукавить. Хотя я просто читал об этом, лежа на диване, попивая чаек, — не меня подхватили на ночной дороге (сцена появления двух машин неотразима, в ней какой-то священный ужас, жрецы или демоны, блуждающие с желтыми очами-фарами, узрели героя на дороге, взяли с собой) и привезли в каменную резиденцию, где и ознакомили с «делом». Домбровский сумел изготовить эту отмычку НКВД на наших глазах, отмычку для душ. Но кроме отмычек на вооружении были обыкновенные фомки. Фомкой — в зубы.



И вот итог чтения: я раскололся, на миг — а поверил.

Все гораздо ближе, проще: это в нас. Дирижер взмахнет палочкой — и начнется. Нет прививок — долгих, многолетних, иммунитет не выработан. А у Домбровского откуда он был?

Звери и сны

По ночам вокруг палатки кто-то ходит, шуршит листвой. В конце концов мне снится медведь. Две ночи подряд. Но сюда они не забредают. Здесь живут лоси, кабаны, лисы, косули; недалеко логово волка, большая нора, вырытая в склоне оврага. Лосей я вижу днем в крапивной чаше над ручьем. Косули по утрам лают. Как только залезаю в палатку, замуровываюсь в спальник, раздаются бодрые прыжки, да, очень звучные, по палой листве-то. Как будто поспешает какой-то тушканчик с радостной вестью. Но у палатки он тормозит, вспомнив, наверное, о приличиях или, наоборот, позабыв свою весть, и, постояв в задумчивости, так же бодро удаляется. Несколько раз я выглядывал, но ничего, кроме черных теней деревьев и всюду сквозящих звезд, не видел. Вообще полевки могут прыгать. Но этот ночной визитер явно крупнее. Наконец днем я услышал те же самые прыжки, быстро повернул голову — это была белка, она передвигалась скачками, что-то выискивая на земле, среди ворохов листвы; вскарабкалась было на ольху, но снова спрыгнула на землю. Белок здесь нет по простой причине: хвойные не растут, ну, не считая не-

скольких сосен на одной горе и на другой. Правда, много орешника. Но белкам этого мало. Скорее всего это такая же гостья, как и кедровка. Тайна разгадана.

В одну из ночей я проснулся от собственного смеха. Тут же вспомнил сон: показывали комедию с Пьером Ришаром под названием «Ночной побег», но никто никуда не убегал, и, поняв в конце это, присутствующие весело и дружно рассмеялись.



А я уже не смеялся, чувствуя отчетливый запах зверя. Он стоял где-то неподалеку. В лесу даже у горожанина обостряется нюх. Ему доступны становятся, как прежде, десять тысяч запахов, — цитата из древних китайцев, преувеличение, конечно, но запахи приобретают остроту, хотя бы основные. Какой именно зверь, — для того, чтобы определить это, надо жить дольше в лесу. До меня донесся осторожный шелест. Так мы и слушали друг друга, пока один из нас не уснул или не ушел, я утром уже не мог этого вспомнить.

Зато на ум мне пришла одна суфийская притча о шейхе, который шел себе ночью по пустыне, как вдруг его нагнал кто-то — шейх не оборачивался, — вспрыгнул на плечи, — шейх продолжал идти, — и, проехавшись верхом, это нечто соскочило и удалилось, шейх все шагал. Почему же ты не посмотрел, спросили его потом. Мне некогда было, ответил он, я был занят молитвой.

Правда, я-то был занят сном. Но мог бы до того, как меня сморило, выглянуть, посветить фонариком. Не знаю. Но некоторые вещи ни к чему разгадывать. Сдается мне, что и шейх придерживался того же мнения.

Следующий сон тоже оказался веселым. С братом мы зашли в магазин, там торговали афганцы, они угощали нас чаем; появился хозяин магазина, афганец в европейском костюме, с подносом, на котором лежали лепешки какой-то фирменной выпечки, кто-то отпустил шутку и снова раздался смех. Мне показалось странным, что они смеются; я приехал в отпуск из армии, воюющей у них на родине... А проснувшись, подумал, что ничего особенного в этом нет. Афганцы суровый, но веселый народ. Смеяться заразительно они умели и там — в чайхане, на базаре, на операциях; однажды даже плясали, встречая нашу колонну у каверзного Ургунского ущелья, — даже офицеры, бравые усачи в фуражках «аэродромом» пустились в показательный пляс на торжественном построении; играл оркестр.

Но во сне все всегда напряженнее и значительнее; это уже творческое преломление действительности об колено, слом вселенной, выпячивается что-то одно, уходит в тень другое.

Этот сон был продолжением восточных реминисценций. В этом походе они не оставляли меня. Вообще, в удачном походе, как в хорошей книге, события и вещи перекликаются, зеркально бликуют, отражаясь друг в друге. И тебе кажется, что кто-то настроил все так. Даже сны.

А неплохое название для них — «Ночной побег».

Но, кстати, так ли уж случаен и абсурден был этот сон? Если к палатке действительно приближался зверь.





Юг Юг Юг

На прогулке пересказывал жене «Юг» Борхеса, мы приблизились к перекрестку напротив церкви Новых мучеников, краснеющей рваными осыпями нового дефектного кирпича, и жена почему-то спросила: «Это ты сейчас читал? Перед выходом?» Да. И я продолжил эту великолепную историю сумасшедшего, чей мир навсегда преобразился: его везут в скорбный дом, находящийся в районе Буэнос-Айреса под названием «Юг», а он уверен, что возвращается наконец-то в блаженные края детства, где его ждет длинный розоватый дом, ряд бальзамических эвкалиптов. Рассказ напи-



сан так, что гипнотизирует и читателя, все двоится, кажется, что герой в самом деле возвращается на Юг, терпкий, солнечный, с суровыми законами пастухов-гаучо... Жена прервала меня замечанием, что я уже рассказывал это. Да? Странно. А мне казалось, только что прочитал. Неужели забыл? Такой сильный рассказ? Но, если так, ты должна знать, что будет дальше? «Я не помню», — ответила она. А я внезапно вспомнил: точно! уже рассказывал ей. И более того: на этом же месте, на перекрестке она меня уже прерывала той же самой репликой.

Но если так, то сколько же раз я читал этот рассказ?

Утро левее Воскресенской горы

Ночевал за болотцем, без палатки, так, в спальнике, а на случай непогоды кусок целлофана. Всю ночь мерз. Под утро вроде заснул, и кто-то постучал мне по звенящему от бессонницы черепу. Скосил глаза: синица на вязаной шапке сидит. Поднялся, развел костер, заварил чай, пил, обжигаясь, с поджаренным хлебом; потом спустился к болотцу, там у меня спрятан был велосипед. За ночь болотце, по которому я вчера пробирался, все выстеклилось. И я шел, хрустя, по щиколотку в рассыпающихся льдинках. Таранил гнилушки, кусты калины с винными ягодами. Вылез на край поля — и увидел в синих индевелых травах пять или шесть косуль. Странно, что они не слышали хруста и грохота. А мой взгляд сразу почувствовали: вдруг одна из них изогнула шею, повернулась и глянула в мою сторону... Тут же ее подбросило, и она легкими скачками понеслась по полю, словно перо, гонимое ветром, за нею и остальные, быстро скрылись. А я шагал через солнечное оттаивающее поле, увязая в грязи, к Воскресенской горе. И уже потом сверху увидел все: синие стылые холмы за Днепром, черные леса в стеклянной паутине. Это был понедельник. Но мне не верилось.

Вкус безмолвного леса

Дождь и сегодня. Разжигал костер, готовил еду и завтракал под дождем. Мокнут дубы, мокнут березы. Иногда синица начинает цвикать — весьма жалобно — и умолкает. А утром, пока не было дождя, на палатку прилетали птицы, они всегда здесь прилетают. Пришлось надеть безрукавку. Сумеречно. Как-то пережидали дожди в рославльских лесах пустынники? Незадолго перед походом читал очерки «Пустынножительство в рославльских лесах» смоленского краеведа Орловского. Отлично пишет, дает краткие жизнеописания 50 пустынников, вкушавших прелести пустынножительства в 18-19 вв. Что так влекло их? Были среди них крестьяне, мещане, был казак Черноморского Казацкого войска, три сына московского купца Путилова, бывший гвардейский офицер, исключенный Павлом 1 за то, что «отрезал одной девице косу за ее неверность». Даже из монастырей уходили, а попросту сбегали монахи, чтоб вкусить лесной аскезы. Третий сын Путилова начитался писем двух братьев, уже заживших пустынниками, и поехал только посмотреть — да на мно-

гие годы остался. Лес давал свободу? Преображал — уж точно. Никита, уроженец Орла, старец был похоронен во рву, а через семь лет



откопан и обнаружен нетленным, только «липовый ходачек на одной ноге, сплетенный не самим старцем, а его учеником, превратился в прах». А лицо другого сияло такой духовностью, что прямо на него никто не решался смотреть, а только украдкой. Крестьянам — свободу давал точно, дело было до 1861. И, конечно, особый лад отшельнической жизни. Здесь человек вне стен крепости человеческой, один и уповает только на молитвенную кладку. В лесу и с молитвой всегда владеет предчувствие чуда. Кажется, что встреча здесь вероятнее. Воздух чище? Любопытно, что и помещики пробовали жить рядом с ними в келейках. Правда, возвращались к прежней жизни. Наши уолденцы, туристы-пустынники. Вот как и я, не помещик и не ревнитель веры, но знаю вкус безмолвного леса.

Диоген ищет женщину



Греческий киник является в третьем романе Гончарова: «Еще опыт… один разговор, и я буду ее мужем, или… Диоген искал с фонарем “человека” — я ищу женщины…» Этот новый Диоген – сейчас он выступает под именем Бориса Райского – прибыл из Петербурга в глушь волжскую, чтобы осветить «картину вялого сна, вялой жизни». Скучающий барин поехал на родину так… развеяться, позабыть свежую неудачу: пассия предпочла ему заезжего итальянца. Но «фонарь» тут же вспыхнул: в родовом имении на берегу Волги, среди трав и цветов и пения птиц жили две девушки, Марфа и Вера. Скуки как не бывало. Пушкин обо всем этом навечно уже сказал в стихотворении про зиму и тоску деревенского захолустья, мгновенно преображенного гостями:

> Нежданная семья: старушка, две девицы
> (Две белокурые, две стройные сестрицы)

И вот:

> Как оживляется глухая сторона!
> Как жизнь, о боже мой, становится полна!

Марфенька и Вера тоже были сестрами. И первая была светловолоса, а другая, правда, темная, чем-то напоминающая «Девушку у пруда» Нестерова: «Глаза темные, точно бархатные, взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягкими около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом...»[1] Была при девушках и старушка, ее все называли бабушкой, Татьяной Марковной. И дух русской глуши все тот же:

Иду в гостиную; там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе;
Хозяйка хмурится в подобие погоде,
Стальными спицами проворно шевеля,
Иль про червонного гадает короля.

И лирический герой то берется за книгу и оставляет ее, то начинает сочинять и все забрасывает. Стихотворение Пушкина, которого,



кстати, Гончаров два раза сам видел, однажды в университете, другой раз в театре, и всю жизнь боготворил, стихотворение это кажется программным для романа. Борис Райский тоже не чужд искусствам, сочиняет роман и пишет красками и то хватается за кисть, то принимается за дневники и записки для романа.

И дальше все то же: «и дружный смех, и песни вечерком, / И вальсы резвые, и шепот за столом, / И взоры томные, и ветреные речи, / На узкой лестнице замедленные встречи». И наконец «дева в сумерки

---

[1] Иван Гончаров. Обрыв.

выходит на крыльцо». Правда, гончаровская дева выходит на обрыв. И на этом совпадения как будто кончаются.

Перед героями распахивается бездна. Ее-то и пытался высветить до дна новый Диоген, изведать «все образы страсти», как замечал сам автор. Тут впору обратиться к предтече. Античные реминисценции, раскиданные по всему роману, сами к этому подталкивают. Хотя именно этот источник ни разу и не упомянут. Но фонарь нового Диогена явно заправлен Платоновым маслом. Этот свет уже вспыхивал ярко среди пирующих греков, сообщение о котором так и называется «Пир». «Ведь тому, чем надлежит всегда руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит их лучше, чем любовь»[1], — эта цитата из первой речи на пире могла бы стать эпиграфом к «Обрыву», да и, пожалуй, ко всем романам Гончарова.

В самом деле, фонарь Диогена зажегся резким и каким-то лихорадочным, «лающим» светом уже в первой книге Ивана Александровича, которая вся построена на диалогической основе, что вновь заставляет вспомнить Платона, его удивительные и всегда живые диалоги. «Обыкновенная история» — классический роман воспитания. Провинциальный племянник является к дяде в Петербург. Племянник прекраснодушен, романтичен, бросается с объятиями и излияниями и только что не тявкает и не взвизгивает по-щенячьи, — а так и кажется, что он потряхивает длинными ушами. Дядя усердно окатывает его ушатами трезвомыслия.

«— Ах, дядюшка! – сказал Александр, — как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места с намерением словом и делом доказать свою признательность.

— Тише, тише, не трогай! – заговорил дядя, — бритвы преострые, того и гляди, обрежешься сам и меня обрежешь».

Дядя-прагматик в этой фразе дал сжатый конспект всего последующего. Племянник «порежется» и дяде немного достанется. Но ничто уже не могло погасить разгорающийся фитилек. Провинциал Александр Адуев скоро влюбляется, разумеется, насмерть, до гробовой доски, с байроническим замахом, и Нева, через которую возят его к возлюбленной на дачу, вот-вот закипит. Отсветы Диогенова фонаря показывают нам первый лик этой любви. Наденька – ничего особенного, избитый набор определений, увидеть ее довольно трудно. А вот лицо самого влюбленного представить легче, благодаря реплике его дяди — Петра Адуева.

«— Вы ничего не замечаете в моем лице? – спросил он.

— Что-то глуповато... Постой-ка... Ты влюблен? – сказал Петр Иванович».

---

[1] Платон. Пир. Речь Федра.

Вообще надо признать, что все действующие лица первого романа Гончарова довольно прозрачны, окружающая обстановка — призрачна. Здесь еще нет той густоты красок, что позволила одному из критиков назвать стиль Гончарова «фламандским». Но чувство юноши, вступающего в большую жизнь, передано очень живо. Он удивляется, негодует, пытается анализировать, разочаровывается, любит. Первая любовь Александра Адуева в Петербурге — к Наденьке Любецкой (так!). Герой буквально пьян, он то плачет, то смеется, мечется, мечтает наяву. Его Наденьку будто уже овеяла своим магическим жестом Афина, — из «Илиады» и «Одиссеи» мы помним, как это происходило: герои становились выше, белее, глаза у них делались лучистее и т. д. Вот и Наденька Любецкая у Александра Адуева выступает преображенной, ее суждения блестят «светлым умом»,



она глубоко понимает жизнь, и голос у нее «голос! что за мелодия, что за нега в нем! Но когда этот голос прозвучит признанием... нет выше блаженства на земле! Дядюшка!» И поневоле начинаешь верить, что произойдут тектонические сдвиги от этого голоса, а пока лишь качается этажерка, с которой слетает алебастровый бюстик Софокла или Эсхила — и расшибается вдребезги. Тени древних греков мелькают то тут, то там. На то и фонарь Диогена в поднятой руке. Иногда огонек его колеблется от смеха — нашего, читательского.

«— Поцелуй Наденьки! о, какая высокая, небесная награда! — почти заревел Александр.

— Небесная!

— Что же — материальная, земная, по-вашему?»

Дядя в «Обыкновенной истории» выступает в роли мантинеянки Диотимы, посвящавшей в свое время Сократа в премудрости любви. Только житель северной Пальмиры Петр Адуев выстраивает свою

иерархию красоты и любви, которую можно было бы назвать Антидиотимой. Вспомним, что услышал Сократ от Диотимы, «женщины очень сведущей». Она начертала путь истинной любви. И он начинается «с устремления к прекрасным телам в молодости»[1]; полюбив «одно какое-то тело»[2] неофит вдруг поймет, что «красота одного тела родственна красоте любого другого»[3] и уже начнет «любить все прекрасные тела»[4]; следующий шаг в понимании, что красота души выше, чем красота тела; следующая ступенька — любовь к красоте нравов, наук, мудрости, мысли.

«Теперь, — сказала Диотима, — постарайся слушать меня как можно внимательнее»[5]. И возвела Сократа на верхнюю ступеньку этой древней лестницы Эрота, где можно созерцать прекрасное «не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное»[6].

А вот учение Петра Адуева. Он уверяет племянника, что любовь быстро оборачивается привычкой, и большая глупость видеть в ней глубины и тайны и верить в ее вечность; любовь должна быть разумной, то есть мужчина должен тщательно выбирать себе спутницу...

«— Искать, выбирать! – с изумлением сказал Александр.

— Да, выбирать. Поэтому-то и не советую жениться, когда влюбляешься. Ведь любовь пройдет — это уж пошлая истина»[7].

И дальнейшие события как будто подтвердили правоту дяди. Любовь к Наденьке Любецкой замолкла постепенно после того, как она предпочла другого — молодого белокурого графа; затем возникла страсть к Лизе, скорее одного плотского характера, но в дело вовремя вмешался внимательный наблюдатель — отец девушки; следующая вспышка — к Юлии — быстро погасла. И вот итог: племянник в финале романа сообщает дяде о том, что у его невесты триста тысяч приданого да еще пятьсот душ на ежегодное проживание. Больше о ней ничего не сообщается, ни имени, ни цвета волос, ни звучания голоса, ни цвета глаз... Всегда уравновешенный дядя в восхищении необыкновенном: «Александр!... ты моя кровь, ты — Адуев! Так и быть, обними меня!»[8] На этой последней ступеньке романа в свете фонаря Диогена резко блестит презренный, по определению самого же дяди, — но это в его устах лишь дань традиции, — металл. Диоген искал женщину, а нашел деньги. Таков результат учения Петра

---

[1] Платон. Пир. Речь Сократа.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Гончаров. Обыкновенная история.
[8] Гончаров. Обыкновенная история.

Адуева, эту его вершину и приходится созерцать в конце, удивляясь огромной разнице с учением мудрой Диотимы.

«Сила этого романа, — писал Шелгунов в статье “Талантливая бесталанность”, — в резком протесте против идеализма и сентиментализма». За это же хвалил «Обыкновенную историю» Белинский.

А чем привлекает роман в наше время, когда отовсюду сверкает металлически «здравый смысл»? Возможно, как раз прозрачным духом идеализма и сентиментализма, ибо в романе он еще жив, коли на него так ополчается умный Петр Адуев.

...А что же женщина?

Она еще в стороне, где-то в комнатах, позади радующихся Адуевых, это жена дядюшки, о которой у него сверкнула действительно здравая догадка, «что, может быть, в ней уже таится зародыш опасной болезни, что она убита бесцветной и пустой жизнью...»[1]

Белинский скоро охладел к Гончарову, посчитав его филистером, Тургенев сообщал, что «проштудировав» Гончарова, увидел в нем чиновника с мелкими интересами и мизерным миром. Примерно в том же духе о нем отзывались Достоевский, Некрасов. Хотя и ценили его талант. Конечно, автор был не юн, чтобы удариться в беспросветные переживания по этому поводу, в момент выхода первого романа ему исполнилось тридцать пять лет. Да и успех у читающей России, пожалуй, заглушал эти нелестные реплики. Надо было двигаться дальше. И Гончаров с каким-то носорожьим упорством прокладывал себе путь. Он служил переводчиком в министерстве финансов и писал урывками новый роман. «Вещь вырабатывается в голове медленно и тяжело», — признавался он. Десять лет длилась эта работа, мелкий чиновник успел совершить кругосветное плавание, и наконец, был опубликован «Обломов».

«В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире...»

Илья Ильич Обломов — это имя загоралось ровным круглящимся пламенем.

Новый роман, новые поиски. Здесь уже «фламандский стиль» виден сразу, на второй же странице, в описании знаменитого впоследствии халата «без малейшего намека на Европу» и всей обстановки: тяжелых штор, зачехленной мебели, бюро красного дерева, занесенных пылью зеркал, ковров, стола с солонкой, хлебными крошками и обглоданной косточкой. Фламандский стиль — это прежде всего Рубенс, чью живопись искусствовед характеризует как «прекрасную, сочную, сияющую и сквозистую», отличающуюся теплым — «как живое тело» — колоритом[2]. Имея в виду этот тепло-телесный колорит, надо признать реплику Дружинина о том, что у Гончарова фламандский стиль, весьма удачной. Читатель «Обломова» как будто

---

[1] Там же.

[2] Н. А. Дмитриева. Краткая история искусств.

заворачивается в тот самый халат. Правда, критики как раз считали Гончарова отстраненным, холодно-объективным сочинителем. Белинский полагал, что Гончаров вообще единственный из современников «приближается к идеалу чистого искусства» и что у него «нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам»[1]. Возможно, прочитав «Обломова», мэтр переменил бы свое мнение. Достаточно даже было бы прочесть «Сон Обломова», главу, появившуюся в печати десятью годами раньше всего романа. Сквозь прозрачный слой здесь «просвечивал теплый красноватый подмалевок», а «переходы между тенью и светом не резки: все артистически обобщено и приведено в свето-цветовую гармонию»[2]. Сказанное о полотнах Рубенса вполне применимо к этой прозе. Любой жест художника пристрастен и не бывает объективной картины мира. Даже фотограф не объективен, а предлагает нам свой вариант мироздания, ну или только чей-нибудь портрет или вид улицы. Сквозь строки «Сна Обломова», да и всего романа проступает «красноватый подмалевок» любви.

Сравнение с Рубенсом можно подкрепить и замечанием все того же искусствоведа о том, что у него — Рубенса — «довольно грузные композиции и грузные тела».

Несовершенство своих композиций признавал и сам Гончаров. В письме к Л. Н. Толстому он советовал пропустить первую часть романа. Не был он доволен и первой частью «Обрыва». Но, возможно, как раз то, что добрую сотню страниц, даже больше, полтораста страниц, короче, всю первую часть романа Обломов возлежит на диване, особенно и восхищало поздних его почитателей, таких, как Беккет, например. Благодаря такому грандиозному зачину и все дальнейшие события воспринимаются уже как бы с дивана, словно сон. На самом деле герой продолжает лежать, даже когда куда-то скачет в карете. У древних китайцев есть афоризм о том, что мудрецу незачем бить ноги и обувь, мир сам приходит к нему. Вся первая часть романа буквально подтверждает эту поговорку. Ну и дальше герой все-таки «возлежит». Тень дивана всюду к его услугам.

Впрочем, эта тень исчезает в некоторых случаях, когда фитиль Диогенова фонаря выкручивается максимально, и мы видим женщину, Ольгу.

«Ольга в строгом смысле не была красавица, то есть...» Далее следует описание щек, губ, рук, роста, носа, бровей... Увы, это не Елена Фоурмен, жена и модель фламандца. И действительно ее увидеть не удастся до конца романа. Даже ее брови, «пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично» не более, чем слова, и складку между бровей, с покоящейся в ней мыслью, не различить. Отчего это так? Может, свет слишком пристально-ярок. Но «черные, как мокрая смородина, глаза», «из которых один косил немно-

---

[1] В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года.
[2] Н. А. Дмитриева. Краткая история искусств.

го» другой героини другого автора мы видим мгновенно. А неровных бровей и складки Ольги Ильинской — нет.

«Ходила Ольга с наклоненной немного вперед головой, так стройно, благородно покоившейся на тонкой, гордой шее...» Сколько эпитетов, а портрета нет. И вообразить Ольгу Ильинскую не получается. Никакие ассоциации не работают. Вот еще почему фильм Михалкова «Один день из жизни Обломова» не назовешь удачным: Ольга Ильинская там не та. А какая «та»? Ольга Ильинская ускользает.

И все-таки фонарь Диогена каким-то образом показывает нам эту молодую женщину. И это уже не Наденька Любецкая или Лизавета Александровна, жена дядюшки Адуева. Это совершенно новый у Гончарова тип женщины. У Обломова при взгляде на нее вихрем неслись мысли. И ее можно сравнить с вихрем. Это самое дыхание жизни, вдруг окружившей лежебоку вместо любимого халата. Неожиданный поворот микросюжета восточной поговорки: и мир закружил созерцателя. Всякое появление Ольги, ее взгляды, реплики волнуют героя, это волнение передается и читателю. Ольга девушка с идеей. Она хочет жить свежо, не прозябать, как другие, а внести в любое действие высокий смысл. Ближайшая ее цель — Обломов. И она заставляет его ворочаться. Обломов вдруг молодеет на глазах. Халат сброшен, как ржавый доспех. Дон Кихот недеяния и созерцательности как будто «излечился», и его Санчо Панса с лохматыми бакенбардами распускает слухи о скорой женитьбе господина. С призраками прошлого покончено. «Боже мой! Как хорошо жить на свете!» — восклицает автор вместе с героем, не исключено, что в пику известной сентенции Гоголя. И читателю передается это ощущение счастья и полноты. И причина всего этого — Ольга. Скорее даже дух женщины, идея женственности, то, что психоаналитик Юнг называл анима. «Если ему и снятся тяжелые сны и стучатся в сердце сомнения, Ольга, как ангел, стоит на страже; она взглянет ему своими светлыми глазами в лицо...» Женщина призывает мужчину жить. И тот «ездил даже к архитектору. Вскоре на маленьком столике у него расположен был план дома, сада. Дом семейный, просторный, с двумя балконами»[1].

Апофеоз любовных отношений – в сцене «лунатизма любви». Аллея томится перед грозой, природа волнуется, и женщина здесь сливается с ней, выступает как часть ее; и тяжелые облака разряжаются ее слезами. Здесь Обломов особенно жалок и смешон. Трусливо бормочет, что лучше пойти домой. Он не отвечает на зов женщины-природы. Впору засомневаться в его мужественности.

...Или все-таки созерцатель из притчи в этом кружении не потерял голову? Кто же в конце концов Обломов, мудрец или трус? Ведь и он мечтал о любви, ждал «патетической страсти», ему «на первом

[1] Гончаров. Обломов.

плане всегда грезилась женщина как жена и иногда — как любовница». А когда она пришла, вдруг начал юлить, отступать, уклоняться.

Но вот, может быть, в чем разгадка: женщина была у него воплощением «целой жизни, исполненной неги и торжественного покоя». Мечтаемый образ представлялся ему «как сам покой».

Ольга покоя ему не сулила. Обломов подозревал, что после этого фейерверка у него останутся только опаленные волосы. «Оглушение, ослепление и опаленные волосы!» И скорее всего был прав.

Вообще в нежелании делать выбор можно увидеть стремление к абсолютной свободе. Чем нас так манит будущее, спрашивал Бергсон, и отвечал: свободой, возможностью выбора. Илья Ильич на своем диване возлежал словно у истока всех дел и решений, будущее для него всегда было открыто. Он мог сделать карьеру, заняться, пожалуй, писательством, или уехать в деревню. Надо было только решительно попасть ногами в тапки — и действовать. Но... а зачем? Что дальше?.. «...вечная беготня взапуски, вечная игра деревянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки... Ежедневная пустая перетасовка дней!» И Ольга как воронка затянет его в эту мелкую суету. Не он ей сужден. И ему нужна другая женщина.

Другая женщина и оказалась случайно поблизости. Хозяйка дома, где ему пришлось снять комнаты после переезда со старого места, Агафья Матвеевна Пшеницына. Чудесное изобильное имя. И вот эту женщину мы уже хорошо видим, эфемерная кисть художника оплотняется, краски густеют. То, что Обломов искал — само собой нашлось. Это уже вполне рубенсовская модель. Фламандские художники итальянским Венерам предпочли отечественных красавиц — пышных, широкобедрых, дебелых, пишет Дмитриева в «Краткой истории искусств» и приводит следующее соображение самого Рубенса на этот счет: «...в наш век, полный заблуждений, мы слишком далеки от того, чтобы создать нечто им подобное... так как большинство людей упражняют свои тела лишь в питье и обильной еде». Белотелая Пшеницына с выразительными голыми локтями и своей усмешкой была настоящей царицей всяческих съестных припасов, специй и блюд. Описания ее запасов и кухни вызывают ассоциации с «Гаргантюа и Пантагрюэлем». Можно подумать, она готовила на целый дворец. В строках, посвященных этой женщине, особенно заметен «красноватый подмалевок». Ну, да, и комментаторы сообщают, что отчество этой женщины такое же, как и у матери самого Гончарова. И имя созвучное: Авдотья — Агафья. Агафья Матвеевна самозабвенно и молчаливо любит своего барина, закладывает свои украшения, когда положение Обломова стало критическим в финансовом смысле. Чутко ухаживает за ним во время болезни. Штольц, заехав внезапно к Обломову, поражен, он бросает брезгливые реплики... А Илья Ильич покоен и как будто доволен.

Так вот, какая женщина была ему нужна? Скорее мать, чем жена.

Георгий Гачев рассуждая о русском Эросе, вспоминает Пушкинский отрывок «Гости съезжались на дачу», разговор на балконе двух мужчин, один из которых спрашивал: «...знаете ли вы, как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы»[1]. Можно сделать вывод, что русский Эрос прохладный и светлый. «И, войдя с морозцу, пишет Гачев, не бабы хочется, а водочки выпить — внутренность обжечь, а не кожу потереть. Душа-то глубоко затаилась, в комок сжалась...»[2]

Изгнать Эрос вовсе или хотя бы вытеснить его в дальний угол, да и жить светло и чисто, — таково стремление обитателей русского Космоса, по Гачеву. И случай Обломова как будто подтверждает эти наблюдения. Недаром, кстати, Обломов в молодости мечтает о женщине как о жене, и только изредка — как о любовнице.

«Но тем катастрофичнее наплывы и взрывы Эроса...», замечает Гачев.

Следующий роман Гончарова — как раз об этом.

Надо признать, что в «Обломове» наш Диоген отыскал именно Обломова, хотя автора и хвалили за обрисовку женских характеров. Но вполне живой там персонаж-женщина — это Пшеницына. Ее ли искал Диоген? Пафос Обломова — «утонуть в раздумье», и это, кстати, его характерная черта: он начинает деятельно мыслить, как вдруг посреди этого практического размышления замирает, словно околдованная птица на лету, — и камнем падает в воды созерцания. Удивительная особенность. Яркий пример одного из четырех типов, на которые делил всех людей еще Аристотель: созерцатели, деятели, слуги, рабы. Одной из причин охлаждения отношений с Ольгой можно назвать и эту, высказанную во внутреннем монологе Ильей Ильичом: «как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье!» Но и подавно такой потребности и даже способности нет у Пшеницыной: «Она тупо слушала, ровно мигая глазами».

Нет, поиск еще не окончен.

Насчет «Обрыва» Гончаров говорил, что главный герой Борис Райский это в известном смысле сын Обломова. Тут уместно вспомнить, что некий литератор Л. Ф. Привольский еще при жизни Гончарова тиснул роман «Внук Обломова». Еще одно свидетельство о популярности оригинала, подкрепляющее к тому же нашу метафору Обломова — Дон Кихота. Правда, испанский вариант событий был много хуже: это был откровенный подлог — продолжение истории хитроумного идальго, о чем во второй книге узнают сами герои. И раз уж речь об этом: Дон Кихот был воспринят как архетипический персонаж. Таков же и Обломов, равных ему нет в русской литературе.

---

[1] Г. Гачев. Национальные образы мира.
[2] Там же.

Борис Райский мало похож на Обломова, да и вообще не похож. Даже его имя звучит по-другому: резко, напористо. Роднит его с Ильей Ильичом разве что происхождение и нежелание вникать в практические вопросы. Едва приехав в имение, где живут его родственницы престарелая Татьяна Марковна и девушки Марфенька и Вера, он уже дарит землю и дом двоюродным сестрам, а крестьян хочет отпустить на волю. Этот петербургский то ли живописец, то ли литератор временами карикатурен: много дергается, егозит, как великовозрастное дитя, превозносит страсти, ищет драмы. Позже одна из сестриц припечатает его сравнением с лисой. А сам-то он аттестует себя как «первый партизан и рыцарь» свободы. И даже свободной любви. Ну, да, о чем еще говорить с двумя девицами? Райский вполне оправдывает свою фамилию тем, что действует как змий искуситель. Конечно, сам Райский так не считает: он не искушает, а пробуждает, и жаждет свободы, и поклоняется красоте — и трещит как балаболка. Нет, ему явно недостает хорошей тяжести Обломова. Райского можно охарактеризовать как немного спятившего Штольца.

Что ж, тем сочнее и естественнее выглядят женщины этого заволжского мира: бабушка Татьяна Марковна и две сестры.

С одной из сестер, Марфенькой, Райский, только что приехавший из Петербурга, сразу сталкивается во дворе, его — и наш, читательский — взгляд сначала пробирается среди кадок «с лимонными, померанцевыми деревьями, кактусами, алоэ и различными цветами», и вот в лучах утреннего солнца девушка с косой, «с легкой тенью загара», круглолицая кормит кур. Описание девушки очень живо, здесь уже не Рубенс, а отечественные художники вспоминаются, например, Венецианов. После утомительной петербургской части эта сцена распахивает перед нами совершенно другой мир. Краски его звучат и пахнут. Воробьи мелькают перед носом Райского, голуби хлопают крыльями, «точно ладонями», девушка исчезает, и уже бабушка торопится к нему, «объятия растворяются».

И эти объятия мы будем ощущать на протяжении всего романа. Можно сказать, что это самый уютный роман нашей литературы. Покидать его пределы не хочется. Впрочем, «уютный», пожалуй, не совсем точный и удачный эпитет.

Повествование с появлением еще одной сестры, странноватой и загадочной Веры, вокруг которой сразу же возникает аура тайны, даже книгу она не хочет показать любопытному Райскому, прячет в шкаф, держит в напряжении, всё написанное буквально пронизывают токи. Мы оказываемся не только в объятиях мудрой бабушки Татьяны Марковны, но и в эпицентре главных событий женской души. Роман напитан энергиями анимы. Здесь и «лунатизм любви» предыдущего романа, и разнообразные лики и гримасы страсти, лукавство, хищность, страхи и свет. Райский говорит, что в Вере есть спирт. И он обжигает и пьянит самого Райского и читателя (споря с

репликой Гачева). Мучительное опьянение. Таково воздействие анимы. И уже фонарь Диогена заправлен и не Платоновым маслом, а этим спиртом.

Все внимание приковано к Вере. Она является как русалка со дна Волги. У нее подруга за рекой, у которой Вера подолгу гостит. Но и в обычные дни куда-то пропадает и возвращается «с светлыми, прозрачными глазами, с печатью непроницаемости и обмана на лице, с ложью на языке, чуть не в венке из водяных порослей». Загадка всего обольстительней! Райский, получивший отказ у Марфеньки, влюбляется в эту загадку и тщится ее разрешить. Очень скоро его любовь оборачивается «какою-то враждебною, разжигающею мозг болью».

Вообще у Гончарова метафора любви-болезни работает во всех романах. Любовь действует как малярия, воспаление; Александр Адуев чувствует с ужасом «первые припадки этой любви, как будто какой-нибудь заразы», Ольга ощущает тяжесть любви, сравнивая ее с камнем и глубоким горем, Райский говорит Вере, что болен ею. И «болезнь» и «припадки» Райского сильнее всего. Воспаленное воображение рисует ему эту девушку то русалкой, то птицей, то змеей, которая сверкает красотой, как ночь. Диогенов фонарь пылает. Вера исполнена почти демонической красоты. Райский глядит жадно. И мы вместе с ним. Лихорадка передается и читателю. Суждение Ин. Ф. Анненского о том, что страсть не дается его героям, кажется неудачным. Райский сотрясается от страсти. Палимы этим нещадным солнцем Эроса и другие: университетский товарищ Райского, книжный червь, рогоносец, и его жена Ульяна, жрица любви; еще одна жрица — дворовая девка Марина, то и дело увертывающаяся от кулака и полена разгневанного мужа Савелия; сюсюкающая дама не первой молодости Полина Карповна, смешная и жалкая в своих нарядах и стараниях завлечь в сети Райского; сестра Марфенька и ее жених Викентьев; наконец, и сама бабушка Татьяна Марковна, — у нее была своя несчастная история любви, да она и продолжается: рядом с нею неотступной тенью молчаливый гость и несбывшийся суженый Ватутин, старый рыцарь и вечный данник слова, положившего неодолимый барьер между ним и его возлюбленной. «Обрыв» как волжский омут страстей. Сам Райский берет шире: «смотрел на Волгу, на ее течение, слушал тишину и глядел на сон этих рассыпанных по прибрежью сел и деревень, ловил в этом океане молчания какие-то одному ему слышимые звуки». Метафора океана и вправду хороша для этого романа. «Обрыв» как океан прошлого, отгоревшей любви старой России. Хотя, почему же отгоревшей? На этих страницах любовь всегда жива. И она причиняет не только боль. Возьмите и перечитайте сцены бегающих друг за другом Марфеньки и Викентьева, — они брызжут радостью, сверкают чистой росой. Это волжская Песнь песней, в ней цветы и солнце, сверкание счастья. Читая эти страницы, понимаешь, что это и есть источник национального здоровья, в нем все надежды и будущее. Марфенька

и Викентьев — наш капитал, материнская порода, из которой все произрастает и на которой и стоит все здание. И тут бабушке, хранительнице традиций, есть чем гордиться. Марфенька — ее произведение.

Правда, сама бабушка больше любит Веру.

Ну, это как обычно, несчастное дитя требует большей любви. А то, что несчастье с ней случится, как-то сразу становится ясно. Это ожидание и томит — читателя и Райского, то собирающего чемодан, чтобы сейчас же отсюда бежать, то отдающего приказ Егору тащить чемодан обратно. Возможно, нашу тревогу усиливает и волжский код, вписанный в сознание Островским. Все мы прекрасно помним, чем разрешилась туча «Грозы».

В ненастье Райский выходит на обрыв, куда убежала Вера, всматривается в тьму. И, кажется, ветер рвет язык пламени Диогенова фонаря, грозит его затушить. Обрыв вызывает Веру обычно выстрелом из ружья. И она повинуется ему даже как будто против воли. О языческих мифологических мотивах этого романа уже говорили разные исследователи. И разбирали имя возлюбленного Веры — Марка Волохова, находя в нем связь с Велесом и с волком[1]. Хтонический смысл Обрыва очевиден. И Марк выступает в роли нового апостола. Какой же веры?

Из речей самого Волохова понятно, что он ярый противник всего старого, ниспровергатель традиций и одним словом нигилист: «...все прочь, все ложь, — а что правда — вы и сами не знаете...», — говорит ему проницательная Вера.

Гончаров скептически относился к новым людям, так называемым революционным демократам. Но все-таки надо признать, что Марк Волохов вышел интереснее Райского. И понятно, почему его — а не Райского — полюбила Вера. Кстати, это именно Марк, а не Райский, называвший себя Диогеном, больше похож на киника. Как и далекий афинский философ, Марк живет в лачуге, неизвестно, чем питается, шокирует приличное общество разными выходками, одевается чуть ли не в рваный плащ. Суждения и действия его оригинальны. Его дух бунтует и требует свободы и новизны. И на фоне какого-нибудь плесневелого держиморды генерала Тычкова, шельмующего прилюдно беззащитную и нелепую Полину Карповну, на фоне прочих сонных и боязливых обитателей глубинного городка, да и рядом с лисой Райским, все ждущим драм (хоть и с убийством Марины Савелием), Марк Волохов глядится действительно Колумбом, как называет его Вера. Ну, по крайней мере, ярким и оригинальным. Под стать самой Вере. Не стоит забывать, что на волжском дво-

---

[1] См., например, Уба Е. В. Имя героя как часть художественного целого: (По романной трилогии И. А. Гончарова) // Гончаров И. А.: Материалы Международной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения И. А. Гончарова. — Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2003. — С. 195-207.

ре Малиновка, как и повсюду в России, — еще век крепостничества. Бабушка Татьяна Марковна, конечно, добра и даже напившихся с утра по случаю праздника дворовых не наказывает, а только журит, и вообще ладит с крестьянами, но легко представить на ее месте какую-нибудь Салтычиху. А вместо *художника* Райского — Зверкова из «Ермолая и Мельничихи», запретившего девушке выйти замуж, чтобы его жена не осталась без хорошенькой горничной, или Мардария Аполлоновича с его «чюки-чюки-чюк» в такт «мерных и частых ударов».

Все это знал Гончаров. Потому и отдал симпатии Веры Марку.

Но Вере в нем мало любви и стремления к новизне, справедливости и т. д. Ей нужен положительный идеал. А его-то Марк предложить и не может.

Жаль! Вера в своей любви слишком рассудительна. По первоначальному замыслу, она должна была отправиться с этим Диогеном в Сибирь. И это было бы блестящим завершением ее образа. И задатки «такого сильного, мучительного, безумного счастья» вполне раскрылись бы...

Но судьба распорядилась иначе.

Однажды Райский заметил, что у бабушки архаическое представление о судьбе, как у древнего грека: «как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит и слушает...» На что бабушка охотно согласилась и даже стала озираться. Ей не хватило магических сил, чтобы увидеть поблизости фигуру самого сочинителя. Мы-то в более выгодных условиях и — видим. Впрочем, часто эта фигура и для нас исчезает: когда книга живет как бы сама собой, океанически дышит, вздымая волжские берега, сады, заволжские леса и небо, когда дух манит «за собой, в светлую, таинственную даль... к идеалу чистой человеческой красоты», когда перед грозой все притихает в большом деревенском доме и закрываются окна, трубы, когда дрожащие руки Веры ищут мантилью в беседке на дне обрыва, чтобы накинуть на плечи и натыкаются на ружье, и когда она откликается на безмолвный зов Марка, чтобы утонуть в Обрыве, в его объятиях, и когда пред взором Райского «тихо поднимался со дна пропасти и вставал... образ Веры, в такой обольстительной красоте, в какой он не видал ее никогда!», и когда на сомнамбулические вопросы Веры, мечущейся на постели, слышен голос: «Бабушка пришла! Бабушка любит! Бабушка простила!»

Критики упрекали Гончарова за этот поворот судьбы Веры: она оставила Марка и попыталась найти опору в молитве и церкви. Уже в начале прошлого века все случившееся с Верой вызывало недоумение. Ю. И. Айхенвальд пишет, что «падение» Веры ее личное дело и зачем так раздувать пламя[1]. Ну, а современному читателю — после какого-нибудь Бегбедера или Уэльбека — трагедия Веры и вовсе

---

[1] Ю. И. Айхенвальд. Гончаров.

покажется непролазной архаикой, чем-то вроде «Ипполита» Еврипида. Какое «падение», воскликнет наш современник, это всего лишь первый сексуальный опыт, после которого любовники решили расстаться. И прав Айхенвальд в своем упреке Гончарову, что тот-де слишком оберегает девушку от «падения».

На первый взгляд, критики правы.

Но среди этих голосов надо прислушаться еще к одному голосу — Мережковского, увидевшего в творчестве Гончарова своеобразный символизм.

А. Ф. Лосев, определяя символ как обобщение, создающее бесконечную смысловую перспективу, приводит яркие примеры художественных символов: «Вишневый сад», тройка Гоголя, «Полтаву» Пушкина. Разбирая последнее произведение подробнее, Лосев заключает, что здесь дана не простая картина боя, боев и сражений в России было предостаточно, но именно этот бой и специфика его изображения, его «национальное и общественно-политическое осмысление» возводят это событие и главную его фигуру — Петра Первого — в ранг символа[1].

Имея все это в виду, бросим еще один взгляд на последний роман Гончарова.

Сад Райского — а именно ему принадлежало поместье, бабушка им лишь управляла по-родственному, — стоит на горе над обрывом. И разве не ловишь себя на мысли, что и этот сад постигнет участь вишневого? Вот Райский впадает в хандру и видит в каком-то мрачном озарении, что рыцарь Ватутин — отживший барин, Леонтий — бумажный червь, одурманенный развратной женой, а «вся дворня в Малиновке — жадная стая диких, не осмысленная никакой человеческой чертой». Тут только шаг до видения этой стаи в бунте. То, что недоговаривает Гончаров, отчеканила история. «Судьба придумает!» — восклицает бабушка, и это звучит как пророчество. Ожидание катастрофы разлито в романе. В Обрыве неспроста мерещатся Райскому «блуждающие огни злых обманов». Дело в том, что и тот, другой Диоген, Марк, тоже искал женщину. И здесь уже пора привести заключительные строки романа, в которых Гончаров совмещает фигуры Веры, Марфеньки и бабушки с другой, великой, исполинской фигурой — Россией.

Так от какого же падения хотел уберечь Гончаров свою женщину?

И теперь нам кажется, что ради этого и зажигал сей фонарь, выводя при его бликах еще первые строки этой великой трилогии: «Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом...»

---

[1] А. Ф. Лосев. Проблема символа и реалистическое искусство.



Исчезнувшее пространство

Иконописцы знали особое пространство, академик Борис Раушенбах в своей книге «Геометрия картины и зрительное восприятие» называет его мистическим, оно было трехмерным, так как ангелы, например, находились там же, где и обычные, земные персонажи. То есть на иконе сосуществуют два пространства, обычное и



мистическое. Для обозначения мистического пространства иконописцы использовали зачастую темно-синий цвет, линию или даже

череду ангелов. Иногда, пишет Раушенбах, на иконе чередовались зоны мистического и обычного.

Позже мистическое пространство стали отделять облаками, изображая сакральные фигуры в том же цвете, что и обычных персонажей, отказываясь и от иерархического увеличения размеров. В итоге, утверждает Раушенбах, мистическое пространство на иконах исчезло, его уже нельзя было отличить от обычного.



Любопытно, но чувство мистического пространства не могло ведь покинуть иконописцев? Каким-то образом оно выражалось. Но тем не менее: современные иконы на меня, например, не производят никакого впечатления. Может быть, дело как раз в этом ушедшем чувстве мистического пространства.

Шаман и Венера-Чалбон

Забыл шерстяные носки, вернулся на южный склон над ручьем.

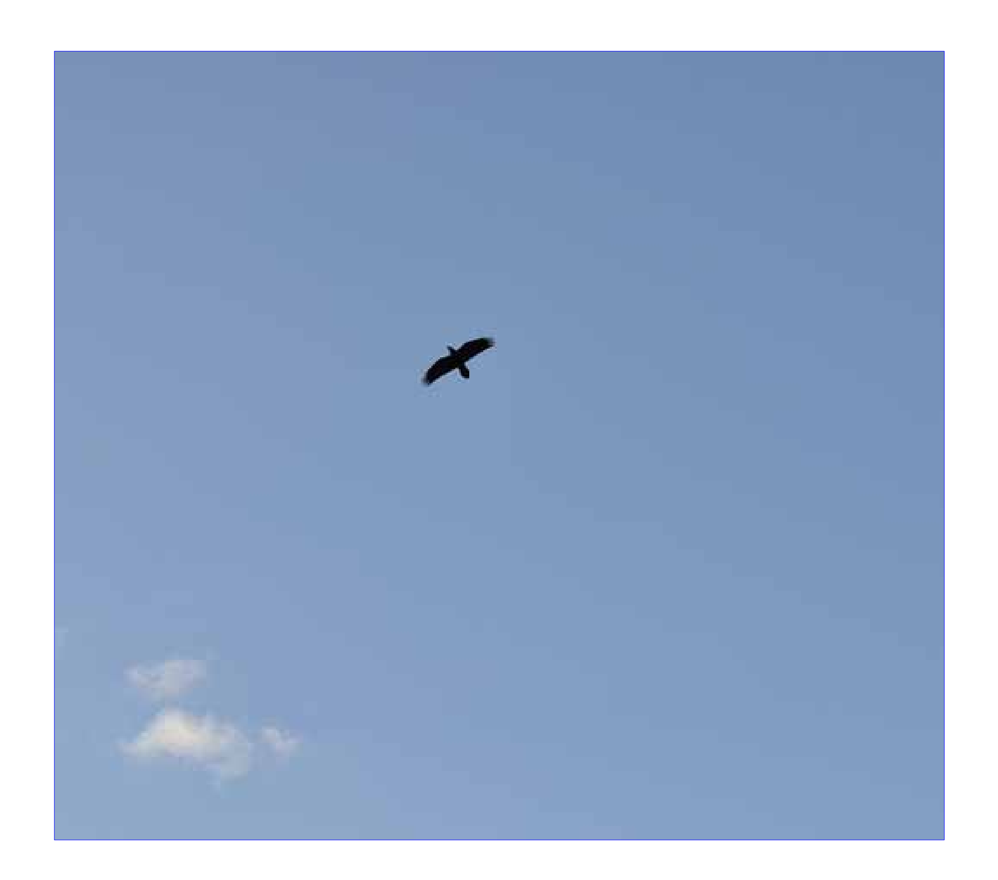
Носков не было, значит, все-таки забирал, бросил в палатку или сунул в рюкзак, если, конечно, кто-то не ушел в них.

Посмотрел на узкий закат над черными ольшаниками, повернулся, чтобы идти по тропе в лагерь — среди березовых вершин летела, растопырив лазурные крыла, звезда, единственная на весь небосклон. Венера, Чалбон у эвенков. Шаманы, бывавшие там, рассказывали,

что над сухими лиственницами с гнездами оми — нерожденных душ — стоит неумолчный птичий гвалт.

Здесь, конечно, Чалбон восходила в полном молчании. Позже все небо пузырилось звездами, но звезда Чалбон в нем царила, яро горела сквозь неопавшую листву дубов, черные сплетения ветвей и даже сквозь ткань палатки, казалось мне, сквозь лобную кость, — летела, распарывая ночь.

И представился мне человек, идущий куда-то среди пламенеющих зарослей иван-чая в шерстяных носках с березовым посохом...



Что удивительного, шаманы были бедны, как литераторы. Это в агитках писали, что шаманы таежные папы римские. На самом деле все было не так. Вот исследовательница эвенков Василевич пишет, что «пока сохранялись родовые традиции, шаман и его семья были обеспечены питанием, но как только семьи начали большую часть года жить отдельно или в компании с другими семьями, хозяйства большинства шаманов пришли в упадок, так как, занимаясь камланием, шаман часто не имел возможности обеспечить семью мясом и рыбой». Шаман не брал ничего за свои сеансы, довольно изнурительные, длившиеся иногда сутки и больше, во время которых случался и летальный исход из этого — срединного мира (дулин бу-

га). И вообще взаимоотношения с миром духов были не просты. Исследователь Широкогоров приводит такой случай: шаман поразил зловредного духа ножом, поместив его в изображение; но, подходя к чуму, вдруг принялся наносить тем же ножом удары самому себе — и от полученных ран скончался. Так неудачно закончилась схватка с духом. Шаманами становились по призванию; человек видел необычные сны, ему являлся прежний шаман; призвание могло выражаться в форме недуга, кратковременного психического расстройства; чтобы как-то избавиться от этого человек начинал говорить необычные вещи, петь, — ну, вот, как начинающий литератор, поэт принимается гнуть речь и складывать из нее какие-то несуразные вещи, и видеть сны о Льве Толстом, Пушкине, Гомере, уединяться и с головой погружаться в лес книг. Одно и то же недоразумение и мучение. И точно так же, как литератору какой-нибудь маститый волк советует дерзать, учиться и т.д., — точно так таежный горемыка получал совет принять это бремя от старого шамана. И потом разворачивал в чуме театр одного актера — не на жизнь играя, а на смерть. Игры литераторов ведь тоже зачастую оканчиваются прыжком из этого срединного мира.

Кормился шаман сам, как мог. Ну и, правда, в обычное время получал различные мелкие подарки, угощался за «столом» у соседей... Так что пойдешь по миру в одних носках... а путь до Утренней звезды не близок.

Красивое место

Это место мы открыли случайно; думали, где бы заночевать, увидели с тракта сосны на возвышенности, свернули, проехали между полем и болотом, повернули еще раз и оказались в отличном месте: высоком, сухо-песчаном, овеянном бодро-горьковатым духом сосны. Удивлялись, как это не побывали здесь раньше. В этих краях мы бродим уже больше тридцати лет. Пешком, на велосипедах, в прошлом году стали ездить на автомобиле. А вот это место мы как-то проглядели.

Разбили лагерь среди сосен, невысоких, молодых; дров было много; вид открывается захватывающий. Приятно походить босиком, полежать на теплой земле. Ночью над соснами висели звезды. Это место всем понравилось. Решили назвать его Сосновым садом. Нашли много боровиков, на кочках — россыпи брусники.

Утром мимо проезжал обшарпанный «москвич» с грибниками, поравнявшись с нашим лагерем, автомобиль затормозил, и води-

тель высунулся и с любопытством уставился на нас; покатил дальше. Диковатые местные, определили мы.

Все стало понятно в следующий раз: на кочке, усеянной спелой брусникой, грелась сытая гадюка и при нашем появлении даже не подумала уползти, задумчиво глядела, поворачивая голову. Неподалеку от кострища под высоким обгорелым пнем вился клубок ужей. В глазах наших жен мы прочитали приговор этому живописному месту.

И название пришлось заменить. Теперь это Змеиная горка. Мы смотрели на нее издали, проезжая по тракту. Правда, сейчас я езжу там один, друзья продали автомобиль, и я пересел на велосипед. Или передвигаюсь старым философским образом, как говаривал Григорий Сковорода: пешком.

Безумно жить

Перечитал «Двенадцать», очень удивился, поэма-то совсем маленькая, ее хочется читать дальше, таков легковейный ее дух, так отчетливы голоса мужиков, шагающих в лабиринте улиц. И улицы эти превращаются в лабиринт истории, двенадцать заблудились там навсегда. Легковейный, конечно, не значит легкий. Стих легковейный, но — как огонь. Немного остыв, сразу чувствуешь тяжесть окруживших тебя, читателя, образов. Образы — сюрреалистические, из кошмарного видения. Двенадцать, кровавое знамя (ближайшая кровь — Катьки, проститутки), Святая Русь с пулею, Богочеловек с невероятными цветами. В этой поэме мрак и огонь истории, средоточие всего. Вникнуть в нее — значит, многое понять, а даже точнее воспринять. Понять эту страну... — другой поэт писал об этом.

В школьные времена вряд ли это было возможно. И поэма казалась скучнейшей и длинной. Не знаю, какой предстает она сейчас. В более поздние времена, когда пришло увлечение Блоком, я так и вообще «Двенадцать» пропускал, окунаясь в символизм чистый, безо всякой примеси. «Мы встретились с тобою в чистом храме», «О, я хочу безумно жить», «И скоро я расстанусь с вами, И вы увидите меня, Вон там, над дымными горами, Летящим в облаке огня». «Соловьиный сад», «Незнакомка»... В последнем поражала метафора женского взгляда, «берег заколдованный», «очарованная даль». Ведь так и думалось о женщине: что это некая страна. «Соловьиный сад» был прекрасен, как живопись импрессионистов, и непонятен, что служило обещанием: рано или поздно и это поймешь.

Теперь вижу, что напрасно избегал «Двенадцати»... Перечитать поэму заставила меня книга В. Новикова «Александр Блок», недавно вышедшая в серии ЖЗЛ.

Новиков говорит, что здесь наивысшее напряжение от столкновения Прозы и Поэзии. Здесь — предел, рубеж родного языка, и достигал его лишь однажды другой палимый всеми жаждами мира паломник — Пушкин. Читаешь заново и полностью автору веришь. «Двенадцать» — шедевр, вызывающий множество ассоциаций, выводящий в бесконечность русского космоса. То есть — символ, по А. Лосеву («Проблема знака и символа»). Разумеется, Новиков — не только об этом.

Книга обстоятельная и энциклопедическая, читать ее второпях противопоказано. Вначале, может быть, даже и раздражающе медленная. Но это бывает почти в каждой вдумчивой книге, некая приливная волна, требующая усилий. Дальше уже текст влечет тебя.

Новиков где-то роняет о своем герое: царевич. Вместе с ним — Прекрасная Дама. Отношения их необычны, в высшей степени драматичны, роковая сила их заставляет вспоминать трагедии древних греков.

И автор разворачивает эту трагедию, цитируя стихи, письма, привлекая свидетельства очевидцев и всегда тем или иным образом давая почувствовать величину своих героев, равных, как я уже сказал, скорее древним персонажам. Хотя и рассказывает о своих героях различные «бытовые» подробности. Живые люди, мы понимаем... Но навсегда иные. «О, я хочу безумно жить» — ведь обычный человек расценит это скорее как жажду жизни, а тут ведь программа безумной жизни: «Все сущее — увековечить, / Безличное — вочеловечить, / Несбывшееся — воплотить!» В этом мире поэта — стихия чистых и сильных энергий, опасных и чуждых для простого смертного.

Материал ценен и подается автором со всем тщанием и тактом. Но все-таки современный исследователь не самоустраняется. Его личный голос весьма отчетлив. Нередкие сентенции стремятся к афористичности. «Несбывшаяся мечта не есть ложь». «Иллюзия самоубийства порой маячит в сознании человека, одержимого как раз жаждой жизни...» «Сколько жизней ты способен прожить — на столько книг ты имеешь реальное право». «А бывают шедевры, обращенные в будущее, дозревающие на наших глазах». И так далее.

И, кстати, последнее процитированное замечание как раз и применимо к «Двенадцати». Я в этом убедился окончательно и бесповоротно. Но не скажу, что все мне стало ясно в этой поэме. Может быть, даже наоборот — смута возросла. «Безумно жить» — это ведь и об этих двенадцати, бродящих в своем лабиринте.

Что ж, значит, чтение не окончено.

Мрамор

Днем солнце, ночью звезды; раньше всех всходит Венера — звезда Чалбон у эвенков (сейчас закопался в их сказания); над моим ручьем паслись лоси; в воскресное утро разбудил лай гончаков и призывные напевы горна, мне на ум сразу пришел Моцарт, концерт для горна. Понимаю охотника, но удачи желал убегающему зайцу, или кого там гнал этот страстный дуэт: заливистая сука и глухо бухающий кобель. За всю неделю не видел ни одного человека — наяву, зато многих — во сне. Такая контрастность бодрит: днем солнце, безлюдье, ночью различные персонажи, под утро лед в котелках.



У меня с собой книжка, тонкая, в белой твердой обложке, стихи Микеланджело, недавно у букиниста купил, точно такую же я нашел в библиотеке полка, стоявшего под Газни, у мраморной горы Пачангар, в ней добывали мрамор для нужд полка, белоснежный с прожилками цвета морской волны. Я уже не помню, что именно меня привлекало в этой поэзии 27 лет назад, но вот сейчас, на склоне в палых листьях над крапивной чашей буквально примагнитило стихотворение, которое я для себя называю «Мрамор» (стихи у мастера без названий), вот начало:

Каков бы ни был замысел Творца,
Его в избытке мрамор заключает.
И мысль любая в камне оживает,
Коль движет ум работою резца.

Поразительная метафора не только творчества, но и самой природы. В ней теснятся образы и помыслы, и попробуй выбей их резцом. Чоран, рассуждая о творчестве, вспоминает буддийскую притчу о мыши в каменном гробу, грызущей выход, мол, таков удел художника.

И гроб этот мраморный. Днем — цвета сапфира; а ночью непроницаемый — даже сквозь проломы звездного света.

Не только замыслы Творца, но и мы сами закованы в этот мрамор. И если есть свобода, то она — вне природы, там, где кончается мрамор. По крайней мере, такова, кажется, логика буддийской притчи. И еще интуиция наблюдателя, сидящего на склоне осеннего дня. Хотя стихотворение мастера немного о другом. Но, наверное, и эту мысль хранит его мрамор.

Лебединой тропой



Некоторые ассоциации вспыхивают мгновенно и держатся потом долго. В одну из весен после чтения Дхаммапады, на прогулке по окраине города посреди ржавых берегов в дыму трубы ТЭЦ внезапно увидел плывущего лебедя.

«Как лебеди, оставившие свой пруд, покидают они свои жилища», — написано в главе об архатах, сиречь мудрецах. С тех пор эти птицы всегда прибывают прямиком оттуда. На водохранилище они

были пролетом. Но потом я слышал, что несколько лебедей остались у нас зимовать, водохранилище до конца не замерзает.

И вот этой зимой, пойдя по железнодорожной ветке, увидел — и снова неожиданно, странно — плывущих белых и серых птиц. Хотелось сравнить их с молчаливыми фрегатами. Все-таки явление их здесь посреди смоленской зимы напоминает видение Летучего Голландца. Они прервали свой путь в Индию. «Зачем бить крылья тысячи верст», — что-нибудь вроде этого сказал вожак. И они остались. Мудрость вожака под вопросом, неизвестно, как они переживут зиму. Но пока, правда, и зимы-то нет. И эти архаты свободно плавают по всему обширному водохранилищу, выбираются в тростниках на



островки, чтобы почистить перья. Человека чураются. Два дня я за ними ходил, и ближе, чем на сто пятьдесят – двести метров они меня не подпускали. И только на третий — изобильно солнечный — день удалось подойти немного ближе. Они плавали, переговариваясь на пали или даже санскрите. Может, речь была о стезе, трудной для понимания, как путь птицы в небе. Или они наставляли: «Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня. — У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается». Кто знает, не умеют ли они читать мысли. Хотя у любого найдется недруг. А возможно, они просто тихонько пели: «О! Мы живем очень счастливо, невраждующие среди враждебных; среди враждебных людей живем мы, невраждующие... О! Мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет. Мы будем питаться радостью, как сияющие боги».

Солнце рано и быстро село, добирался до дома в потемках. Меня рыбак подвез на своем автомобиле. Он рассказал, что позапрошлогодней зимой лебеди тут тоже были и по льду подходили к самым лункам рыбаков, ну, те им подбрасывали рыбьей мелочевки. Вот-вот, думал я, покачиваясь в теплом сиденье, — настоящая, а не метафорическая радость; значит, они стали попрошайками. «Да меня они не интересуют, — признался рыбак, — к рыбе все мое внимание». Ну, я и сам не чужд этой забаве, и мы проговорили о снастях, прикормке и клеве до самого дома.

Но когда дома я снова потянул с полки Дхаммападу и начал читать «Главу о мире» — «Лебеди путешествуют тропой солнца; они путешествуют по небу с помощью иддхи», — все соображения рыбака (и мои сомнения) показались мне наветом.

Побег

У Гессе в одном рассказе живописец или литератор, умеющий писать картины, попав в камеру, просит принести ему краски и кисть. Ничего не подозревая, надзиратели выполняют его просьбу. Далее следует магический трюк: заключенный пишет пейзаж и просто ускользает туда. Вспомнил этот рассказ, когда смотрел «Сны» Куросавы. Восемь снов: свадьба лисиц-оборотней, возвращение офицера с войны, встреча с демоном. И сон, в котором живописец из музейного пространства с картинами Ван Гога оказывается сначала в поле и видит голландца у походного мольберта, а потом блуждает уже по его картинам. Жаль, что фильм снимался до цифровой эры, картины выглядят жутковато. Хотя, наверное, во сне так и должно быть. И чувство сожаления испытываешь, когда этот сон Куросавы заканчивается. Но путешествие невольно продолжаешь по картинам голландского периода и снова Арль, Овер, Париж. Ведь живопись — это побег в пространство, где каждый атом человечен.

Увы, последняя фраза звучит двусмысленно, если все-таки не забывать фильм Куросавы: в одном из снов до неба встают разноцветные клубы атомного апокалипсиса. И горечью пропитаны слова старца из последнего сна о том, что на самом деле всем нам ничего не нужно, кроме чистого воздуха и чистой воды. Чистый воздух и чистая вода – вот главные «краски» этого мира. И такой мир уже похож на сон.

Побег на самом деле невозможен: ни в сны, ни в живопись, ни в «тихий уголок».

Но попытки бегства продолжаются. Бегство и возвращение. Пока последний сон не разомкнет круг, — чем, собственно, и заканчивается фильм Куросавы — веселым похоронным шествием.



Оми

Интересно, когда книжные сведения проходят полевые испытания. Ну, может, и не испытания, а процесс визуализации. Одно дело читать о звезде Чалбон — Венере, где по представлениям эвенков в гнездах на сухих лиственницах жили души нерожденных — обыкновенных людей в виде синиц, значительных, шаманов, например, в виде орлов, журавлей, лебедей. И совсем другое дело пожить немного в лесу и увидеть эту звезду и этих птиц.

На южном склоне, где я экспериментировал с дыханием и счетом, погружаясь в солнечную пустыню, в ничто, то и дело появлялись различные персонажи, прилетала черно-белая кедровка, таежная жительница, случайно оказавшаяся в наших краях; с ней у нас установились доверительные отношения; она уже не боялась меня на второй день, а даже поджидала, когда я уходил по тропе к лагерю, перелетая с дерева на дерево. В Баргузинском заповеднике я часто их видел, там они довольно крикливы. Эта — как будто воды в клюв набрала. Зато кричали сойки, летавшие всегда по двое. Но и они ко мне привыкли. По склону, пригретые необычным щедрым солнцем, ползали бескрылые инвалиды кузнечики, муравьи; приле-

тела стрекоза; однажды заструился в палой листве маленький уж, заметил мою ветку, покумекал и пополз в другую сторону. В крапивной чаше, где уже с первыми лучами серебро инея превращалось в дым, появлялись лоси. Один из них издал реактивный звук — как будто из гранатомета выстрелили, это был его трубный глас. Черт, хорошо, что здесь пока из этих штук не стреляют. В окрестностях время от времени палили охотники по тетеревам. У тетеревов сейчас было второе токование. Над крапивной чашей пролетали два тетерева, с большой нежностью перекликаясь, я и не думал, что они способны исторгать такие звуки. Как-то вечером два тетерева сели неподалеку на березы, тетерев-самец казался особенно черным в тени, а тетерку озаряли последние лучи, и она была рыжей.



В магическое время — в 16 часов, не знаю, почему-то оно кажется особенным в деревне или в лесу, уже почти вечер, уже все стремится к отдыху и созерцательности, самое спелое время суток, — так вот в эти часы на куст ивы вдруг опустились очень странные птицы, размером меньше обычной синицы, длинные хвосты; они показались мне удивительными в голом свете этого октября. Я, конечно, вспомнил о душах-оми. И подумал, что если бы это были синицы, то именно так оми и должны выглядеть. Вернувшись, поискал в справочнике и сразу наткнулся на описание этих птиц.

Так и есть, синицы — белые лазоревки, птицы с совершенно белыми фантастическими личиками и пристальными черными глазами.

Дом этот построили, конечно, не создатели — фильма, — но и они приложили к нему руку. «Дом» получился многокрасочным и почти необъятным. Это Земля, увиденная с высоты птичьего полета... почему же именно с птичьей высоты? Пора уже сломать стереотип, ради этого много было разбито воздушных шаров, цеппелинов и самолетов. И пора говорить так: в этом фильме Земля увидена людьми с высоты Икара.



Высота — любимый конек одного из соавторов, а именно Яна Артюса-Бертрана, французского фотографа, начинавшего когда-то актером, а потом ушедшего в лес сторожевать наподобие Джека Керуака и вдруг поймавшего фотофлюид и решившего не расставаться с фотокамерой. В заповеднике Кении он начал фотографировать с воздуха и превратился в воздухоплавателя-светописца.

Честно говоря, аэрофотосъемка не каждому понравится. Здесь возникает какое-то чувство отчужденности: да, красиво, захватывающе, но почему-то... прохладно. Взгляд с высоты тревожит что-то в подсознании. Нам, обычным смертным, хотелось бы находиться ближе к почве.

Высоту любит и второй режиссер — Люк Бессон. Чего стоят головокружительные полеты и пируэты «Пятого элемента» или метафорические высоты, из которых пожаловала на бедную счастливую голову неказистого лузера Ангел-А. В «Пятом элементе» вообще торжествует особое космическое чувство, наверное, присущее этому человеку. С наибольшей полнотой среди наших осин этот лад души

передавали космисты, а у французов — Тейяр де Шарден: «Тому, кто понимает Вселенную как общее трудолюбивое восхождение к вершинам сознания, жизнь вовсе не кажется слепой...». Если Вселенная – наше общее дело, то Земля и подавно.

О Земле Ян Артюс-Бертран и Люк Бессон и сняли этот медитативный фильм, блестяще соединив свои дарования. Можно сказать, что весь фильм — это как бы медленно движущиеся, живущие фотографии. И здесь торжество высоты просто необходимо. Этот парящий взгляд — метафора свободного сознания, точнее — призыв к такому сознанию. Следует освободиться от всяческих предубеждений, наконец раскрепоститься и понять очевидное: «все, как океан, в одном месте тронь — в другом отзовется» (Достоевский). Грубо говоря, если ты, притормозив на своем авто где-то над оврагом, сбрасываешь мешок с дачным мусором, — знай, что весь этот пластик потом прибьет куда-нибудь к турецким берегам, ну, или даже просто донесет талой водой до соседнего дома. Здесь-то катастрофа и начинается, в отдельно взятом сознании, — и дальше разрастается нефтяными пятнами в морях, смогом над мегаполисами, пожарищами и пустынями выбитых лесов. О катастрофах и предупреждает фильм. Экологическая пропаганда обычно скучна. У зеленых партизан нет денег. Земные шедевры «Дома» скучными не назовешь, если только ты действительно живой человек, а не киборг.

Этот взгляд с высоты вызывает в памяти еще одну — наряду с космистами — тень, а именно Канта. В небольшой работе «К вечному миру» философ рассуждает о проблеме мира и войны и приходит к выводу, что разрешить сей вопрос способно только мировое правительство. То есть правительство, имеющее единый взгляд на происходящее в подлунном мире.

Продолжающиеся войны свидетельствуют о прозорливости философа.

Перманентная экологическая катастрофа Земли тоже подобна войне. И все мы в ней ежедневно участвуем: то побитые солдаты, то наносящие безжалостные удары варвары.



Очередной поход в Талашкино начинался немного абсурдно: над городом висели тучи. Стоит ли ехать? Материал о Тенишевой почти готов, фотографий достаточно. Правда, хотелось еще снять окрестности, флёновские дали, все предыдущие попытки заканчивались ничем. Я сетовал на скверный объектив. Ну, так объектив все тот же. Да еще над головой тучи.

И все-таки поехал. Может, таково скрытое действие прочитанного. А перечитывал последнее время «Уолден». И, между прочим, такие строчки: «Никто еще не следовал внушениям своего внутреннего голоса настолько, чтобы заблудиться».

И уже на полпути к Флёнову увидел солнце.



И весь день солнце штормовало, как ладья, в свинцовых морях, дул ветер, гудели провода, макушки елей неистово зеленели в синих провалах, шумела старая выбеленная трава. Я ловил камерой солнечные сполохи, иногда похожие на длинные сети или росчерки — вот уж поистине золотого пера. Люблю такую неверную погоду. В чистых провалах с ветром есть что-то весеннее. Вообще узнавать знаки лета или весны зимой и осенью всегда интересно, это бодрит. Как если бы в настенных часах вдруг открывались еще какие-то часы, идущие параллельно, но по своим законам. Ведь все дело в тайне времени, и краски, звуки, запахи только одежды. Однажды они будут совлечены, и вполне может статься, что и короля-то нет. То есть

— нет времени, я слышал такую философскую сказку. Ну, о том, что все нам только снится.

Но пока все мне представлялось явью, и я брел через лес, переходил поле, озирался. И увидел этот холм.

Еще раз и окончательно убедился: пейзажи пишет свет. И никакой драгоценный объектив тебе не поможет, если нет этих письмен. И лучше всего, когда эти письмена весеннего свойства – трепещущие, бегущие.



Под вечер поднялся на этот холм. На его склоне два или три заброшенных дачных домика. Место вытеснило людей, я уже сталкивался с подобным «давлением местности», как пишет один географ. В этом есть печаль, но и радость. Все-таки горожанину больше нравится сталкиваться с птицами и лисами на проселках. Да и в городе.

В одном месте еще темно краснела садовая малина, переспевшая, сочная, холодная.

На холме сухо. Много кленов, растут липы и дубы. Все-таки странно, что его покинули люди.

Вечерело, но мне уходить отсюда не хотелось. Наверное, гений места проявлял благосклонность. Или просто упорнее светило солнце, и нагоняли мысли об отце: по этим местам и пролегал его каждодневный путь из флёновской школы в деревню. Скорее всего поднимался он и на этот холм, курил раздобытые где-то сигареты. Вспоминался его рассказ о том, как он таскал сигареты у немцев, стоявших в войну у них в избе, и как потом, после войны ездил в Смоленск на базар торговать самосадом, ездил на крышах товарняков. На базаре он старался не попадаться на глаза конкурентам —

изувеченным фронтовикам, зная лучше любого филолога происхождение этого глагола: накостылять.

Закурил бы и я здесь. Но — нет уже былой прыти. И ко времени отношение другое. Наверное, еще и поэтому нравится фотографировать: эта штучка с кнопками ловит время. Как сачок — бабочку, ту, что снилась Чжуан-цзы или еще кому-то.

Листва обильно летела, сыпалась, весь холм дышал.

И это продолжается и сейчас. Часы Кленового холма стучат день и ночь, и в это утро мне снова хочется туда попасть, еще раз окунуться в терпко пахнущее время и поломать голову над загадкой: как это они к весне стучат.

Еще одно цветение



У Тагора есть стихотворение о цветущем дереве, как о явлении мощи вышней. Цветущее дерево всегда вызывает особые чувства. Архетипический образ мира — древо. Дети чаще всего дерево и рисуют. Наверное, и фотографируют дерево чаще. Деревья всюду, и у них свои «лица».



И всякую разруху, рвань и ржавое железо цветущие деревья преображают. Они приходят к нам как сны. Природа цветущего сада — сновидческая, утверждал мыслитель.



Звучит несколько странно. Но, подумав, соглашаешься.



А вчера в статье о пространстве Каспара Давида Фридриха вычитал любопытное утверждение о том, что «растение неторопливо и мощно поднимается из земли, становясь зримым обликом ее недр».



То есть дерево демонстрирует нам нечто сокровенное, сокрытое. Но таковы ли недра земли? И вот такие же, как цветущее дерево? Да, недра земли цветут всегда — это верно как метафора, правильно и по существу. И языки этого цветения прорываются наружу.



Курукупальская битва

Моя дочка, почитательница Гребенщикова и внимательная читательница Гессе, грезила Индией и — упорно собиралась туда, копила деньги, и наконец, уехала — одна; побывала в Дхармасале, в резиденции Далай-ламы, поднималась в горы к храму Шивы, осматривала Красный форт, обходила вокруг тысячелетнего железного столпа в Дели. Вернулась. Я встречал ее на вокзале в Смоленске. Поезд прибыл. Пассажиров вышло не много. Но среди них не было нашей темно-рыжей девочки. Я несколько раз пробежал по перрону, прочесывая воздух, пахнущий шпалами и всем прочим, заглядывал в окна поезда, думая, что она заснула, замешкалась... Домой возвращался... ну, можно себе представить мое состояние. А я представлял лицо жены, нажимая кнопку звонка. Но ее лицо сияло, а из комнаты выходила загорелая дочка с медными волосами. Начались расспросы, выяснилось, что она приехала именно на том поезде, о котором сообщила, поезд не опоздал, она вышла вместе с несколькими пассажирами и пошла по перрону, высматривая меня, потом вернулась, заглянула в здание вокзала, ну и не найдя меня, села уже на маршрутку и отправилась домой. То есть — ничего на самом деле не прояснилось. И оставалось только с видом мудреца изречь: «Да-а-а, вот, оказывается, что происходит с путешественниками в Индии». И слушать ее рассказ, смотреть семьсот фото и два коротких видео, снятых мобильным телефоном; разглядывать сувениры. Жене досталась сумочка из темно-вишневой толстой кожи, с медными заклепками. Мне — барабан. ...Кстати, во времена зарниц в школе барабанщиком был я. Но барабан из Индии оказался в десять раз меньше пионерского, и стучать в него мог бы только какой-нибудь карлик из индийской мифологии, я читал о таком, он спорил с каким-то божеством насчет господства в мире и предложил мирное решение проблемы: он будет владеть только тем, что сумеет захватить тремя шагами, оппонент с радостью согласился. И карлик первым шагом захватил всю землю, вторым — небеса, а от третьего — в преисподнюю — удержался, предоставив оппоненту там править. Козьмы Пруткова в те достославные времена еще не было с его простой мудростью: не верь глазам своим. Кажется, карликом был Шива. А может, Вишну, я не большой знаток этого чужедальнего сонмища. Но, наверное, все-таки Шива, он темнее, коварнее... Впрочем, барабан, подаренный дочкой, вообще-то был тибетским, как известно, в Северной Индии, в Дхармасале Малый Тибет, Тибет в изгнании. Там он и был куплен. Коротко говоря, это что-то вроде баночки из-под икры, насаженной на резную рукоятку, с медным клювиком на цепочке; если приподнять верхнюю крышку, можно

увидеть бумажный свиток с мантрой, выписанной деванагари, наверное. И... меня всегда интересовало то, чего увидеть нельзя. Но можно вообразить. Например, того карлика. Или еще симпатичного толстяка с головой слона. Да, это все божества индийского происхождения. Просто тибетских я знаю еще хуже. Нет, раз барабан из Индии, то и ассоциации должны быть подобающими. Итак, получив в руки барабан и рассмотрев письмена, я плотно закрыл эту кастрюльку из какого-то металла бронзового цвета и немного покрутил его в квартире под люстрой. Сейчас удивляюсь, как это ничего не произошло?.. С люстрой. Или с чем-либо еще. Не знаю, возможно, еще было не время, и они отдыхали после длительного перелета через Гиндукуш, степи, леса, реки и поля. Но час Х приближался, точнее — час К.

Наступило лето.



С друзьями мы давно планировали вылазку в наши места. По романтической традиции не буду раскрывать карты, топонимика остается прежней, извечной: лес, холмы, ручей, речка. И небо, наше сирое смоленское небо, полное облаков. Вот туда мы и отправились.

Друзья взяли кинокамеру, чтобы снять пятиминутный фильм о купальской ночи. А я — я положил в карман рюкзака барабан. Сам не знаю, зачем. Ведь хрупкая ручка могла сломаться, кастрюлька сплющиться, мантра размокнуть. Но уж так вышло, рискнул.

Что ж, приходится честно признаться, что и мне песни БГ всегда нравились, а еще стихи Клюева про Индию берез, ну и хожение Афанасия Никитина, который, между прочим, скончался после похода за три моря в нашем краю, под Дорогобужем. И, конечно, Нагорная проповедь буддизма, Дхаммапада, полная перлов. Например: «Пусть глупец месяц за месяцем ест пищу с кончика травинки куса, все-

таки он не стоит и шестнадцатой части тех, кто знает дхамму». Или вот это: «О! Мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет. Мы будем питаться радостью, как сияющие боги». Просто мантра литератора средней руки, да и любого, не пишущего детективы и живущего здесь, в осинах.

Итак, вооруженные, кто кинокамерой, кто фотоаппаратом, с рюкзаками, набитыми спальниками, консервами, мы углубились в душные травы июля. По дороге спорили о сюжете, не знали, нужен ли главный герой. Но пробы ничего путного не дали: главный герой все-таки не должен корчить рожи, как будто его снимает Савелий Крамаров или Пуговкин. А нас всех на кинопробах разбирал смех. Нет, ночь Ивана Купалы не комедия. А серьезный пятиминутный фильм о таинственной природе, о папоротниках, огнях и звездах. Так и пусть они будут главными героями, решили в конце концов мы. Но присутствие разума надо как-то обозначить. Дать один-два штриха. Снять чью-то тень. Заспорили, чью. И что она должна делать по сюжету, тень. Ну, пусть двигается, запрокидывает голову к небу, нюхает цветы. Хм, но будет ли ясно, что это тень разумной жизни? Ладно, забраковали тень. Можно снимать шаги. Как это? Ну, треск, сопение, травы ломаются, кусты... Да черт! Главный герой кабан, что ли? И тут настал мой звездный час. Вот когда все уже охрипли и одурели от обилия бессмысленных предложений и неудачных кинопроб. Я предложил снять барабан.

Наступила пауза.

Какой барабан? Наконец спросил меня Володя, утирая обильную испарину сырым громадным носовым платком. Женщины смотрели с подозрительностью. Я объяснил, достал кастрюльку на палочке. Просто покажем, мол, крутящийся барабан, и все. Если ночь приближается волшебная, купальская, когда папоротник зацветает и все такое, то почему бы этому не предшествовать барабану? То есть верчению его, ну, в смысле... От усталости я заговаривался.

У Володи глаза замерцали. А что... Он кружится, а вместе с ним и все окрестности ходуном... Это идея. Но при чем тут? Послышался трезвый женский голос. Ты знаешь, что однажды ответил Тарковский примерно на такой же вопрос? Там, про коней или яблоки, — излюбленные его фетиши, или даже про Солоницына, доктора в «Зеркале», который совсем и не нужен: а по кочну!

Я поддержал Володю. Да, Солоницын там нужен, и еще как, если бы не он, может, весь фильм развалился бы. Он там падает с плетня, смеется и вдруг начинает что-то про травы, жуков, небо. Это же дзен. Чистый, без прикрас. Дзен берез. Упал и увидел мир, как он есть.

И у нас будет дзен, решительно сказал Вова, вставая. По крайней мере, стоит попробовать. Надо больше отснять всего. Там разберемся.

И мы тронулись — в путь, дальше сквозь джунгли ольхи, перевитой хмелем, сластясь на полянках малиной и выхлебывая из пласти-

ковых бутылок воду, набранную в ручье. Душно было. Мы хотели пройти по высотам и заночевать на роднике. Открою название этого места, все равно оно не существует: Дом Алексеевъ. То есть место осталось, поляна на склоне, березы, кусты сирени, засохшие яблони, оттуда распахивается вид на березовый лес за речкой, небольшой лесной речкой с черными топкими берегами, а Дом Алексеевъ исчез и остался только на карте 1907 года.

По этим высотам мы не ходили лет пять, предпочитая другую линию, Среднюю, как мы ее называли. Шли, высматривали удобный холм для съемок. И нашли. Я достал барабан и вручил его жене. Но у нее что-то не очень ловко получалось, цепочка с клювом захлестывала рукоятку, обгоняя барабан. Тогда за дело взялся я. И бронзовая кастрюлька заскрипела, воздетая в небо наших холмов, клюв неведомой индийской птицы полетел по кругу. Жжжжж... Вова закружился с камерой как шаман. Все. Отсняли. Двинулись дальше. Вдруг Вова спохватился. Часы. Цап-цап по рукам: он то на правой их носит, то на левой, — нет. Снял там, на горе, чтобы не мешали — и забыл. Вернулись, приступили к поискам. Нашли. Снова тронулись. Шли-шли по луговой дороге в травах, уже экономя остатки воды, ставшей теплой в пластмассе, — и увидели знакомые какие-то очертания холма, березу, куст малины — кем-то объеденной, окурок, втоптанный в землю... Вова задумчиво вглядывался в отпечаток кроссовки. «Да это же мой?» Да, мы совершили не маленький круг почета и оказались на том же месте. Допили остатки воды и решительно двинулись в восточном направлении, к роднику, не разбирая дороги, прямиком через травы и кусты. Но первый же овраг увел нас немного в сторону. Второй овраг перенаправил нас окончательно, мы заспорили, куда идти, где восток и, в конце концов, юг? Север? а запад? Чау-чау Флокс заваливается в траву и лежит, слушает наши споры, поглядывает презрительно, как будто знает истинное направление на родник, но — разве скажет? Страсти накаляются. Хочется уже нешуточно пить. У нас есть купальский коньяк, но разве им утолишь жажду? В Дхаммападе по этому поводу сказано... Ну, это и так ясно. К опьяняющим напиткам Гаутама относился сурово. И здесь уместнее привести другой перл: «Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегает перепуганный заяц». Вот это — в точку. Мы, конечно, не могли припустить вприпрыжку с рюкзаками, но закружили и даже в конце концов запаниковали. Чау-чау Флокс падал при всяком удобном случае, вываливая толстый язык кришнаитского цвета: как будто это именно он выпил весь яд мировой злобы. А на самом деле — это он опустошил наши запасы воды, он чаще всех пил, ему заботливо подливали в пластмассовую миску всякий раз, когда мы останавливались передохнуть.

Ксения и Нина уговаривали его встать и идти. Он отказывался. Его рожа у меня всегда вызывала какие-то средневековые ассоциации. И тут я понял, какие: Флокс, этот цветок-увалень лисьей масти,

был похож на бая, привыкшего, чтобы его носили в паланкине. Ты сейчас получишь пенделя! грозил Вова, и только тогда Флокс подчинялся и с трудом вставал, плелся за своими обезумевшими хозяевами. Нам уже было не до фильма. Тут кто-то вспомнил, что заблудившиеся путники, грибники, ягодники, поступали так: выворачивали головные уборы наизнанку. И что? И выходили. Ну, это сейчас, когда сидишь в городе, полном воды всевозможных вкусов и расцветок, действия съемочной группы кажутся нелепыми. А тогда — тогда мы решили, что рациональнее все-таки рисковать здравым смыслом, чем здоровьем. И вывернули свои кепи и двинулись гуськом: два повидавших всякого в жизни мужика и две образованные женщины, матери своих уже не маленьких детей, — и при взгляде на спутников в каких-то киргизских народно-музыкальных головных уборах мне ничуть не было смешно.

Родник и Дом Алексеевъ был нашей меккой. И шли мы туда, как по пустыне. Но на счастье выбрели — к речке. Нет, сначала к ручью, оказавшемуся сухим, как арык мертвого города Хара Хото, и отчаянию нашему не было границ. Я не преувеличиваю.

Но за пустым ручьем текла в крапиве, между чешуйчатых стволов черной ольхи, речка...

Во всех котелках был заварен чай: чай с травами, фабричный. Мы выпили вчетвером 18 литров чая. Флокс пропал. Черт! Неужели мы его забыли где-то, как часы? Никому не хотелось отправляться обратно — по травам и кустам на поиски жирного бая... Но что же делать? Перед тем, как предпринять безумную экспедицию по поискам пса, Ксения пошла на речку, охладиться... и узрела там Флокса, он сидел по уши в мутной воде, как бегемот, и никак не реагировал на ее крики и команды. Видимо, окончательно разуверился во всем и вообще разочаровался в сухопутном образе жизни. И даже угроза получить пенделя, высказанная Вовой, не заставила его переменить новых убеждений. Да, интересно, как бы эта угроза была осуществлена? Флокс был реалист.

«Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве: с глупцом не бывает дружбы».

Ну, что ж, мы оставили этого новоиспеченного мудреца в грязной заводи, а сами принялись готовиться: Купальская ночь приближалась. Надо было поставить палатки, запастись дровами, сварить ужин. Темнело. Небеса были мутно-лиловы. Кракнула цапля, пролетая чуть в стороне. Наш лагерь стоял на луговине вблизи сквозящей рощицы молодых березок. Дрова пришлось таскать из речной чащобы...

Но только мы успели усесться вокруг костра, осушить по чарке коньяка и торопливо закусить двумя-тремя ложками горячего супа, как загудел по окрестным древесам вал ветра, спешно вернулся на земную стезю грязный и мокрый медведь Флокс, захлопали палатки, по-дзенски: одной ладонью. Нанесло водяную пыль и запах болот.

Виночерпий наполнил стаканчики... Его тост потонул в рукоплесканиях черной ольхи над речкой. Ударили первые капли. И вскоре много воды обрушилось на эту луговину. Мы разбежались по палаткам. А праздник – праздник продолжался, разгорался. Землю окутал мрак.



Ладно, при дожде в палатке еще и лучше спать, сообщил я жене, забираясь в спальник. Она что-то ответила. Я не расслышал. Что?? Ну, в общем, я так понял, что она не уверена в чем-то...

Вечные женские страхи. Я повернулся на бок, начал задремывать — и тут же как будто получил тычка в бок или даже в лоб: грохотало. Вскоре мне уже казалось, что мы находимся в какой-то лоханке, в барабане с водой, и его раскручивают чьи-то дюжие ручищи.

Заснуть нам было не суждено. Купальская ночь набирала обороты. Она бурлила и грохотала, поминутно с треском кто-то рвал на себе рубаху, сверкали ножи. Или мечи с секирами. И над нашими головами сшибались пудовые дубины. Кто-то хрипел и рокотал. И что-то с хрустом сокрушалось, падало оземь. Один из персонажей этой схватки вдруг свалился прямо на нас, на нашу палатку, сверху, и она легла, как битая птица, на наши искаженные лица. Я тут же испытал приступ клаустрофобии и весь перинатальный ужас. Некоторое время мы барахтались под легшей палаткой, а кто-то перекатывался тушей сверху, — у меня даже мелькнуло подозрение, уж не Флокс ли?! Но наконец я сумел развернуться головой к выходу, развязать пуповину тубоса и выбраться во мглу наружную, гудящую, свистящую и шипящую стозевно.

Что происходит?

Кругом полыхали молнии. Фонарик, конечно, потерялся. Но при всплесках чьей-то безумной ярости я видел нашу палатку и светлые колышки, вылетевшие из земли, как зубы. Под хлещущими струями я хватал их и снова вгонял в землю, поднимал шесты, натягивал веревки. Палатка у нас была бескаркасная, «Валдай-2», синтетика, пропускающая воду, так что сверху ее приходилось накрывать целлофаном для теплиц. Кто-то упорно вырывал целлофан у меня из рук. Мы боролись некоторое время, и вдруг он отпустил, как будто получил дубиной по башке и отключился. Я едва удержался на ногах. Набросил целлофан, вбил последние колышки и бросился обратно в палатку. Там все-таки еще было сухо. Жена в темноте обтирала мою спину полотенцем. Я быстро согрелся в спальнике. Наступило что-то вроде затишья, по крайней мере, дождь перестал лупить с непонятной тупой яростью, поножовщина переместилась куда-то за речку, в болота. И я смог даже пошутить, особенно не напрягая голосовых связок, насчет всего этого. Ну, в том духе, что здесь сошлись силы национальной безопасности, ключевые князья и болотные княгини этих мест, плюс всякая челядь, а с другой стороны — ясно, отряд, десантировавшийся из медного барабанчика, из индийской кастрюльки, в киноварных плащах, с копьями, палицами, кто на слоне, кто в колеснице, кто верхом на змее. Во главе, естественно, с карликом. Вспомнил даже, что в Махабхарате уже зафиксированы некие огнедышащие инструменты, в том числе и летательные аппараты. Возможно, они доставлены были сюда. Индийские интервенты решили учинить здесь новое поле Куру. Как будто нет у нас своих полей славных битв... Но жена меня не слушала, затыкала уши. Хватит тебе, просила. Но где же твой рационализм? возражал я, освеженный купальским душем и ободренный затишьем. Впрочем, о каком рационализме речь, если мы пришли сюда в вывернутых шапках.

Где же? продолжал я. Жена не отвечала.

«Из приятного рождается печаль, из приятного рождается страх; у того, кто освободился от приятного, нет печали, откуда страх?»

Надо освобождаться от приятного, хотелось заметить мне, но тут по кустам шарахнуло шрапнелью, и я замер. Неужели опять... Пыхнуло совсем близко, все в палатке осветилось, и я увидел бледное лицо жены с закрытыми глазами, бегунок молнии даже разглядел на ее спальнике. И внезапно палатку сотряс удар ветра или чьей-то гигантской ноги. Как будто небесный футболист принял наш дом за крепкий кожаный мяч. На мгновенье я оглох. Нет, просто все стихло. Буквально: нежилая тишина. И — бах! Ба-бах! Посыпалось сверху. Пауза — и снова удар по палатке, с другого бока. А потом — сверху. Ветер — или кто там — бил со всех сторон. Но хуже всего то, что и сверху — падало, туша падала воздушная, и потолки хлестали нас по щекам, черт, такое не приснится даже Хармсу. Просто он не ходил в походы с палатками. А мы на свою голову пошли. Хотели снять пя-

тиминутный фильм. Но сами оказались в каком-то другом кино. И по сюжету палатка рухнула еще раз. И персонаж в трусах снова нырял в тьму и дождь. Потом сорвало целлофан. Я снова выползал и догонял его. Кто кого?.. А другие участники сидели себе, как поросята известной сказки, в хорошем, крепком домике, в чешской каркасной палатке с тентом. Но все равно они тоже не спали, а бодрствовали, думая, что спят и видят кошмарный сон. Да, травы визжали. И деревья с корнем вырывались и летали над лугом. Сыпались искры из глаз. И над ушами гремели колесницы. И кто-то свистел что есть мочи во все реактивные сопла, и в речку падали слоны.

И — что? Кто? Победил?

Не знаю.

Я очнулся от безумной тишины, сразу подумал, что целлофан снесло, раз он не трещит, как шкура гремучей змеи, и рванулся по заведенному порядку наружу. Но целлофан, изодранный, продырявленный, — мне же и чудилось: били шрапнелью, — был на месте. И наш лагерь никуда не снесло, он находился на том же поле, но са-



мое поле преобразилось: оно сверкало кровавыми кораллами иван-чая и ослепительными руками берез, сияло луговыми огнями, зажженными вставшим из-за леса солнцем предков, не ведомо каких именно, говорят, когда-то у всех было одно кочевье в просторах Айрана Вэджа, и там пелись одни песни и стучал один барабан.

А мой молитвенный барабан из Дхармасалы до конца похода лежал в рюкзаке. Хорошо еще, что спутники не заставили меня сплющить его и сжечь.

Фильм получился тихий и незатейливый, разумеется, без грома и молний, — какой бы дурак бегал с камерой под дождем? И назы-

вался он соответственно «Иван-чай», ведь в июле этот цветок главный.

Купальский цветок, как обычно, не удалось снять.

Котлованчик

Поднялся в ненастное утро на Соборную гору, хотел сфотографировать туманы, да не успел. Уже не первый раз убеждаюсь, с фотоаппаратом надо двигаться резче, все меняется очень быстро, потом уже не будет ни этого освещения, ни этого настроения. На Соборной горе было пасмурно и безлюдно. Начал спускаться и увидел среди жилых домов и садов обнесенный оградой участок с большой прямоугольной ямой. Там копались молодые люди, явно студенты. Подошел ближе. К истории и археологии я неравнодушен. Но моя любознательность показалась подозрительной.

— Что вы смотрите? — спросила бойкая девушка, судя по всему «начальница» группы.

Интересно, говорю. Это раскопки? Да, раскопки. Наверное, кто-то решил построить дом? Начальница отвечала, что не знает подробностей, их только попросили произвести раскопки. Я сказал, что хотел бы это сфотографировать. И начальница с пионерской бескомпромиссностью бойко затараторила, что этого делать нельзя ни в коем случае. Я опешил. Еще раз оглядел лица девушек и парней в синих перчатках. Хорошие студенческие лица.

Да вы что, говорю? Это стратегический объект? Начальница кивнула. Вон тот, что ли, спрашиваю и киваю на характерное одинокое дощатое сооружение в уголке. Начальницу ничем не проймешь. Не это, но нельзя и все. Меня это развеселило уже. Не первый день тут хожу. Когда этой начальницы не было и в помине, исследовал любительски Соборный холм. И вот — на тебе. Да бросьте вы, говорю, я нахожусь на своей земле и что вижу — то пою. Установил штатив, навел фотоаппарат. Но так, как люди были против, их не фотографировал. Снимал яму, котлованчик под угрожающие реплики студентов («дай-ка лопату!» «черт, папарацци!»). Потом шел и припоминал ненароком Платонова, да и вообще удивлялся. Вроде бы это дети свободной страны, если им лет по двадцать. Но свободной ли. Не в таких ли мелочах и сказывается степень свободы-несвободы.

...И из этой ямы мог вылезти медведь. Не помню, как его звали. Пролетарская Сила? Нет, то был конь из «Чевенгура». Так и не вспомнил.

Крановщик

Пропел бы дифирамб, если б умел складывать стихотворные строчки — крановщику. Как спозаранку он встает и по ржавой лестнице поднимается на свою башню. Кладет руки на рычаги — и вся конструкция содрогается. Стрела — железное сердце — движется со скрипом и визгом за горизонт. Гремят и гудят тросы. Ветер бьет в башню. Из облака кричат птицы. Как будто все противится. Тени таращатся из углов и ложбин. От ветра башня слегка покачивается. И вот железное сердце падает за горизонт. Все жилы крана дрожат.



И начинается подъем Солнца.

ОБ АВТОРЕ

Олег Николаевич Ермаков родился в Смоленске 20 февраля 1961 г. После окончания средней школы работал лесником в Баргузинском заповеднике (1978-1979), затем в Алтайском и Байкальском заповедниках, сотрудничал в районной газете «Красное знамя» (1979-1981). В 1981-1983 как рядовой солдат артиллерийских войск участвовал в войне в Афганистане. В 1983-1985 гг. работал корреспондентом в смоленской областной газете «Смена», сторожем и сотрудником Гидрометеоцентра в Смоленске (1985-1989). Член Союза российских писателей (1992), русского ПЕН-центра (1995).

В литературе дебютировал подборкой «Афганские рассказы» («Знамя», 1989, № 3), в 1992 году опубликовал роман «Знак зверя» («Знамя», 1992, № 6-7). Автор книг «Знак зверя» (1994), «Запах пыли» (2000), «Знак зверя. Зимой в Афганистане (2000), «Свирель вселенной» (2001), «Возвращение в Кандагар» (2006, 2007), «Арифметика войны» (2012), многочисленных журнальных публикаций.

Лауреат премий журнала «Знамя» (1995), «Новый мир» (2009); лауреат премии им. Ю. Казакова (2009) за рассказ «Легкий поток». Романы «Знак зверя» и «Холст»входили в шорт-листы премии «Русский Букер» (1993 и 2005).

Произведения О. Ермакова переведены на английский, венгерский, голландский, датский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, финский, французский и японский языки.

Живет в Смоленске.